



Израильский литературный журнал

АРТИКЛЪ



№ 8

Общественный фонд культурных связей
“Израиль - Россия”

Тель-Авив
2018

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Давид Маркиш. По пятам.....	3
Михаил Лидогостер. Молчаливые дни.....	53
Инна Шейхатович. Флорентинская звезда.....	64
Афанасий Мамедов. Пароход Бабелон.....	68
Евгений Шварц. Скачет красная конница.....	117
Яков Шехтер. Слуги дьявола.....	128

ПОЭЗИЯ

Елена Игнатова. Судьба хороша.....	149
Светлана Бломберг. Беды, которые перешагнем.....	153
Ирина Маулер. Новый год.....	157
Валентина Бендерская. Тель-авивские вариации.....	162
Владимир Ханан. Вспоминая воспоминания.....	164
Борис Лихтенфельд. Библейский сюжет.....	171
Борис Камянов. Навстречу Божьим чудесам.....	181
Максим Жуков. Контемпорари-арт.....	189
Виктор Голков. Стихи.....	199
Леонид Колганов. Женщина в июле.....	203
Велвл Чернин. Еврейско-славянское.....	207

"НИ СЛОВОМ УНЯТЬ, НИ ПЛАТКОМ УТЕРЕТЬ"

Анна Файн. Леди Ехиды и Циля Цугундер.....	213
Ирина Морозовская. Печка Ира.....	217
Изольда Фомина, Ирина Бузько. Майн штейтеле Бэлц.....	219
Ирина Бузько. Сага о питерском дяде Саше и о Привозе.....	230

ИНТЕРВЬЮ

Рустам Ибрагимбеков (вопросы Я. Шехтера и М. Юдсона).....	234
Марина-Ариэла Меламед (беседовал Зеев Вагнер).....	239
Фырат Джанер (беседовала Ханифе Чайлак).....	251

НОН-ФИКШН

Катя Тув. "Русские" художники в Израиле.....	257
Эдуард Бормашенко. Израиль и Россия.....	269
Эдуард Бормашенко. Не плакать, не смеяться.....	275
Илья Корман. Игры на фоне 1939-го.....	278
Давид Шехтер. Урок Будапешта.....	285

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ В ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Роман Кацман. Живая жизнь предпочитает многоточие.....	290
Мария Цвик. Взгляд из Зазаборья.....	298
Михаил Юдсон. Временами и местами.....	306
СТИХИ И СТРУНЫ. О песнях Елены Касьян.....	311

На первой странице – Обложка польского сборника "Из России в Израиль (см. Р. Кацман, стр. 290).

На стр. 129 – Картина Александра Канчика "Водовоз"; на стр. 130 – Картина Ирины Маулер "Новый год".

ПРОЗА

Давид Маркиш

ПО ПЯТАМ

Главы из романа

Я И САВИК КРИЧЕР

*Посвящается памяти Гиди Арбеля,
пилота-наставника*

Все мы вплотную следуем, идём в поводу за кем-то или чем-то – за милой девушкой или демагогом, за событием или идеей. Мы, стало быть, последователи, и это хорошо, просто замечательно: устремляясь следом за мерцающей тенью открытия, мы видим себя первопроходцами. И какая, в сущности, разница, эпохальное это открытие или промелькнувшее, большое или маленькое – открыватель озарён счастьем, а назойливый подсчёт масштаба происшествия вызывает в нём раздражение и сеет досаду в его душе. Как всем нам известно, много – далеко не всегда хорошо и славно. «Мал золотник, да дорог» – это не скупердяй придумал.

Всё сущее замутнено и неразъяснимо, и лишь тупица домогается разъяснений. Чудо чудное не поддаётся расследованию. Чудо – этот мир и наша жизнь в нём. Поди-ка угадай, кто тут главней: инфузория-туфелька или же Чарльз Дарвин. Или что-то поддержало обезьяну под локоть, когда она спускалась с берёзы?

Изумительный вид мира и сама возможность его увидеть – вот это и есть чудо из чудес. Горы, леса и пустыни, море и само небо – всё это умещается в наших глазах, не наполняющихся зрением, по словам Экклезиаста. За тысячелетия не изменилось ничего – ни горы, ни пески, и наши глаза не изменились и зрением не переполнились; и это, наверно, чудо. А то, что дома стали выше – что

ж: разрушение властно над ними так же, как и над глинобитными кибитками.

1

Пятьдесят лет не срок и не отрезок, а так – пылинка в мареве бесконечности. Пылинка, которую и в микроскоп не разглядишь.

Без малого полвека назад Савелий Кричер, которого, несмотря на тридцатилетний возраст, все звали Савик, приехал в Израиль, чтобы жить здесь и умереть. Советская власть не потворствовала его желанию покинуть родину социализма; между ними установились довольно-таки напряжённые отношения. Савик не исключал, что его отправят в лагерь или пришибут кирпичом где-нибудь в тёмной подворотне. Честно говоря, он был к этому готов – такое случилось в кругу «московских израильтян» чаще, чем хотелось бы.

Но судьба иначе сплелась, и тёплой ноябрьской ночью пилот-наставник Гиди Арбель бережно посадил свой самолёт в аэропорту Лод, близ Тель-Авива. И Савик спустился по трапу на землю своей исторической родины, залитую аэродромным бетоном... Первый шаг, если честно, ему хотелось бы сделать по траве-мураве отчизны, и, подлетая, он не исключал, что опустится на колени и поцелует родную землю. Но, с открытым сердцем, он удовлетворился и безродным бетоном, целовать который было бы кошунственным занятием.

С первого шага, полвека назад, началась его новая жизнь. И всё то, что он захотел забыть из старой, было унесено сточными водами прошлого.

Наутро, ни свет, ни заря Савик вышел на улицу: ему не терпелось поглядеть на Израиль. Улица была безлюдна, почти пуста в такую рань. В этой ранней пустоте он чувствовал себя своим человеком, на своём месте. Шум жизни, отдельной от сна, дружелюбно его окружал.

На другой стороне улицы, зажатый между двумя ещё не открывшимися лавочками, неприметный ночной киоск торговал кофе и сэндвичами. Он купил сэндвич, уселся на парапет, огораживающий торговый ряд, и, высматривая жизнь просыпающейся улицы, взялся жевать свой первый израильский бутерброд. Его божественный вкус сохранился у него во рту до сих пор: булочка с ли-

стком зелёного салата, лепестком колбасы и половинкой крутого яйца. Сохранился! Память избирательна, вот это точно – а не то наша жизнь превратилась бы в сущий ад.

В середине того первого дня к ним приехал красивый голубоглазый старик по имени Самуил Израилевич и повёз Савика и его маму в Яффу – тель-авивский пригород, постарше самого Тель-Авива на три с половиной тысячи годков. Такие хронологические чудеса в решетке встречаются у нас довольно часто.

Старик Самуил Израилевич, не последний, надо сказать, человек в израильской политике, появился на свет в «штетелэ» – украинском местечке, где родился и отец Савика, и помнивший его. Голубоглазый старик был первым «живым израильтянином», которого Савик встретил в своей жизни. Случилось это лет через пять после смерти Сталина. Поздним вечером позвонил телефон, звонили из канцелярии Кремля (что само по себе было событием страшным) и указали принять Самуила Израилевича, нашего земляка, который хочет с нами встретиться и приедет уже через двадцать минут. Явление израильтянина в коммунальной квартире было равносильно грому с ясного неба.

– Вы знаете, кто это? – с нажимом спросила трубка.

Савик знал это имя из газет.

В то время этот старик был лидером одной из левых израильских партий, и открывать ему свои планы бегства в Израиль Савик, разумеется, не решился. Но Самуил Израилевич оказался умным и наблюдательным человеком и, наверняка, уловил настроения молодого человека, хотя виду и не подал. Во всяком случае, через полгода, снова прилетев в Москву, он появился у Кричеров не только с коробкой роскошных «кремлёвских» конфет, но и с израильским сувениром – курительным мундштучком из серебра и янтаря, получив который, Савик испытал прилив счастья. Ещё бы! Впервые в жизни он держал в руках великолепную вещицу, нераздельно его, сделанную свободными еврейскими руками в свободной еврейской стране, далёкой как Марс или Юпитер, всё равно... Янтарь, из которого был вырезан короткий чубучок мундштука, чуть-чуть насторожил Савика: в Израиле, по его понятиям, никогда не водилось никакого янтаря. Откуда же он взялся? Из Риги его, что ли, туда привезли? Но, с тихой любовью рассматривая мундштучок, он отогнал сомнения прочь: янтарь так янтарь! Израиль-

ский курительный подарок, спасибо политическому старику, он будет хранить как зеницу ока.

Вот этот Самуил Израилевич приехал в первый день свободы за ними, чтобы отвезти в Яффу, в знаменитое приморское кафе «Алладин».

Средиземноморское лукоморье изгибалось ленивой дугой прямо под стенами кафе, сложенными из старинных камней, видевших ещё солдат египетского фараона Тутмоса Третьего в холщовых юбочках и помнящих их бесчинства в наших краях. Солнце уже укатилось с небосвода, и Средиземное море наливалось тёмным соком вечера. Так вот оно какое, Средиземное! По правую руку от кафе, далеко вдоль берега, почти неразличимого в наплывающих сумерках, перемигивались робкие огоньки тель-авивского побережья. Савик готов был с охотой пролить свою любовь на наше море, но душа его этому противилась: дело в том, что он никогда не испытывал доверия к морским хлябям, где, в отличие от гор, лесов и пустынь, человек не может проживать подобно дельфину или камбале.

Дом, в котором расположилось кафе «Алладин», был построен давно – в те, надо думать, времена, когда ещё кофейни были не в моде, и строение использовалось под другие нужды. Дом был увенчан характерным куполом, каким накрывают богатые мусульманские мавзолеи-усыпальницы. Но это совсем не значит, что «Алладин» разместился в бывшей могиле, вовсе нет! Во всяком случае, мне не хочется так думать.

Море расстилалось под ногами, под открытой террасой кафе, море урчало и тяжело переваливалось с боку на бок. Казалось, оно состоит из одного цельного чёрного пласта, стального или чугунового. Вместе с тем, было неопровержимо ясно, что это ощущение ошибочно: ни о какой надёжной опоре не могло быть и речи, зыбкая водная стихия таила в себе опасную непробудную глубину.

Подошла официантка, в чёрном бедуинском платье с красной вышивкой, чернявая, черноволосая и гибкая, словно бы вся – от макушки до пят – собранная из чёрных хрящей. Такую еврейку Савик видел тоже впервые в жизни; ну, ему ещё немало предстояло повидать незнакомого и милого – и сегодня, и потом.

На террасе «Алладина» они пили кофе с яблочным пирогом. Савик то и дело поглядывал на чёрную горсть залива, полную Сре-

диземным морем, отороченную по дальнему краю гирляндой редких тель-авивских огней. Спокойствие витало над водой, напряжённое спокойствие, захватывавшее наблюдателя и не отпускавшее его. Сидя за кофейным столиком, на террасе, на берегу, Савик Кричер испытывал нечто сродни гордости, как будто бы вдруг обнаружил себя частью этого тёмного угрюмого моря, разлитого посреди земли. Всё это напоминало сказку, полную опасных чар, и Савику, к собственному его смущению, хотелось поскорей от неё освободиться и ступить на твёрдую землю... Они допили кофе и поднялись из-за стола.

Случай, этот поводырь обстоятельств, на днях привёл Савика в Яффу, в кафе «Алладин». Смеркалось, свет свёртывался на глазах; море бесчувственно темнело внизу. Ничего здесь не изменилось за почти что пятьдесят лет: официантка в чёрном платье, каменный обвод террасы, залив, раскинувшийся до тель-авивской набережной, мигающей огнями, как рекламная вывеска. Приглушённый расстоянием разгул электричества не искажал строгости пейзажа, а смоляное небо скрывало контуры высоких гостиничных башен на берегу. Из-за столика кафе он глядел на тёмную воду нелюбимых им хлябей с большим безразличием, отчасти даже с досадою: более к месту, на его вкус, здесь бы пришлось широкое пшеничное поле или же лесной луг, забрызганный голубыми и красными цветами. Глядя с террасы на Средиземное море, менее всего он ощущал себя его частью или хотя бы частицей; за минувшие годы Савик свыкся с ним, как привыкают к угловатому комоду в тесной комнате и огибают его углы, чтоб не ушибиться ненароком. Вот оно, море – притон рыб и креветок! Нравится или не нравится, но оно, тем не менее, такое же чудо света, как гора Арарат с Ковчегом или сады Семирамиды, невесть когда обрушившиеся... Может, неприязнь к морю передалась Савику от наших древних предков, обитавших в этих краях: гонять по милым холмам козлов и баранов нравилось им куда больше, чем плавать по волнам на вёслах или под всеми парусами. Один лишь Звулон, десятый сын Яакова, по воле отца отчаливал от надёжного берега и держал путь в открытое море. Он один, и больше никто из двенадцати братьев. Возможно, ему было одиноко посреди вод, в отрыве от семьи. Можно его понять.

Полвека Савик прожил в окружении чудес – всеохватных и локальных, местных. Человек привыкает ко всему, вот и он почти привык к чудесам, сыплющимся на него неостановимо, как из рога изобилия, будь то природная дивная красота, неподвластная описанию, а то и чудо спасения от неминуемой, казалось бы, беды, от приключения летального – хоть на войне, хоть на шоссе на перекрёстке. Нечто хранит нас покуда, и мы знаем великолепное счастье существования. Это счастье складывается, как мозаика, из цветных камешков – зелёных, коричневых, розовых и золотых. Или как пазл – что кому больше по душе.

2

Все женщины одинаковы, и каждая нехороша по-своему. Самой гнусной из всех Савику Кричеру представляется в нашей истории Далила, предавшая Самсона-назорея.

Далила, филистимлянка, была родом из Газы. За три тысячи лет эта тёлка обросла парчовой корой мифа, и она пришлась ей к лицу. Красивому лицу, надо отметить – зрячий Самсон разбирался в филистимлянках и испытывал к этим чувихам роковую склонность, пропуская мимо ушей слова наших мудрецов, предостерегавших силача от увлечения гойками. Но, как утверждает позднейший опыт, «любовь зла – полюбишь и козла», и козлиху; это случается на каждом шагу. Да и послушайся Самсон мудрецов, не было бы увлечения, и предательства бы не случилось, и не состоялся бы всемирный миф о Самсоне и Далиле, а композитор Сен-Санс остался бы без своей знаменитой оперы. Многое, одним словом, пошло бы не так...

Но всё пошло именно так, а не иначе. Не смог Самсон устоять перед мордашкой Далилы – подрисованные синькой глаза, насурьмленные и сведённые над переносицей брови, с ума его свели; страсть совершенно обуяла. И он был прав. Кто из нас, честно говоря, бросит в него камень? Желающих не видеть...

Говорят: «Крепка, как смерть, любовь», и не замороченный поэт высказал эту глупость, а сам царь Соломон. И что ж? Любовь отлетела, умный царь средних лет, у которого четырёх зубов не досчитывалось, остался жив и невредим, а нимфетка Суламифь, не откладывая, завела шашни с ночным сторожем – крепким молодцом с дубовым воображением... Не зря шептали потом на иеруса-

лимских базарах, что «Песнь песней» не Соломон сочинил, а наёмный литератор по царёву заказу; эта новость не на пустом месте выросла.

Соломон любил, и Самсон любил. Да и барышни их любили, но потом немного разлюбили: Суламифь по юности лет, а Далила за деньги. Самсон, буйный силач, был увлечён Далилою ото всей души: красавицу желал, а её языческих соплеменников терпеть не мог и истреблял повсеместно – но это не мешало союзу влюблённых. Однажды, повстречав меж Ашкелоном и Газой толпу филистимлян, Самсон рассердился очень, рассвирепел, и, не имея под рукой иного оружия, поднял с земли обглоданную ослиную челюсть и уложил ею в землю тысячу иноверцев. Да что там эта тысяча! Как-то раз повстречал он на дороге льва, и голыми руками пасть ему порвал. И отсюда, возможно, родилась всем известная идиома «пасть порвать». Ветхие наши истории изобилуют чудесными преувеличениями и способствуют цветению мифов.

Самсон любил, Далила любила. Видная была пара и веротерпимая: он единобожец, она язычница. И кровоточивая обстановка ранних веков не препятствовала этому показательному союзу, у некоторых наблюдателей вызывавшему раздражение. Так уж мы устроены, теплокровные! И не слишком далёк от истины был писатель Тургенев, дополнивший «Песнь песней» и воскликнувший: «Любовь сильнее смерти!» Может, и стареющий царь так думал, глядя на юную красавицу, а потом на своё отражение в серебряном зеркале. Зато ни царь, ни русский писатель не задумывались над тем, что любовь – величина непостоянная и явление преходящее, как ветер Божий. Любовь – продолжение влюблённости, захватывающей человека целиком, как ловчая сеть. А продолжение – повтор, оно скучней начала, цветущего однова. И ревность, и скандалы, иногда с рукоприкладством – лишь попытка восстановить поколебленное право собственности.

Ну да... А Самсон? Доверчивость, эта разгаданная загадка славянской души, его сгубила: на его месте славянин точно так же уложил бы свою буйную голову в колени Далилы, силою колдовской страсти способной и мертвеца поднять из могилы. Вот вам, пожалуйста: «Любовь сильнее смерти», прав Тургенев. Особенно если позабыть о деньгах, которые, как это ни противно, ещё сильнее любви.

Я вижу Далилу даже без прищура, как будто она проживает в соседней комнате, сидит там с ногами на оттоманке. Ей предложили деньги, принесли много денег в обмен на Самсона, чтоб она обкорнала шевелюру назорея и лишила его силы. Великолепная история! И Далила, не будь душой, согласилась: деньги, выходит дело, оказались сильнее любви.

Отклони женщина щедрое предложение в пользу любви, враги не ослепили бы Самсона, и тот, в свой черёд, не сокрушил бы колонны языческого храма и не обрушил каменный свод на головы филистимлян, убив множество и погибнув вместе с ними под завалами. И мы знать бы ничего не знали о богатыре и негодяйке – миф не пророс бы сквозь камень тысячелетий. Камень камнем, а оплаченное предательство как цвело когда-то, так и нынче цветёт пышным цветом: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». Царь Соломон, писатель Тургенев – куда им до проповедника Экклезиаста!

Все эти персонажи, включая и литераторов – от Гомера и дальше, ведут свою роль, невольно или осмысленно ступая по пятам вслед за теми, кто был раньше их и исчез в сумерках прошлого; туда им и дорога. Имена их выветрились из памяти неблагородных поколений.

Кто выветрился, а кто остался светлым героем и избавителем своего народа – тут не последнее место занимает удача и благоприятное стечение обстоятельств. Рассказывают, что Самсон-назорей и царь Давид были сверстниками, жили и действовали в одно время (древние даты, надо отметить, отличаются большой подвижностью), а, возможно, даже и пересекались. Во всяком случае, история измены Далилы и героической гибели Самсона вряд ли могла пролететь мимо ушей царственного псалмопевца Давида.

У Давида были свои счёты с филистимлянами. А у кого их не было в ту пору в доме израилевом?

Историю великолепной схватки нашего паренька Давида с закованным в медные и бронзовые латы башнеподобным филистимлянином Голиафом Савик, кажется, знал всегда, с самого рождения – задолго до того, как впервые открыл Библию, запретную при большевиках. Как приключилось такое врождённое знание, он и сам не мог понять; и пусть эта загадка остаётся неразгаданной: аромат неизвестности украшает нашу жизнь.

От молодых ногтей Савик представлял себе широченное поле, вроде Бородина, на котором, в ожидании судьбоносного боя, толкуются, расположившись друг против друга, две армии – филистимляне и евреи. Перед филистимским строем расхаживает, гремя железами, трёхметровый богатырь, к нему направляется юный Давид, на которого Голиаф глядит с издёвкой и цедит через губу: «Разве я собака, что идёшь на меня с палкой и камнями?» И слышит в ответ: «Ты хуже».

Дальше томительные подготовительные события словно бы срываются с цепи. Пастух Давид привычным движением заправляет камень в кожаное гнездо пращи, раскручивает снасть – и увесистый снаряд мчится со свистом прямо в лоб великану. Тут точность нужна неимоверная – что да, то да! И вот богатырь повержен и валится, как куль с мукой, на весёлую землю, и филистимское воинство, увидев диковинную смерть своего балбеса, пускается в бегство... Тут крыть нечем: засвети Давид хоть Илье Муромцу таким окатышем промеж глаз, он с коня бы и сверзился.

Семицветная пена мифа, накидкой завитая вокруг персонажей, восхитительна. Вот это и есть полёт фантазии, истинная литература! И кровная связь с ними описателя, следящего и следующего за теми событиями, не поддаётся объяснению. И не надо!

Эта кровная связь – новое, такого не было и в помине до того, как Савик приехал в наши библейские края. И Давид, и Голиаф на фоне их армий воспринимались им из Москвы как цветная олеография, в раме, повешенная на гвоздь по-соседству с «Тремя богатырями» кисти Васнецова. Эти трое не пробуждали в Савике Кричере никаких родственных чувств, они были ему чужими. Даже громыхающий своими латами вражина Голиаф был ему ближе – то был его вражина: близкий враг.

Так сложилось, что в один из первых своих дней в Израиле Савик оказался в той долине Аяла. Его привезли туда новые знакомые из кибуца Кфар-Менахем – этот кибуц взял символическое «шефство» над семьёй Кричер в то поганое время, когда советская власть не выпускала Савика и его маму на историческую родину, и они сидели в отказе в Москве, как древние евреи некогда на реках Вавилонских. Кибуцники, не имевшие, понятно, представления об особых отношениях Савика с мифом о Давиде и Го-

лиафе, ни полусловом не обмолвились о том, куда они держат путь. Замирая, глядел Савик во все глаза на открывающийся безлюдный ландшафт его каменистой отчизны: жёлто-белая гладь осенней степи, вздыбленной кое-где округлыми невысокими холмами, по которым в отдалённые времена бродили наши предки со своими баранами и козлами.

— Здесь Давид убил Голиафа, — без всякого вступления oznакчил водитель, даже не притормозив, как будто речь шла о бытовом конфликте, случившемся давеча между каким-нибудь кибуцником и кочевым бедуином на верблюде.

— Можно остановить? — попросил Савик. — Я поглядеть выйду...

— Конечно, — останавливаясь, дал справку кибуцник. — Вот здесь это всё было, только на пригорок подняться.

Савик послушно зашагал. Белые камни осыпались под его ногами и катились по склону. С вершины взлобка вся долина Аяла была видна, как на ладони.

Потрясала и обескураживала величина долины: то был, скорей всего, безлесый овраг. Ни о каких армиях, стоявших друг против друга, лицом к лицу, не могло быть и речи; две противоборствующие ватаги разместились бы кое-как в этом овраге.

Евреи и филистимляне, можно предположить, толпились внизу, а взлобок служил ареной. Пусть злопыхатели бубнят, что Голиаф был крив на один глаз, и по этой, дескать, причине предприимчивый Давид к нему незаметно подкрался со своим булыжником. Другие намекают, что великан был из рода ангелов, изгнанных из небесных чертогов за плохое поведение, упавших нам на голову и обречённых на гибель... Будь Голиаф хоть одноглазым инвалидом, хоть трёхглазым — я искренне радуюсь гибели супостата и целую камень, уложивший его на месте.

А те камни, которыми выстлано дно нашего еврейского Бородин — долины Аяла? Они как лежали там три тысячи лет назад, так лежат и посейчас — бело-серые окатыши, размером с кулак. После роскошной победы Давида над Голиафом никому из зрителей и в голову не пришло поднимать с земли *тот самый*, отскочивший от башки филистимлянина камень, и нести его в музей воинской славы, потому что музеи в ту пору ещё никто не придумал. Да и сувениры, по дошедшим до нас слухам, были в то время не в ходу. Таким образом, *тот самый* камень, может статься — это любой из множе-

ства на дне долины, под нашими ногами. И тут дело не в науке, а в вере: верю, что этот кругляк засветил пастух Давид в лоб нашего врага! Этот, а не соседний! Вот Савик и привёз его с собой в Тель-Авив и положил на книжную полку; пусть там лежит.

Тут всё дело в перепаде масштабов: овраг Аяла – и целый свет. Великан и подросток. И свист камня, выпущенного здесь из пастушьей пращи, не заглох за три тысячелетия; он до сих пор поёт в ушах мира.

3

С подходом старости время выходит из-под контроля, сжимается и обмылком выскальзывает из рук. Нагибаться и ощупью искать его под ногами нечего и думать: шанс найти мал, риск рухнуть и сломать шею велик.

Но как оценивать старость, и есть ли в том нужда? Мафусаил дотянул до 969 лет, и это вызывает в нас умеренный восторг с сомнением пополам: надо же! И Мафусаил предстаёт перед нашими глазами мифическим персонажем, его долгожительство кажется изрядно преувеличенным... Его сверстники, весь этот круг, отличались чудесным долголетием, и, можно предположить, не одна лишь девственная экология тому способствовала. Ну, что ж! Во времена оны длину локтем меряли и со счёта не сбивались, а возраст меряли – чем? Часами, днями? Вот уж не факт! Годовой забег Земли вокруг Солнца – с этой версией старик Мафусаил вряд ли был знаком; у него составилось иное представление о беге времени. По нашему нынешнему календарю он со своей клюкой дотянул, надо думать, лет эдак до восьмидесяти пяти. Да и времена спустя, в почти обозримом прошлом, праотец наш Авраам дожил до 180, а жена его Сарра родила ему сына в девяносто лет, что, при всей моей любви к чудесам, маловероятно. Дело, значит, в летосчислении, отличном от нашего – как и в допотопные дни.

На этом можно было бы и точку поставить: ясность внесена. Относительная ясность, следует добавить... Возрастные перегибы учтены, но сама старость – равноправная составляющая человеческой жизни – остаётся нетронутой: какая она была у 950-летнего Ноя, такой осталась и у пенсионера Иванова из Вышнего Волочка. Как Иванов скрипит костями и перхает по утрам, так и Мафусаил перхал и скрипел.

Мне повезло: в молодости я приятельствовал и дружил, помимо моих бедовых сверстников, со стариками, или, если помягче, людьми пожилого возраста. Первым из них был Веня Рискин, ему было 60, а мне 20. Тот самый Веня, который уверял, что предназначение человека мыслящего (а других он считал подвидом, подсохшим ответвлением от ствола жизни) – смеяться над дураками. Не хохотать, не колотить себя по ляжкам в пароксизме неодолимого гогота – а тихонько посмеиваться для собственного удовольствия, не таясь ни от кого. Я и Савика познакомил с Веней, и мы троём совершили немало захватывающих поступков.

Зоркий взгляд Вени Рискина на нашу действительность разделял его ближайший друг и товарищ Юрий Олеша, а раньше, ещё до войны, другой его друг – Исаак Бабель. Нетрудно догадаться, что всех троих связывала, прежде прочего, принадлежность к литературе: Олеша, Бабель и человек устной цивилизации Веня Рискин. Водить пёрышком по бумаге Веня не любил, отдавая предпочтение устному жанру – в этом ему не было равных, его историями заслушивались и мастера, и подмастерья. Лишь изредка брался он, всё же, за перо, но лучше бы он за него не брался вовсе. В 30-е годы влияние Бабеля на Веню было столь мощным, что плавно перетекало в давление. Однажды Веня засел за работу, написал рассказ и отнёс его в журнал «Огонёк». В журнале текст прочитали, без труда обнаружили в нём тесное подражание Бабелю – и в сюжете, и в «одесском акценте».

– А вы сами, наверно, из Одессы? – спросили у Вени.

– Не угадали, – ответил Веня. – Из Харькова.

Но это не помогло: рассказ самым решительным образом завернули. Разочарованный Веня поделился своей заботой с Бабе-лем.

– Дайте сюда рассказ, – выслушав Веню, сказал Бабель. – Где он?

– Вот, – сказал Веня, протягивая странички.

Бабель внимательно прочитал текст, достал авторучку и написал на последней странице рукописи: «Перевёл с еврейского И. Бабель».

– Возвращайтесь в «Огонёк» и передайте это Кольцову, – сказал Бабель. – Из рук в руки.

Веня так и сделал. Рассказ напечатали без проволочек. Это было весело и, в общем-то, без дураков!

Разница в возрасте никак не влияла на наши отношения: в Вене Рискине я и Савик находили сверстника. А в глазах Вени возраст не был мерилom человеческой ценности. Старость ни при какой погоде не казалась ему самоцветным навершием жизни и сама по себе не заслуживала никакого уважения: старый дурак и в заграничной пустыне Сахара оставался старым дураком, а для нас с нашим другом Веней Рискиным изрядная часть времени, каким принято измерять набегающий возраст, оказывалось морем по колено. Время, надо думать, представлялось Вене понятием довольно-таки расплывчатым, наподобие медузы в том самом весёлом беспокойном море, которое по колено. Тут и сам старик Мафусаил не нашёл бы слов возражения и не стал бы спорить с Веней Рискиным: молодость от старости, в конце концов, ограничена лишь биологическими особенностями, иногда весьма неуместными и досадными. Что говорить! Четырнадцати лет отроду Веня был приставлен Нестором Махно помощником счетовода к сундуку с казной и скакал в тачанке стремглав, а покинул наш круг в преклонных годах, в переводе на ветхозаветный счёт близких к Мафусаиловым, в пропахшей машинным маслом подмосковной богадельне, на руках у кучера знаменитого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Вот как было дело.

Прошлое для Вени Рискина, нашего друга, не состояло из времени; прошлое состояло из прошлого. Точно так, как ландшафт не состоит из километров, а состоит из неповторимости. Неповторимостью прошлого для Вени была война с немцами, его участие в ней. Он не был убит, воротился восвояси и поэтому называл себя «баловень войны». По дороге домой, на румынской границе, ночью офицеры-смершевцы выгнали солдат из эшелона для проверки: что за трофеи везёт в отчизну рядовой состав с коварного Запада? Часишки и колечки, собранные на дорогах войны, не вызывали у контрразведчиков ни вопросов, ни возражений: это можно. Интерес вызывало другое – содержимое солдатских заплечных мешочков. Велено было, при свете ручных фонарей, мешочки опорожнить, вещички выложить на землю для ответственного разгляда и контроля. Велено – сделано! Сунув руку в горло своей тощей котомки, Веня извлёк оттуда страницу, вырванную из книги: фотография женщины лет сорока, с гладко зачёсанными волосами.

– Это кто? – покосился офицер.

– Мать Гитлера, – сказал Веня Riskин.

Контрразведчик застыл, как жена Лота.

– Что?! – он выдавил. – Зачем?

– Показать моим товарищам, – сказал Веня, – что обыкновенная женщина может родить дракона.

Медленно приходя в себя, офицер озирался по сторонам: до чьих ушей долетел этот страшный разговор.

– Рви! – шёпотом заорал контрразведчик, и Веня послушно принялся рвать страницу на кусочки; в направленном свете фонаря обрывки, рея, опадали на землю. – Топчи!

Веня топтал, его движения напоминали нелепый танец пьяного человека. Цепочка солдат, выстроенных вдоль вагона для проверки, наблюдала за происходящим в совершенном молчании: неприятностей со смершевцами не хотелось никому.

Но и смершевцу, шмонавшему Веню Riskина, неприятностей не хотелось: ужасную историю с гитлеровой мамой, обнаруженной у солдата, возвращавшегося домой, следовало приглушить на корню и не дать ей растечься. Поэтому, убедившись, что обрывки мамы добросовестно втопты в земную твердь, контрразведчик перевёл дыхание и шагнул к следующему солдату. А Венин мешочек, в спешке и горячке, остался необысканным до дна, и по этой приятной причине там сохранилась – а так бы отняли наверняка – бутылочка ямайского рома, предназначенная в подарок Юрию Карловичу Олеше, для которого само это поющее слово «Ямайка» представлялось сродни изумрудной метафоре.

Война началась для Вени, вначале не подпадавшему под призыв, осенью 41-го, в Ашхабаде, куда его эвакуировали из Москвы вместе с Олешей как литературного человека. Немец наседал, надо было спешить. Часть писателей вывезли в Ташкент, часть к татарам, а Веня с Олешей оказались в Ашхабаде.

Ехали до места назначения через пень-колоду, с пересадками, со стоянием на узловых станциях – месяца полтора. Прибыли ночью, а наутро Веня с Олешей, разглядывая по дороге рассечённый арыками глинобитный азиатский городок, отправились на почтамт. Там, в окошечке «до востребования», могла обнаружиться корреспонденция – письма, открытки – адресованная новосёлам.

Для Вени весточка обнаружилась – повестка из военкомата, расписавшись в получении которой адресат считался мобилизованным новобранцем. За время путешествия писательского поезда из Москвы в Ашхабад положение на фронтах искривилось в сторону ухудшения, и вот литературного Веню Рискина решено было призвать в действующую армию, а предыдущий приказ о брони отменить и считать недействительным. Прочитав повестку, Веня ничуть не расстроился: это, действительно, было смешно – бежать за тысячи километров от фронта и угодить прямоком в военкомат! Всякое может случиться в нашей жизни... Рядовой необученный Вениамин Рискин, боевое прошлое которого в конном войске Махно никем не учитывалось, не опасался военной смерти: он был фаталист.

Отъезд новобранцев на войну был назначен на завтра, а нынешний вечер Веня с Олешей решили посвятить, как заведено, проводам солдата. На базаре, за полным отсутствием сорокаградусной, они купили у белобородого торгового старика трёхлитровый стеклянный баллон сладкого домашнего вина, а в лавочке два гранёных стакана и закуски: лепёшки и кулёк урюка, свёрнутый из газетки. К проводам приступили, не откладывая – невдалеке от базара, на тихой улочке они мирно устроились на берегу мурлыкающего арыка, в жухлой травке. Дневная жара ещё не сошла, над арыком висела раскалённая духота.

– За вас, Вениамин Наумович, – поднял свой стакан Олеша. – За ваше скорое возвращение!

– Дай Бог, Юрий Карлович, дай Бог! – сказал Веня и, ладонью прикрыв, вместо кипы, дремучие волосяные заросли на макушке, длинным залпом опрокинул в рот липкое содержимое своего стакана.

Дружелюбный баллон казался бездонным, но конец приходит всякой вещи, а вину – всенепреренно и всегда раньше, чем хотелось бы. Закончили прощальную выпивку и Веня с Олешей – в начале ночи, в шёлковой азиатской тьме. Цикады трещали без умолку, возбуждённые светляки вились вокруг выпивающих и норовили спикировать в сладкие винные стаканы.

До получения жилья на новом месте эвакуированным позволено было ночевать в вагоне, который их сюда привёз. Возвращаясь на железнодорожную станцию, на шатких ногах, Веня

споткнулся, упал в арык и сломал лодыжку. И для лечения раны, на правах новобранца, был помещён в воинский госпиталь – сюда, в глубокий туркменский тыл, везли с фронта тяжелораненых, исковерканных солдат.

– Ты только себе представь, – рассказывал мне Венька Рискин, – что я чувствовал, залегая в палате среди человеческих обрывков – разорванных минёров, обгорелых танкистов! И тут я со своей проклятой ногой... И хоть бы водку пили, а то какое-то сладкое пошло под урюк.

Венина военная карьера развивалась вполне благоприятно. После выписки из госпиталя он был отправлен на фронт и представлен к воздушному генерал-майору Хрюкину в должности ординарца или, попросту говоря, денщика. Так, при Хрюкине, Венька и прошёл всю войну до самой победы. Орденами его не пожаловали, зато он получил в подарок от своего командира аккордеон «Хохнер» с прикрепленной к рубиновому боку серебряной пластинкой, на которой было выгравировано: «Рядовому Рискину от генерала Хрюкина на память». Мир не без добрых людей.

Слушая Венины военные истории, мы словно бы в озёрную воду прошлого глядели. Время, эта непостижимая субстанция, ничуть не отделяла нас и не отгораживала от тех событий. Мы видели себя на берегу ашхабадского ручья, в жутком госпитале, во фронтовом блиндаже генерала Хрюкина. Слушая Веньку, мы тоже были баловнями войны. Но когда мы пытались записать удивительные рассказы Вени его словами, ничего у нас из этого не получалось. Ни у нас, ни у кого.

А вот сочинённый давным-давно, в 60-м году прошлого века рассказец о Веньке Рискине «Старики», кажется, получился, и здесь ему самое место – для лучшего знакомства с моим другом и товарищем.

СТАРИКИ

Шмуркевича Венька презирал: этот Шмуркевич неделями сидел на даче, в Москву не ездил, боясь, что его поймут в электричке как безбилетника. Денег на билет у него, конечно, не было. У Веньки тоже не было денег, но в Москву он наведывался регулярно

– просто так, без дела, похлебать супца из солдатского котелка в кинозале «Хроники», куда его пускал бесплатно знакомый контролёр. Люди в тепле и в темноте спят, обнимаются или смотрят кинохронику, а Венька лакает себе из солдатского котелка супец, налитый туда знакомой официанткой из кафе «Националь», – тоже, понятно, не за деньги и даже не в долг. Как же такой Венька мог не презирать робкого Шмуркевича?

Но он и жалел его – с ухмылкой, правда, но жалел. Одетый в две – одна поверх другой – клетчатые ковбойские рубахи, подаренные разными людьми в разное время, Шмуркевич на старости лет решил сделаться драматургом. Он прибыл на подмосковную дачу из Одессы, отягощённый своим решением и картонным чемоданом, набитым рукописями. Над ними он работал лет сорок подряд, просиживая штаны в редакции когда-то славной газеты «Моряк» вплоть до самого выхода своего на пенсию. Теперь этот старик, назанимав денег в счёт грядущих пенсионных доходов, решил дать бой судьбе и полем боя выбрал, конечно, Москву. Рукописи его были не вовсе бездарны, но литературные классики могли всё же безмятежно спать в земле и не вертеться в своих гробах от беспокойства и зависти.

На подмосковную дачу Венька попал случайно: я привёз его туда жить. На даче мы обнаружили Шмуркевича. Как он там оказался – это его дело. Может, покойный владелец дачи, известный писатель, завернул когда-то в Одессу, заглянул в редакцию когда-то славного «Моряка», познакомился там со Шмуркевичем и пригласил его в гости, под Москву. На это, может быть, сердечное приглашение и сослался Шмуркевич, нанеся полгода тому назад визит вдове писателя. Вот вдова и дала ему ключи от дачи – не селить же одесского гостя в двух его ковбойках в ореховой гостиной или краснодеревянном кабинете московской квартиры. А на даче, по осеннему дождливому времени, никто не жил, да и летом она пустовала, да и прошлой зимой. Продать бы её – и с плеч долой, но вот руки никак не доходят.

А дача тем временем обветшала и пришла в запустение. Ещё зимой компания юных лыжников сбила замки и, проникнув в дом, учинила там славное веселье: пили, били бутылки о стены и мебель. Кровати, лежаки и кресла растащили по укромным уголкам. К широчайшей двуспальной кровати хозяев прикололи прощаль-

ную записку: «Спасибо этому дому. Любви – да, войне – нет!» Одним словом, весь дом перевернули вверх дном, слава Богу, что не подпалили.

После этого случая большую часть изгаженных вещей вдова свезла в комиссионный магазин, а битое стекло, окурки и ворохи тряпья так и остались валяться на полу. Только Широчайшая незбылемо стояла на надлежащем месте, в спальне. На ней, Широчайшей, на её звонких пружинах, обтянутых полосатым, в застарелых подтёках, тике, и устроился жить Шмуркевич.

Теперь Венька сделался его напарником: на рваной раскладушке, обнаруженной нами в чулане, он жить не захотел.

С покойным владельцем дачи Венька тоже был не на «ты». Просто вдова, наслушавшись моих рассказов о Веньке, опустила в мою ладонь ключ от дачи со словами:

– Несчастный одинокий старик! Ему негде жить – пусть поживёт у нас на даче. Там такой воздух! К тому же, вы говорите, он был знаком с покойным Александром Семёновичем. А Александр Семёнович, вы же знаете...

Об Александре Семёновиче я знал достаточно и мог бы рассказать о нём вдове не меньше, чем она мне: покойный был человеком общительным и весёлого нрава. А вот о том, что на даче проживает другой несчастный старик – Шмуркевич, вдова не сказала ни слова. Поэтому, когда мы приехали на дачу и увидели свет в окне спальни, Венька погрузился.

– Послушай, – сказал Венька, – может, уедем? Я как-нибудь перезимую в моём курятнике – куры меня знают, а я знаю, где они кладут яйца. Куриная хозяйка не знает, а я знаю... А?

– Давай войдём, – сказал я. – Зря, что ли, тащились сюда целый час? И, потом, ты здесь хозяин: ключи-то у тебя.

– А у них – отмычка? – усмехнулся Венька и взглянул на свещающееся окно. – Тогда хозяйева они, а мы – идиоты... Ну, пойдём.

Но дверь была заперта изнутри. Я бухнул кулаком по доскам, и в ответ послышались лёгкие шаркающие шаги и:

– Сейчас, сейчас! Минуточку... Кто там?

Мы с Венькой переглянулись: к такому вопросу мы были неподготовлены, и ответить на него было непросто.

– Кто, кто... – сказал я, дёргая за ручку двери. – У нас ключи есть, мы из Москвы.

– Мы люди хорошие, – разъяснил Венька. – У нас водка есть.

Дверь отворилась. На пороге стоял старик с длинным розовым носом, с бледными губами сердечника. Это и был Шмуркевич. На его ковбойки был накинута рваный плед.

– Прошу вас, – сказал Шмуркевич, потирая костлявые ладони одна о другую. – По коридору и направо. Там, можно сказать, тепло и сухо.

Мы прошли в спальню и сели на Широчайшую. Затворив за собою дверь, Шмуркевич всё потирал руки и улыбался, показывая ровные зубы цвета старой слоновой кости, слишком нарядные, чтобы быть настоящими. Пегие бровки Шмуркевича были вопросительно, как-то по-детски выгнуты, и голубые глаза под ними перебежали с Веньки на меня и обратно. Я и до сих пор не пойму, что у него были за глаза: то ли дурные, то ли наглые.

– Что это вы тут веселитесь? – сказал Венька, резким движением руки сдвигая кепку на затылок.

– Как? – спросил Шмуркевич, улыбаясь уже немного вымученно и наставляя ухо. – Что вы сказали?

– А он, оказывается, ещё и глухой, – как бы между прочим заметил Венька. – В хорошую ты меня втравил историю: дом отдыха, тишь да гладь, жареные гуси плавают... Послушайте, уважаемый, как вас зовут?

– Шмуркевич, – с предупредительной готовностью сообщил Шмуркевич. – А – вас?

– Вениамин Наумович, – сказал Венька. – Будем знакомы... Водку пьёте?

– Пью, – смутился почему-то Шмуркевич, опустил брови и потупился. – Но совсем немного, чуть-чуть... Я ведь, знаете, страдаю сердечной болезнью... А, может, картошечки – я как раз отварил? Пшеница есть, геркулесу полпачечки.

– Геркулес под водку, – отметил Венька. – А мыло у вас есть?

– Есть, – сказал Шмуркевич. – Хозяйственное.

– Лучше уж водку закусывать хозяйственным мылом, чем геркулесом, – сказал Венька латунным голосом.

– Есть ещё сухарики – сам сушил, – продолжал Шмуркевич, – лавровый листик – ещё одесский...

– Вы сказали – одесский? – насторожился Венька. – Лавровый лист?

– Ну да! – сказал Шмуркевич, вдруг распрямясь во весь рост и глядя на Веньку с вызовом. Он, видно, решил отыгаться на этом самом листе за венькино хозяйственное мыло. – Да, одесский. А что в этом удивительного? Вы думаете, в Одессе нет лаврового листа? Это просто глупо! Я заявляю вам как одессит...

– Так вы одессит? – строго спросил Венька, как бы требуя специального подтверждения этому важному и приятному факту.

– А почему бы мне не быть одесситом? – чуя подвох, позондировал почву Шмуркевич.

– Я не спрашиваю «почему», – кругло уставясь на Шмуркевича, сказал Венька, – интересный вы еврей... Вы еврей?

– Еврей, – признал несколько сбитый с толку Шмуркевич.

– Одесский еврейский старик, – сказал Венька.

– А вы, что – не старик? – огрызнулся Шмуркевич.

– Я тоже старик, – сказал Венька, надвигая кепку обратно на лоб. – И тоже одесский... Несите картошечку, если не остыла.

– А товарищ ваш, – юля глазами, засмеялся Шмуркевич, – он тоже? Наш? Ну... еврей?

– Кто это вам вбил в голову, что я – «ваш»? – сердито сказал Венька. – «Ваш», «наш»... чушь собачья. Что я вам, брат?

– Так, значит, он еврей, – мельком взглянув на меня, удовлетворённо сказал Шмуркевич.

После первой чашки водки Шмуркевич пригласил Веньку в со-авторы.

– А что вы думаете, Вениамин Наумович, – сказал Шмуркевич. – мы заживём прекрасно, великолепно. Мы поделим всё – и славу, и деньги: мне семьдесят пять процентов, вам – двадцать пять. У меня есть киносценарий о советском солдате, попавшем в плен к немцам. Там надо кое-что подчистить, кое-что изменить – самую малость... А потом мы вернёмся в Одессу.

– А почему бы вам сейчас не вернуться в Одессу? – спросил Венька. – Чего вы торчите тут, на этой вонючей даче?

– У меня нет денег на дорогу, – грустно сказал Шмуркевич. – И, потом, я хочу встретиться с кинорежиссёром Чухраем – очень, говорят, симпатичный человек.

– А Чухрай хочет с вами встретиться? – спросил Венька и скривил лицо, как будто сосал лимон. – Послушайте, Шмуркевич, вы знаете, что мир поделён на две неравные части?

– Да, – сказал Шмуркевич. – На богатых и на бедных.

– Нет! – категорически опроверг Венька.

– На дураков и на умных? – предположил Шмуркевич.

– Нет! – прокричал Венька, обмакивая картофелину в соль. – Я делю мир как бритвой: на тех, кто ест маслины, и на тех, кто не ест маслины. Середины здесь нет.

– М-да... – сказал Шмуркевич и пожевал губами. – Маслины. Это вы хорошо сказали... – Он явно не понимал, при чём тут маслины.

– Вы любите маслины? – усмехнувшись, спросил Венька.

– Я – да, – сказал Шмуркевич. – Какой одессит не любит маслины? А вы любите копчушку?

Венька поглядел сначала на Шмуркевича, потом на меня и, покривив губы, покачал головой. А потом отчаянно махнул рукой и плеснул себе в чашку из бутылки.

– Ну, ты меня и травил! – сказал Венька, выпив водку. – Ну, травил...

Я шагал через мокрый, холодно шуршавший лес к последней электричке. Стены леса по обе стороны тропинки были высоки и черны. Ветер срывал с ветвей гроздь крупных, ледяных капель и швырял их в меня. Надо было мне остаться о стариками, в тёплой сухой спальне, на рваной раскладушке.

Старики не уживутся друг с другом, думал я, глядя под ноги и переступая через лужи. Всё это дело кончится скандалом, стариковским скандалом, – с криками, изысканными оскорблениями, с размахиванием руками. Надо бы приехать сюда через недельку.

Но приехал я только зимой, через три месяца – так уж вышло.

Я шёл к даче той же тропинкой – теперь жёлто-белой, заснеженной. Вечер выдался морозный и сырой, и стены леса были свинцовыми. Кутаясь в воротник пальто, я представлял себе комнату стариков – и она виделась мне с этой тяжко поскрипывающей тропы сухой и уютной. Кто остался там – Венька или Шмуркевич – я не знал. Но один из них должен был съехать, проиграв борьбу. С прочной позиции молодости я не делал в этой чужой борьбе поправки на старость участников. Один должен был выиграть, другой проиграть – это всё. Проигравший – кем бы он ни оказался – не вызывал во мне жалости.

За лесом, в выстуженном поле, пошли сугробы. Ветер бил меня сбоку, а тяжёлая хозяйственная сумка, в которой погромыхивали бутылки и банки, стучала по ногам. К даче я подошёл в темноте; дом чернел посреди облезлого, заваленного снегом участка. В окошке спальни светился огонёк, отбрасывая на синий снег нерезкую переплётчатую тень от рамы; лёгкая веточка дрогнула у меня под сердцем, дрогнула на миг и снова застыла, и я ощутил маленькую, приятную пустоту – там, ниже сердца. Мне захотелось увидеть Веньку в тепле комнаты.

Венька отворил дверь. В руках он держал гранёный стакан с жидким чаем.

– Шмуркевич болеет, – сказал Венька. – Жалеть его надо! Торчал бы себе в Одессе, получал пенсию...

Шмуркеич сидел в спальне, на краю кровати. Нос его стал ещё длиннее и розовей, а губы полиловели. Он сидел в двух своих ковбойках, поверх них был накинут драный плед. Ноги Шмуркевича, обутые в стоптанные, с обрезанными голенищами валенки, упирались в светящуюся золотисто-розовым сиянием электрическую плитку.

– Вот и товарищ ваш приехал, – сказал Шмуркевич и чуть-чуть подвинулся на кровати, словно бы предлагая мне место рядом с собой. – Оставайтесь у нас ночевать!

– Пейте чай, – сказал Венька. – Сахар я уже положил.

Я быстренько сварил на плитке пельмени и разогрел тушёнку прямо в банке. В комнате приятно запахло жирным мясом.

– Попируем! – сказал Шмуркевич, потирая сухие ладошки. – Я же говорил – он приедет.

– Мало ли что вы тут мне говорили... – проворчал Венька. – Водку вы пить не будете, слышите?

– Есть коньяк, – сказал я, разгибаясь над плиткой.

– Ну, капните в чай, – сказал Венька Шмуркевичу. – Это вам можно.

– Я хочу мяса! – сказал Шмуркевич. – Какая ерунда! Кто вам дал право командовать, Вениамин Наумович?

Ужин прошёл довольно-таки невесело. Мы с Венькой пили коньяк, закусывали пельменями и запивали мучнистой пельменной водичкой, изображавшей бульон. Шмуркевич поковырял мясо ложкой, отставил банку и задумался над чем-то... Спать легли рано, сразу после еды.

Я лёг на раскладушке, старики – на кровати, рядышком. Шмуркевич растянулся на спине, подложив плед под голову. Так, на спине, лежать ему было легче и спокойней. Он напоминал какой-то странный механизм, разобранный, разъятый на детали для ремонта и смазки. Венька, наоборот, компактно скрючился на боку, накинув на себя пальто, из-под которого торчала его голова в кепке. Он занимал примерно вдвое меньше площади, чем ослабленно вытянутый Шмуркевич.

Я уже засыпал, когда до меня донёсся шёпот Шмуркевича:

– Я хочу вам сделать одно предложение, Вениамин Наумович...

– Я не девушка, Шмуркевич, – сказал Венька. – Ну, что за предложение?

– Вы любите землю?

– Какую землю? – Венька немного приподнялся на локте.

– Небольшой участок земли, с домиком, – сказал Шмуркевич.

– Это под Одессой, всего километров пятнадцать. Я уже давно его присмотрел.

– Ну и что? – спросил Венька, возвышаясь над плоско лежащим Шмуркевичем.

– Там можно было бы разбить огородик, – сказал Шмуркевич.

– Так, ничего серьёзного: немного картошки, огурчики, укропчик... И моя пенсия. Нам бы хватило.

– Продолжайте, – чужим каким-то, далёким голосом сказал Венька.

– Да вот, собственно, и всё, – сказал Шмуркевич. – Домик у самого моря, в двух шагах от моря.

– Так вы хотите его купить, этот домик? – спросил Венька, снял кепку и пригладил волосы ладонью. – А деньги у вас есть?

– При чём тут деньги! – злым шепотом прокричал Шмуркевич.

– Деньги будут, мы же в конце концов продадим сценарий о пленном солдате. Да и либретто... Не в деньгах дело.

– В чём же дело? – спросил Венька, снова ложась и подтыкая под себя полы пальто.

– Этот домик стоит на территории военного дома отдыха, – горько сказал Шмуркевич. – И они там устроили летнюю кухню, вот в чём дело... Но если вы не любите землю, тогда не о чем говорить.

– Кто вам сказал, что я не люблю землю? – Венька грузно поднялся и сел, опершись спиной о белую, золочёную спинку кровати. – Что вы болтаете чепуху? Откуда у вас все эти дурацкие идеи, Шмуркевич?

– Двадцать пять лет назад я присмотрел этот домик, – сказал Шмуркевич, глядя в потолок. – А думал о нём ещё раньше – с тех пор, как остался один. Разве я никогда вам не рассказывал? – Венька не ответил, сидел молча и неподвижно. – Когда началась война, – ровно продолжал Шмуркевич, – меня забрали рыть окопы. А всех моих – жену с ребёнком и родителей – вывезли из города на пароходе. В пароход попала немецкая бомба... Мальчику было тогда полтора месяца.

– Я не знал, что у вас была семья, – пробормотал Венька. – Простите...

– Нет-нет, ничего, – сказал Шмуркевич. – Я думал, я вам рассказывал.

Мне не хотелось мешать старикам, да и разговор их затягивался, а заснуть я никак не мог. И я выволок мою раскладушку в коридор.

Проснулся я поздно: в маленьком оконце над дверью серело утро. Ёжась от холода, я вылез из-под моего пальто и босиком пошлёпал в кухню – попить. Вода в ведре была ледяная.

Башмаки мои остались с ночи в комнате стариков, и я вошёл туда, тихонько отворив дверь.

Шмуркевич лежал на спине, голова его на серой шее была высоко откинута. Его рука, намертво вцепившаяся в клетчатую ткань рубахи и оттянувшая её, окостенела.

Я вышел на цыпочках в коридор и плечом распахнул тяжёлую дверь, ведущую на улицу. Двор был бел и бугрист, и на снегу чернела только одна тропка, протоптанная от крыльца дома к дощатому скворечнику уборной.

В стороне от этой тропки, посреди снега, стоял Веня. Его спина, обтянутая пиджаком, тихонько покачивалась, как маленький чёрный колокол. Он молился. Слова «кадиша», звучавшие над снежной пустошью, казались стеклянными и страшными.

1960

Москва

Любовь – явление, носящее характер поветрия – имеет, к тому ж, неохватные границы: мы любим блондинок и брюнеток, толстущек и худышек, синеглазых и кареоких, долговязых и малорослых. О вкусах спорить не приходится или, как уверяет поговорка: «В каждой избушке свои погремушки». Любовь, придуманная романтиками удобства ради и для успокоения мятущейся души, если и не преследует коммерческие интересы, то является на смену неодолимо прекрасному желанию, песне плоти, унаследованной то ли от диких зверей, то ли от ангелов небесных – поди, знай!

Звонящая страсть перетекает, таким образом, в ровную, как струганая доска, любовь, а затем и в постылую привычку. Речь тут идёт, разумеется, о гендерных подходах к теме, а ведь вокруг нас существует куда как немало предметов, помимо девичьей красоты, изменяющейся от поколения к поколению в соответствии с требованием моды. Красота литературы, почти неизменная, достойна устойчивой любви; это убедительный пример. Не говоря уже о любви множества людей к Богу – как будто он в этом нуждается.

В молодые годы такие обременительные мысли Савику и в голову не приходили – он делил всё своё время между сочинением стихов и захватывающим бегом за девчонками, вызвавшими в нём обжигающую вспышку желания, которую иные любители назвали бы «любовь с первого взгляда». А второго и не было – довольно было и первого, затягивавшегося иногда на неделю, а то и на три.

Итак, любовь к литературе. Зачем далеко за примерами ходить? Я, например, люблю Есенина, почти так же крепко как Мандельштама. Кого это шокирует, пусть бросит в меня камень; мне всё равно. Я вижу Есенина на завалинке Божьей избы, в полосатых портках, закинувшим ногу на ногу. Он не растягивает меха гармошки и в жалейку не дудит – это был бы уже палки перегиб. Сиденье Есенина на завалинке, в палисаднике – игра, моя игра в реальную действительность, которая не существует вовсе. А стихи существуют.

Понятно, что за радужной пеленой стихов угадывается автор. Но мне этого было мало, я хотел встретить кого-нибудь, кто товариществовал с Есениным, сотрапезничал, был запанибрата. Но что я знал тогда, в начале своего времени, в свои двадцать лет! Двадцатью годами позже я вот так же искал сотоварищей гени-

ального Андрея Платонова – и нашёл, и слышал их: Виктора Некрасова и Семёна Израилевича Липкина. А с Мариенгофом я познакомился, когда мне не было ещё и двадцати, и «Роман без вранья» я знал только по названию – к самой книжке подходы в те времена были в советской стране перекрыты наглухо. Кабы знамо! Знал бы – дерзнул бы расспросить Анатолия Борисовича, элегантного пожилого господина с чайным цветом лица, о его друге Есенине. А другой живейший свидетель жизни Сергея Есенина! Когда в конце 50-х, в Тбилиси, в Союзе писателей меня подвели к Ивневу, я подумал, что ослышался: Рюрик Ивнев размыто представлялся мне мамонтом, покоящимся во глубине сибирских льдов.

Но вернёмся к Савику Кричеру. Живую историю о Есенине я услышал впервые от Чагина – к нему на дачу привёз меня Савик, каким-то боком приходящийся хозяевам дальним-предальним родственником, почти неразличимым.

Мы попали как раз на обед; за столом расположилось с полдюжины известных московских журналистов и писателей. На столе не только тарелки с блюдами кругло белели, но и, по неписанному правилу, золотился в бутылках армянский коньяк, без которого, как уверяет молва, Уинстон Черчилль и дня не мог прожить.

Так или иначе, но после рюмки-другой Чагин расслабился, крупное его лицо, словно бы вырубленное плотником топором, налилось здоровым розовым соком, а голубые, навывкате, глаза оглядывали мир с доброжелательным любопытством. Он был много знающий человек.

Под конец обеда сотрапезники затеяли интереснейший литературный разговор.

Сергей Есенин, рассказывал Чагин, приехал в 1924 году в Баку, где сам Пётр Иванович был в то время большим партийным начальником, вторым человеком в городе, и куратором печатных изданий – газет, журналов. А Есенина, как всякого русского поэта, тянуло на великолепный хлебосольный Кавказ – к его горам, людям и песням. Загадочная Персия, расположенная по соседству, неотвязно манила и влекла Есенина, как и турецкий Босфор, на котором он тоже никогда не был. Бакинские нефтяные качалки были ему совершенно безразличны, железная индустриализация чужда, если не враждебна его ситцевой душе. Не то бирюзовая Персия,

где на базарах нищие калики поют рубаи Хайяма и газели Фирдуси, где вспыхнувшая грозным огнём толпа не так-то уж и давно растерзала нашего поэта Грибоедова.

Надо попасть в Персию. В Персию! Ради этого стоило ехать в Баку и сидеть тут, как в железном лесу, среди нефтяных чёрных вышек.

Но начальник, ещё повыше Чагина, запретил везти Есенина в Персию. Чем был вызван этот запрет, можно только гадать на кофейной гуще: вряд ли высокое начальство тревожила перспектива чрезмерного увлечения советского гостя горячительными напитками в соседней стране. Русский человек когда не пьёт? Когда ему не наливают. И всецело положиться тут на Чагина было рискованно.

Петру Ивановичу было предписано «с самого верха» так организовать времяпровождение знаменитого поэта, чтоб Баку ему волшебной Персией показался. Задача была проста, как три копейки.

Круглый день, с рассвета до темноты, гоняли вокруг Баку на двух машинах по горам и глухим деревенькам. В головном «паккарде» располагался Чагин с Есениным, вторая везла повара и отборный пищевой припас: вино, снедь. К полудню сомнения гостя в том, что кругом – Персия, совершенно рассеялись.

Вернулись ночью, в состоянии приятного изнеможения.

– Серёжа, – спросил наутро Чагин, лечась народными средствами от тяжёлого похмелья, – как тебе Персия?

Персия очень понравилась. Чему ж тут не понравиться?

– Петя, – спросил Есенин, – а чайханщик был? С бабыми плечами? Или мне приснилось?

– Был, был, – подтвердил Чагин. – Как сейчас его вижу...

Есенин был благодарным человеком, во всяком случае, к добрым друзьям. Первые наброски «Персидских мотивов» были посвящены Чагину, а их героиня именовалась не «Шагане» – такое персидское имя вообще не существует в природе – а «Чагане». На этот счёт существует множество вариаций, и все они менее интересны.

Личность художника располагается отдельно от его творчества. Это утверждение столь же неопровержимо, как бессмыслен-

ность использования сослагательного наклонения на минном поле политических реалий. Личность знаменитого художника, в накидке из мифов – предмет досужего любопытства публики; что ж, это легитимно. «Сними ладонь с моей груди, / Мы провода под током. / Друг к другу вновь, того гляди, / Нас бросит ненароком» – лучшее, на мой взгляд, эротическое четверостишие в русской поэзии, и оно имеет мало общего с реальной жизнью его прославленного автора, Бориса Пастернака. Более того: лирическая героиня этих волшебных слов вполне виртуальна, и расстояние между нею и «последней музой» поэта Ольгой Всеволодовной Ивинской измеряется парсеками. Пастернак был гений, а то, что позволено гению, не позволено его музе. И вот финал Большого взрыва эмоций: «Но как ни сковывает ночь / Меня кольцом тоскливым, / Сильней на свете тяга прочь / И манит страсть к разрывам». Межзвёздная свобода преобладает в жизни гения, и это всё, что дано о нём знать публике достоверно.

История создания «Персидских мотивов» как раз тот случай, когда личность автора предельно тесно приближена к текстам стихов, к самой сердцевине цикла. Не знай мы подоплёку «путешествия» Есенина в Персию, дивные стихи, быть может, показались бы нам излишне сусальными и подсахаренными. Волей-неволей напрашиваются сравнения с десятками, если не сотнями других стихов, написанных десятками, если не сотнями других советских поэтов о командировках в зарубежные края; эти рифмованные отчёты вылились со временем в своего рода жанр. На их фоне «Персидские мотивы» высятся, как Эверест на фоне Среднерусской возвышенности. А проследив головокружительную гонку Есенина с Чагиным на «Паккарде» вокруг Баку и открыв тайну «Чагане», мы увидим автора Персидского цикла вживе – будто он живёт в соседнем доме и каждое утро встречается с вами в рюмочной на углу.

5

*Слоисто время, как рулет:
Синий цвет, зелёный цвет...
Смысл разумный бередя,
Досаждая добрым людям,
Завтра, верно, так же будет*

*Время свёрнуто в рулет:
Синий цвет, зелёный цвет.*

Забыл, когда и от кого слышал Савик Кричер эти строчки, но они почему-то сохранились в глубоких складках его памяти и всплыли на поверхность на берегу озера Иссык-Куль, на раннем рассвете: солнце проклёвывалось на Тянь-Шане, высокое небо меняло цвет на глазах – от яблочно-зелёного до абрикосово-оранжевого, и небо было временем, а время было Богом.

Упоительная жажда странствий привела Савика сюда, на озеро, в кишлак Сары, в глинобитную кибитку старика лет шестидесяти – пастуха по прозвищу «Зелёная Шапка»; эта Зелёная Шапка приходилась отцом киргизскому другу и сокурснику Савика, поэту Абдыкалыю Курджумшукуровичу Молдокматову. Шапку, стало быть, звали в бытовой жизни Курджумшукуром, но за сутки, проведённые заезжим московским гостем под его крышей, никто к нему так официально не обращался; Зелёная Шапка – и всё тут.

В Шапкиной кибитке, в Богом забытых Сарах Савик чувствовал себя отменно; публика здесь, по его разумению, была как две капли воды похожа на ветхозаветных жителей, в незапамятные времена обитавших на холмах его далёкой отчизны. Время, свёрнутое в рулет, раскинулось над Иссык-Кулем и нависшими над озером горами Терскей-Ала-Тоо с их сыртами – высокогорными отгонными пастбищами; как раз туда, в кишлак Кара-Шийрак, Савик и держал путь. Наверх вела грунтовая летняя дорога, ввинчивавшаяся своими серпантинами в небеса метров на восемьсот. Зимой её напроочь запечатывали снега и лёд – до июня. И тогда добраться из Кара-Шийрака до китайского Кашгара было проще, чем спуститься к озеру.

На сырты в начале 60-х можно было попасть через Сары, миновав городок Пржевальск, что на восточной оконечности Иссык-Куля. За окном стояла советская власть.

После отмены СССР этот приветливый Пржевальск, пёстро населённый киргизами, русскими, уйгурами и дунганами, без задержки переименовали в Каракол, что в переводе с киргизского означает «Чёрная рука»; название связано с разбойниками, когда-то здесь хозяйничавшими и грабившими добрых людей. Что ж,

могу легко понять потомков путешественника Пржевальского. В Мозамбике, посреди африканских джунглей, произошло нечто подобное: аборигены, радуясь победе демократии над португальскими колониалистами, под эту музыку переименовали столицу, носившую имя моего предка, пиратского морехода Лоренцо Маркиша, в какое-то безликое Мапуту. Обидно...

Мне нравился этот азиатский городишко. Хочу надеяться, что старинный памятник Пржевальскому, установленный там ещё при царе, уцелел – ведь открыватель дикой лошади, всё ж, не Ульянов, чтоб его сносить... Вот и в этом грёбаном Мапуту стоит себе, никому не мешает, бронзовый памятник моему Лоренцо.

Пржевальск казался Савику перенесённым сюда, на берег озера, из другого, древнего слоя времени – знакомого понаслышке, но прежде не виданного. Какого? Бог весть; может, и допотопного. *«Синий цвет, зелёный цвет»*. Или золотисто-песочный, или серо-серебряный. Люди, одетые кое-как – в вытертые ватники, выцветшие чапаны, обутые в разбитые сапоги или глубокие азиатский галоши на малиновом подбое, шли вдоль жёлтых дувалов по своим делам, а, может, и вовсе без всякого дела. Никто из них и думать не думал над тем, как догнать и перегнать Америку по надою молока или построить коммунизм, да и знать об этом не знал. И это было приятно и легко.

То были люди другого замеса – не те, которые водились в Москве. Существует ли лаз, сквозь который можно перебраться из прошлого в будущее и обратно – это ещё бабушка надвое сказала, а очутиться в другом слое времени очень даже возможно; город Пржевальск тому примером. И это не говоря уже о лесных молодцах с Амазонки, готовых во всякий час поживиться сладким мясом соседа или соседки. Бразильские власти в курсе дела, они принимают в расчёт специфические вкусы своих краснокнижных аборигенов, выпавших из гнезда нашего времени и поэтому, что бы они ни натворили, приравниваемых к несовершеннолетним. Они, напялившие кожаную кобуру на детородный орган, со своими луками и отравленными стрелами, тоже живут в другом слое времени; это очевидно.

Не то в Пржевальске: там слой иной, публика иная и гастрономические вкусы у неё иные. Там деликатес – кремлёвская рыбка-

османка, она тоже из Красной книги, и ловить её запрещено строго; впрочем, кому надо, те ловят, и весь улов, до последней рыбёшки, отправляют в Москву, в Кремль. А тому, кому ловить не надо, а он всё-таки ловит на свой страх и риск, могут припаять три года отсидки: чужое не бери, тем более кремлёвское! Но и эта живая административная связь с пенитенциарной системой государства не делала из пржевальских жителей унылых строителей коммунизма. Пржевальцы жили по своим азиатским правилам, не заглядывая в завтра. Время, ограниченное для них конструкцией «зима-лето», имело в их глазах вполне аморфный характер; и это тоже было приятно и легко.

И Савику среди них было легко и приятно. В чайхане, скинув обувь и сидя, поджав ноги калачом, на бараньей кошме, с пиалушкой зелёного чая №95 в ладони, он неспешно обсуждал со своим случайным собеседником-аксакалом преимущества дунганского лагмана перед лагманом уйгурским и актуальную для чабанов тему волкобоя на отгонных пастбищах, куда Савик направлялся, подобно Прусту, в поисках случайно утраченного времени. Он и встречу в чайхане, это зыбкое подрагивание времени с запечатанным в нём червячком жизни, воспринимал как счастливую случайность.

Одним словом, в Пржевальске – будущем Караколе, откуда русские жители, под напором выпущенной из-под замка азиатской сущности, им чуждой, уедут, грубо говоря, подчистую – Савик чувствовал себя легко, как птица, парящая в потоке ветра. Где ещё он найдёт такого аксакала, чтобы побалакать с ним, под зелёный чаёк, про волкобой и лагман? Ну, может, на отгонных пастбищах, где, правду сказать, нет ни лагмана, ни чайханы.

Из Сары наверх, на сырты тронулись с рассветом. Караван из шести раздолбанных грузовиков остановился на окраине посёлка, и Керим, шофёр, к которому Савик навязался в попутчики, сказал: – Выходим, братан! Сейчас выпьем на дорожку и поедем.

Шестеро угрюмых водил и Савик к ним довеском уселись кружком на землю. Появились пиалушки и бутылка питьевого спирта. Глотать спирт из пиалушек непростое дело: определить, уложится ли содержимое в один глоток, как при питье из стакана, не представляется возможным, а пить чистый спирт в непредугаданные два глотка – рискованное предприятие.

В один глоток или в два, но неожиданная выпивка вызывала у Савика бесшабашную тревогу: головокружные вилюшки, с позволения сказать, дороги, пробитой на отвесном плече голой горы, мало о чём говорили наблюдателю, кроме как о падении в пропасть. «В пропасть упасть – пропасть, И тело обмоет река». Откуда это, чёрт возьми, втемяшилось в голову! А шофера степенно выпили, крикнули и разошлись по кабинам.

Поехали. Содрогаясь и ухая, машины карабкались от поворота к повороту. Задумчиво глядя в окошко, Савик рассматривал проплывающие внизу железные останки грузовиков, когда-то свалившихся в обрыв. Картинка складывалась траурная, но соседство с горной смертью его, по молодости годов, не особенно напрягало: падение в пропасть, в компании с водилой Керимом, представлялось ему хотя и допустимым, но маловероятным происшествием. А Керим яростно крутил руль, словно вступил с ним в схватку не на жизнь, а на смерть; пиалушка спирта придала ему 96-градусной энергии, и он готов был сражаться, как берсерк.

Вскоре после полудня они одолели подъём и выехали на плато. Озеро осталось глубоко за спиной, морщинистая степь растянулась перед ними до горизонта и уходила в Китай. Часа через полтора должен был показаться Кара-Шийрак – посёлок на два десятка персон, включая детей-сосунков в их люльках, бараньего фельдшера, почтаря, тройку овечьих и ячьих чабанов и председателя сельсовета по имени Шарше. Почтарь, как, впрочем, и председатель, являлись в посёлке фигурами сугубо номинальными: никто ни туда, ни оттуда писем никому не писал и посылки не посылал, а сам Кара-Шийрак, незнакомый ни с водопроводом, ни с электричеством, в председателе сельсовета Шарше нуждался примерно так же, как в короле-Солнце Луи Четырнадцатом. Но советская власть, квартировавшая в двух днях пути отсюда, внизу, и назначавшая чиновников во всякий населённый пункт, считала, как видно, иначе...

Не пропылив вглубь сыртов и километра, караван остановился, и шофера, выгрузившись из кабин, повалились на землю для отдыха: спиртовой заряд рассосался, и теперь волны сна смоят чуждое напряжение подъёма.

– Отдохнуть надо, – сказал Керим, подтыкая шапку под голову.
– Часок поспим и поедем.

Не теряя времени даром, Савик залёг по-соседству с Керимом и закрыл глаза. Морфей не заставил себя долго ждать, он спикировал из ближайшего облака небесного. Савику приснились петли дороги и железные скелеты тех, кто не добрался.

На сыртах ничего не менялось ни к лучшему, ни к худшему: никак. В запрошлом году Савик Кричер прилетал сюда спецрейсом дряхлого биплана АН-2 на всенародные выборы. «Кукурузник» кряхтел и кашлял, в его гремящем чреве помещался председатель избирательной комиссии с бланками и урной для голосования – ящиком со щелью, снабжённым висячим замочком. Кара-Шийрак должен был по всем правилам отдать свой трудовой голос за никому неведомого кандидата коммунистов и беспартийных – и всё тут. Здесь, в этой подаренной местным людям заброшенной пограничной заставе, огороженной обвалившимся там и сям глинобитным дувалом, свободно умещалась Вечность – вся, сверху донизу. Мускулистый ветер дул и нёс пыль с песком, чернели выбитые оконца обветшалой конюшни, в бывшей ленинской комнате заседал на кошме председатель Шарше, а бараний фельдшер расставил мешки с овечьим дустом в каморке солдатского медпункта, от которого не осталось ничего, даже хлорного запаха. Были там и другие пустующие никчемные помещения: столовка, склад, что там у них ещё полагается... В покинутом кабинете замполита с утра до вечера сидел за единственным уцелевшем на заставе канцелярским столом почтарь, от безделья и со скуки почти утративший дар речи и использовавший рот преимущественно по прямому назначению: для пережёвывания пищи.

А в прозрачном насквозь столбе Вечности, пятой упиравшемуся в Кара-Шийрак, а головой уходящему в блёклые небесные выси, умещалось и клубилось всё, случившееся от начала времён, и то, чему ещё суждено было случиться до их конца. Савик и себя там находил, вглядевшись, среди чабанов и баранов, и бараны были сродни их сородичам на холмах Иудеи и Самарии, а чабаны ничем не отличались от его бродячих пастушьих предков. А недавние распорядители этих мест – пограничники в форменных фуражках с зелёным верхом – тоже толпились, в своих кирзовых сапогах, но они казались явлением наносным, случайными брызгами времени.

Ничего подобного невозможно было разглядеть в Москве, сколько ни вглядывайся – в лучшем случае, мутное завтрашнее утро. Здесь, в Кара-Шийраке, в этом слое времени Савик чувствовал себя в своей тарелке. Люди, звери и птицы – всё было по нему. Он, пожалуй, готов был поставить за забором юрту и остаться в ней на лето или навсегда – всё равно время здесь никто не считал, и которое тысячелетие стоит на дворе, не знал никто. Зачем им это? А Савику? А мне, если вдуматься – зачем?

Вечеряли, рассевшись вокруг достархона, вольно подложив подушки под локти, в Ленинской комнате. Баран, списанный под волкобой, в казане над костром был безупречен; о нём, о его судьбе, а заодно и о судьбе Савика Кричера можно было сложить поэму, предпочтительно в гекзаметрах. И это послужило бы укреплению загадочной связи культур.

Китайский эмалированный таз с варёным бараном, уже распластанным на части, восседал, как богдыхан, посреди достархона. Кругом щедро рассыпаны были золотистые боорсаки, и поглядывал с красного блюдечка деликатес – наструганный кружочками лучок. Рядом с Шарше сидела, бок о бок с ним, громоздкая однорукая калекка с изрытым каким-то диким недугом, пузырястым лицом. Похожих калек Савик видел на берегу пересыхающего Арала, в каракалпакском мусорном городишке – они там держали пекарню и торговали лепёшками; он наверняка запомнил бы похожую на тех, аральских, однорукую тётку, встретиться она ему в прошлый приезд сюда, в Кара-Шийрак.

– А это кто такая? – наклонился Савик к бараньему фельдшеру, сидевшему рядом с ним. – Я её чего-то не помню...

– Она по сыртам ездит туда-сюда, – объяснил бараний фельдшер. – Наши думают, она на картах умеет гадать. А она просто больная, у ней мясо не держится!

– Больная? – холодея, переспросил Савик. – А – чем?

– Проказа, – дал справку фельдшер.

Ну да. Проказа, точно. В том аральском городишке они торговали хлебом с лотков, и никого это не трогало. Прокажённые, говорят, жили там испокон веков, по соседству с теми, кто почему-то ничем не торговал, зато наружность имел далеко не такую ужасную: чёрная ленточка перечёркивала их лицо поперёк, закрывая дырку, где прежде помещался провалившийся нос. Савик и этих

безносых запомнил очень хорошо; и их тоже. Надо сказать, что приморский городишко не числился ни исправительно-трудовым лагерем, ни закрытой оздоровительной колонией-лепрозорием – там, наряду с недужными, и здоровые советские граждане проживали, хотя и в небольших количествах. В море водилась рыбка, но желающих её подцепить на удю набиралось, как кот наплакал: жаждущие прибрежных приключений отпускники предусмотрительно объезжали это местечко стороной. И курорт там никак не получался, хотя была и привлекательная достопримечательность: цыганский табор, целиком переселённый сюда из Ташкента, подальше от столицы. Переселенцы духом отнюдь не пали, они целыми днями валялись на берегу, на песке, с неимущей местной публикой знакомств не заводили и к себе не подпускали. Была у них и солидная охрана: приведённый из Ташкента чёрный датский дог, ростом с телёнка. Когда любопытные местные, включая сюда и больных, подбирались слишком близко к табору, прикованный цепью к железному дрючку дог лениво размыкал пасть, и тогда поражённые зрители разбегались веером: во рту зверя, у всех на виду, драгоценно вспыхивал и сверкал золотой клык размером с большой палец. Видел неуместную драгоценность собственными глазами и Савик Кричер, и убежал в смятении.

С тех пор ни цыган с их собачкой, ни тронутых проказой хлебобёков он нигде не встречал – до этого дня в Кара-Шийраке, за вечерним достархоном.

– Проказу рыба-сом разносит, – со знанием дела сообщил бараний фельдшер, – а у нас тут рыбы нет, ей жить негде.

Налив спирт в гранёный стакан, он пустил его по кругу, и Савик с опасливым интересом наблюдал, как однорукая, когда наступил её черёд, сделала добрый глоток и передала стакан дальше. Дошла очередь и до Савика, и он замешкался, держа залапанный жирными пальцами сосуд на отлёте.

– Пей, пей! – видя нерешительность Савика, подбодрил бараний фельдшер. – Спирт микробу убивает, это дело верное. А если что, так эта зараза, – он, не таясь, кивнул на прокажённую, – только через двадцать лет до человека доходит; все у нас так говорят... Или даже через тридцать, – подумав, поправился бараний.

«Что будет, то и будет, – решил Савик Кричер. – Тридцать лет... Может, так оно и есть». И выпил, и стакан передал.

Разговор катился легко, масляно. Поговорили о родственниках, рассыпанных по степи вместе с дальними отарами, об охоте на архаров. Прокажённая молчала, была не в теме: на охоту она не ходила. Она оживилась, когда речь коснулась волкобая: по закону волкам отводилось шесть баранов в год с отары – один из них лежал сейчас, разрезанный на куски, в китайском тазу – а дальше шести за потери держал ответ не волк, а чабан. Такое положение вещей казалось ей неправильным: лимит потерь должен быть повышен до десяти голов, и тогда, с натяжкой, хватит на всех. Одно-рукую гадалку слушали почтительно: да, неправильно, да, десять голов куда лучше и верней. Савику понравилось предложение прокажённой, и он тоже подал свой голос в поддержку жизненного мошенничества; волков отгонять собаками, а десять баранов, как будто бы задранных этими волками, нарезать, сварить и съесть за дружеским достархоном, вот как сейчас... Все высказывались, не перебивая друг друга, и обменивались интересными мыслями, только почтарь жевал молча и за весь вечер не вымолвил ни единого слова.

Так сидели, никуда не спеша. Зачем спешить? Куда? Время всё равно не обгонишь, хоть беги бегом; что назначено, тому и случиться в свой срок. Петлистые пути свели едоков списанного барана в Ленинскую комнату, помещённую в самую сердцевину единого Времени, уходящего столбом в чёрное небо над брошенной погранзаставой.

Нерезко освещённая керосиновой лампой-трёхлинейкой, эта комната была кукольным пространством, и Тот, кто держит руки над ширмой, направлял ход людей, волков и баранов.

6

Савик Кричер, мой товарищ, к людям относился с недоверием; так они были устроены, люди, и в их числе сам Савик Кричер. Он им не верил, и в них не верил ничуть.

Такой подход не должен вызывать в нас негативные чувства к Савику; вот во мне его недоверие не будит ровным счётом никаких эмоций. Почему это он должен верить людям? С каких пор прозрачная честность стала зеркалом досужей публики? объехать первого встречного на хромой козе, объегорить и обжухать – эта тяга глубоко заложена в народонаселение. Она и есть базис об-

щества, а хрупкая надстройка культуры не выдерживает и ветра дуновенья. И чем выше, становясь начальником или хоть полу-начальником подымается человек по извилистой карьерной тропе, тем безоглядней он обманывает и обмизуливает людишек, мельтешащих внизу. Это не говоря уже о правителях нации, забравшихся на самый верх и сплошь состоящих из лжи. Так оно заведено, так есть... Возможно, мы должны быть благодарны создавшемуся положению: мир, балансируя, держится на противостоянии грешников и праведников, которых и днём с фонарём не разглядишь. А будь он составлен из одних мерзавцев или же только праведников без пробелов, долго бы не простоял. А если граждане, с мозгами, промытыми карболкой пропаганды, охотно подставляют уши и рты для заталкивания кляпов – сами и виноваты.

Что же оставалось Савику в этом смрадном социальном пространстве? Любовь, вот что ему оставалось.

Беда в том, что Савик Кричер, мой товарищ, не верил и в любовь. Это вовсе не означает, что дикий вихрь желаний не ввинчивал его в прекрасные приключения, некоторые из которых самовольно, неизвестно почему застревают в памяти. Ввинчивал, и ещё как!

С любовью, за неимением лучшего, публика связывает множество ароматных надежд, а когда любовь рассыпается, как картонный домик, лишь устало пожимает плечами: что ж тут поделать, значит, не судьба! На разбитую любовь списывают всяческие горести, как на войну: война всё спит! Да любовь, по сути дела, и есть война в перламутровых тонах – столкновение двух характеров, поединок несовместимостей не на жизнь, а на смерть или же заключение шаткого перемирия, вплоть до раздела имущества, включая сюда и детей. Вот тут характеры выходят из берегов, и мордобитие отнюдь не исключено. Любовь, пусть даже и отчавлившая, всё спит!

Савик Кричер до таких жизненных открытий ещё не дошёл: детей у него не было, делить было нечего. Его расставания происходили тихо и незаметно: вчера была Метёлкина, сегодня – Фёфёлкина. Только однажды свирепая подруга, в жилах которой текла толика турецкой крови, пообещала с ним расправиться и целый день дежурила, с пистолетом в сумочке, на аэродроме, куда

он должен был прилететь из Армении. Но он прилетел назавтра, и не из Армении, а из Грузии, и на другой аэродром. Такие неурядицы с ним случались – иногда вольно, чаще невольно.

Это я познакомил Савика с Колей Кошкиным-Юсуповым, драматическим артистом. Ко дню знакомства Коля пропил всё подчистую из комнаты, где жил в одиночестве после развода и раздела с женой Адой – бело-розовой, как зефир, генеральской дочкой, бездетной. Квартира была просторная, пятикомнатная. Для начала новых отношений Коля навесил на свою дверь висячий амбарный замок и зажил весело и шатко: взялся без шума и скандала распродавать генеральские вещички, оставленные в комнате на хранение – до тех пор, пока артист не съедет прочь и не исчезнет с глаз долой. Начал Коля с именной, с серебряным тыльником, в кожаных чёрных ножнах сабли бывшего тестя. За саблей последовал шкаф-гардероб, вывезенный из поверженной Германии в качестве трофея. Дальше – больше: в ход пошла лакированная скамейка от рояля и его пузатенькие ножки; сам концертный инструмент невозможно было вынести и продать – он в дверь не пролез и, обезноженный, остался лежать на брюхе. Колю неудача не обескуражила: призванный им мастер на все руки, человек пьющий, разобрал паркетный пол комнаты, сложил дубовые дощечки в два мешка и отнёс товар на Дорогомиловский рынок.

Пока неунывающий Коля соображал, что бы ещё такое можно продать, основным источником дохода оставалась жидкая актёрская зарплата в театре Красной армии, куда его, вятского уроженца, взяли вскоре после свадьбы усилиями родственного генерала. Он и прибавку «Юсупов» к своему родовому обозначению получил после поступления на армейскую сцену, по совету тёщи. Просто «Кошкин» звучало ужасно для театрального артиста! Теперь, обзаведясь княжеской фамилией, Коля при каждом удобном случае подробно рассказывал о том, как его славный предок зашиб у себя во дворце старца Гришку Распутина. Жуткие рассказы оказывали на слушателей расслабляющее действие, особенно на представительниц слабого пола. Это и понятно: неоднозначная фигура «святого чёрта» вызвала в них специфический интерес.

Я познакомил Савика с Колей Кошкиным, а Коля познакомил Савика с Ли ху-Дэ. Из подобных сплетений, если вдуматься по-

лучше, складывается история мира. Сплетений-хитросплетений. Вороватый Сосо Джугашвили познакомился с головорезом Камо, и эта пара нечистых устроила экспроприацию с убийством. Отмеренный срок спустя Ульянов, в своём революционном гешефте, отметил успех «чудесного грузина», проклянувшегося на поле грабежа, а потом пробил час октябрьского переворота, и Русь, нахлёстываемая тем самым чудесным грузином, треща и разваливаясь на ходу, покатила с горы.

Это всё было раньше, но не слишком давно. А нынче Коля Кошкин позвал Савика Кричера ехать купаться на Москву-реку, в Серебряный Бор. Всему своё время.

На воды ехали в троллейбусе №12, набитом битком. Эта выдавшая виды синяя «дюжина» добралась до конечной остановки, высадила распаренную в духоте и тесноте публику, неторопливо развернулась на круг и покатила обратно в город.

Публика, с увесистыми сумками в руках, двигалась через редкий лесок от остановки к воде. В сумках несли одинаковое – подстилки для лежания, полотенца и харч: хлеб, котлеты, колбаску, крутые яички, яблочки, ну и бодрящие напитки, конечно. Какой без них отдых!

Запасся, для получения удовольствия, и Коля Кошкин. В его сумке позвякивали, встречаясь в тесноте, да не в обиду две бутылки: «Московская» сорокаградусная и любимый народными массами подсахаренный «Солнцедар» в устрашающего размера притемнённой бутылки, в просторечье именуемой по-разному – «фаустпатрон» или «огнетушитель», как кому больше нравилось.

Казалось, вся Москва сюда съехалась поплескаться в реке и позагорать. Берег был устлан человеческими телами, как осенний лес палой листвой – без пробелов. Коля Кошкин, любезно извиняясь направо и налево, твёрдо держал курс к воде; Савик поспевал за ним. Вдруг Коля резко тормознул и остановился над раскинувшейся под солнцем спортивного покроя рослой девушкой азиатской внешности, дремавшей безмятежно.

– Да это ж Ли ху-Дэ! – удивился Коля. – Давай, просыпайся!

– А я и не сплю, – сказала длинная, садясь на своей подстилке. – Ребята обещали подъехать, а сами подвели.

– Как подвели? – рассерчал Коля Кошкин. – А мы кто, потвоему? – И опустил свою сумку на землю. В сумке звякнуло.

– Вы тоже ребята, – согласилась Ли ху-Дэ и приветливо улыбнулась, демонстрируя два ряда безукоризненных фарфорово-белых зубов. И эту улыбку можно было принять за приглашение присоединяться и присаживаться без церемоний. Присаживаясь и поглядывая на приветливую косоглазую, Савик испытал благодарность к ребятам, которые подвели.

– Она китайская артистка, – разъяснял тем временем Коля Кошкин-Юсупов. – Цирковая. Что вытворяет на манеже – ни в жисть не угадаешь!

– Ну, что? – спросил Савик, прикидывая на глазок, длинней ли цирковая китаянка его самого и, если да, то намного ли. Получалось, что – да, длинней.

– Ты что будешь? – пропустив мимо ушей вопрос Савика о том, что же такое вытворяет китаянка, спросил Коля. – Водку или вино?

– У меня вечерний спектакль, – ответила Ли ху-Дэ. – Вино. А вы пейте.

Так и сделали. Ребята проглотили тёплую водку и закусили морщинистым солёным огурцом. Жизнь приобрела очертанья праздника. После второй пришло время купанья.

– Пошли с нами! – пригласил циркачку Коля Кошкин-Юсупов.

– Я уже окуналась, – сказала Ли ху-Дэ. – Идите сами!

Они и пошли. В воде оказалось не намного просторней, чем на берегу, но подальше от берега отдыхающие поределели, и Савик с Колей, в приподнятом настроении, добрались почти до середины реки. Поворачивая обратно, Савик обнаружил, что Коля исчез из поля зрения. Мысль о том, что его приятель затонул, не пришла ему в голову – заплутал по пьяни, вот что с ним произошло! Вертя головою над водой и озираясь, Савик испытывал чувство растерянности, но не страха. Разыскивать Колю среди пловцов было занятиемдохлым, делом пустым. Может, он вдруг устал и воротился на берег?

Но не оказалось его и на берегу. Циркачку рассказ Савика о пропавшем Кошкине-Юсупове не встревожил ничуть.

– Найдётся! – успокоила она Савика. – Куда денется! Вылез где-нибудь, знакомых встретил и сидит с ними, выпивает... Наливай!

Выпили за приятное знакомство, потом за то, чтоб Коля нашёлся поскорей.

– Мне уже ехать надо, – сказала Ли ху-Дэ. – Давай, поехали!
– Я останусь, Колю подожду, – сказал Савик. – А то он придёт – а нас нету!
– Сам доберётся, – успокоила циркачка. – Не маленький.
– Вот же его штаны! – возразил Савик. – Без штанов он как поедет?
– Ну да, – согласилась китайка. – Без штанов в милицию сразу заберут.

Договорились ехать врозь, а вечером встретиться в цирке – Савику будет оставлена контрамарка у администратора. На прощанье циркачка чмокнула Савика в щёку и, помахивая пляжной сумкой, отправилась через лесок к остановке троллейбуса. Глядя ей вслед, Савик прикинул, что китайская цирковая девушка длинней его, по меньшей мере, на полголовы, и это обстоятельство подействовало на него очень даже щекотливо. Как видно, при столкновении несоответствий искры сыплются снопом.

Через часок приплёлся на нетвёрдых ногах Коля Кошкин-Юсупов, сказал, что заблудился в реке и приплыл не туда. В Москву вернулись вместе, по-товарищески, и распрощались, не обозначив следующую встречу. А вечером Савик надел синие парадные штаны и отправился в цирк. Он желал увидеть Ли ху-Дэ как можно скорей и поглядеть, что же такое она вытворяет на манеже. Куда идти после представления, он понятия не имел, но одно знал точно: циркачку он не выпустит. Его тянула и тащила к китайке неодолимая прекрасная сила, ему знакомая и захватывавшая его не раз и не два – сила прекрасная и победная, как «Свадебный марш» Мендельсона. Он готов был бросить к её великолепным ногам всё без разбора – если б у него было, что бросать. Иной подслеповатый наблюдатель назвал бы происходящее «любовь с первого взгляда» – если признать любовь фактором нашей жизни. Действительно, искать любовь «со второго взгляда» столь же бессмысленно, как дважды входить в одну и ту же реку... Савик Кричер над такими тонкостями не задумывался – его просто влекло к долговязой Ли ху-Дэ совершенно неостановимо.

Администратор из своего окошечка взглянул на Савика без всякого интереса.

– Мне тут билет оставили, – сказал Савик. – От Ли ху-Дэ.
– А вы кто ей будете? – поинтересовался администратор.

– Брат, – обрезал Савик Кричер. И добавил, на всякий случай:
– Двоюродный.

– А не похож, – с пробудившимся интересом прокомментировал администратор, протягивая контрамарку.

Со своего места в четвёртом ряду Савик терпеливо глядел на жонглёров, лилипутов и ковёрного с фальшивым фингалом под глазом. Всему приходит конец, и ожидание Савика закончилось: инспектор манежа в чёрном фраке и полосатых брюках объявил неповторимый номер народной китайской артистки Ли ху-Дэ. Заслуженная китаянка будет стрелять из лука в яблоко, помещённое на макушку любого желающего из публики, мужчины или женщины, но не моложе восемнадцати лет. Ну, кто храбрый? Выходи!

Никто не выходил. Савик поднялся было идти добровольцем, но передумал: а вдруг промахнётся! А вдруг глаз вышибет! Такое может произойти.

Выдержав паузу, инспектор манежа подал сигнал, и, под звуки туша, Ли ху-Дэ стремительно выбежала на арену. Она была одета в осыпанную блёстками набедренную повязку и шёлковую жилетку. В руках девушка держала длинный лук с заправленной в него стрелой.

– Значит, нет желающих... – с печалью в голове констатировал инспектор манежа. – Ну, что ж, придётся пригласить ассистента нашей замечательной артистки.

Савик ожидал появления ещё одного китайца, но из кулис потешно прискакал давешний ковёрный с липовым фингалом. Из кармана безразмерных штанов шутник извлёк крупное красное яблоко, потёр его бочком о рукав и надкусил со вкусом, показывая тем самым, что фрукт хоть куда. Потом он встал против Ли ху-Дэ, шагах в десяти от неё, и приладил надкушенное яблоко у себя на голове, поверх кепки. Забили барабаны. Публика присмирела, включая детей. А Ли ху-Дэ упруго подпрыгнула и приземлилась на руки, перехватив ногами свою опасную стреляющую снасть. Ах, цирк и ох, циркачки! Чего они только ни вытворяют! Перехватила! И лук со стрелой держала ногами, и натягивала!

Публика онемела, затаив дыхание: такого никто не ожидал от народной китаянки Ли ху-Дэ. Ногами! На руках, вниз головой! Ковёрный с его яблоком, как видно, большой дурак, что согласился постоять.

Барабаны трещали непрерывно. Освещение притемнили, и лучи прожекторов выхватывали на жёлтой арене лишь китайку, стоявшую на руках, и её жертву.

Выдержав напряжённую паузу, под грохот барабанов, Ли ху-Дэ натянула тетиву большим пальцем ноги и выпустила стрелу. Стрела скользнула. В тот же момент яблоко было поражено с завидной точностью, а ковёрный издал вопль. Свет вспыхнул в полную силу. Яблочные ошмётки улетели в ряды, кто-то из зрителей, после короткой борьбы, ими завладел и теперь демонстрировал соседям, не скрывая торжества. Китайка вернулась в естественную телесную позицию, встала на ноги и принялась кланяться публике с большим усердием. Савик был горд за меткую Ли ху-Дэ и радовался за ковёрного, оставшегося в живых.

Я тоже видел этот номер, и у меня, как и у моего товарища Савика Кричера, возникли душевные сомнения: как стрела связана с этим яблоком? Секретной бечёвкой? Или, может, в наконечник стрелы всадили магнит, а в яблоко – специальную железную приставку? Мало ли что можно придумать для такого потрясающего случая в наш век технической революции! Море возможностей тут открывается для сообразительного человека. Но ни я, ни Савик не принимали на веру снайперскую точность народной китайки, стреляющей ногами. Верней, принимали – но не безоговорочно.

После представления Савик и Ли ху-Дэ встретились в назначенном месте, у служебного входа-выхода. Он был настроен романтически, она – собранно и по-деловому; Савик с мимолётной досадой объяснил это нервным напряжением, пережитым артисткой по ходу номера, далеко превосходившего выдумкой и мастерством исполнения подвиг швейцарского национального героя Вильгельма Телля.

– Куда пойдём? – по-деловому спросила циркачка с высоты своего роста.

Пошли в ресторан «София», там женский оркестр играл джаз.

– Хорошо играют, – одобрила Ли ху-Дэ, когда они устроились за столиком недалеко от сцены.

– А в Китае женские оркестры есть? – спросил Савик.

– Нет, – дала ответ Ли ху-Дэ. – Не положено.

– Вот это зря, – не одобрил такой зажим Савик Кричер. – Ведь интересно же, для разнообразия.

– А ты, вообще, чем занимаешься? – спросила Ли ху-Дэ. – В жизни?

– Ну, как... – затруднился Савик. – Всем понемногу.

– А Кошкин говорил Коля, что ты статьи пишешь, – сказала циркачка. – В газету.

– Пишу, – сказал Савик. – А что?

– Просто так, – сказала Ли ху-Дэ. – А у тебя мама есть?

– Ну да, – сказал Савик. – Есть.

– А где она? – продолжала расспрос китаянка.

– Дома сидит, – сказал Савик и улыбнулся улыбкой сладкой. – Где ж ей быть? В Китае, что ли?

– У нас Высоцкий в цирке был, – сказала Ли ху-Дэ, – так он как мой номер увидел – просто рухнул!

– Ты танго умеешь танцевать? – спросил Савик. – Пойдём, потанцуем!

Танго для Савика, моего товарища, было разведкой боем: как партнёрша себя поведёт, так дальше всё и сложится. Китаянка повела себя очень хорошо и с большим пониманием: прижималась к кавалеру сверху донизу и реагировала на его волнение с полной отдачей.

В «Софии» просидели до самого закрытия – до полуночи. А когда вышли на улицу, Ли ху-Дэ сказала:

– Пойдём к тебе, познакомишь меня с твоей мамой.

Савик живо представил себе свою маму, которая, при виде сына с китаянкой, явившихся посреди ночи, рухнет, как Высоцкий.

– Поздновато уже, – привёл довод Савик. – Давай лучше пойдём к тебе в гостиницу, а утром поедem к маме завтракать.

– Ну, ладно, – вдруг проявила циркачка наивную доверчивость. – Давай... Ты дежурной по этажу дай на лапу, тогда она пропустит.

Они встретили рассвет на одной подушке. Интересное лицо Ли ху-Дэ, с раскосыми глазами, утопало в чёрных, как китайская тушь, прямых волосах. Она была похожа на азиатскую принцессу из волшебной сказки, и Савик Кричер глядел на неё с нежным удовольствием.

Визит к маме, на завтрак, никак не входил в его намерения, поэтому он тихонько оделся и вышел из комнаты по-английски – не прощаясь. Говорят же бывалые люди: «Долгие проводы – лишние слёзы».

Я тоже неплохо знал эту примечательную Ли ху-Дэ – урождённую бурятку, по имени Лида, по прозвищу Лахудра.

7

Человек вечно чем-нибудь недоволен. У одного голова болит, у другого кран течёт – всё не слава Богу!

А в Тель-Убб, на западном побережье Синая, всё было слава Богу.

В этот Убб резервист Савик Кричер добирался на перекладных чуть ни сутки: в Эйлат на военном транспортнике «Гиппо», потом, вдоль берега, мимо пустынных пляжей Нузбе, до Шарм аль-Шейха, который после войны Судного дня и перехода в наши руки назывался Офира, и дальше – к полумёртвому А-Туру, откуда египтяне раньше переправлялись по морю в Саудовскую Аравию в хадж или куда там ещё им было нужно. И, наконец, из А-Тура, на армейском джипе, по раздолбанной грунтовой тропе можно было меньше чем за час дотрястись до наблюдательного пункта №3 Тель-Убб. Стоп, машина! Приехали! Наконец-то!

Наблюдательный пункт помещался, как на ладошке, в неглубокой ложбинке, на краю пятидесятиметрового каменного обрыва, уходящего подножием в Красное море. Сразу за тесной, но вполне годной для удобной жизни ложбинкой, за серо-зелёной военной палаткой убегали к небу горы, за которыми, по-соседству, пророк Моисей получил из рук Того, Который наверху, десять правил поведения, и всем стало ясно, что нам делать запрещено, а что можно. Нарушение этих правил и по сей день лежит в основе нашей жизни.

Словно бы отрезанная от остального мира то ли библейской древностью, то ли ножницами только-только прокатившейся войны, овальная ложбинка была украшена полудюжиной узловатых невысоких деревьев и – здесь и там – островками травы; на фоне голых горных камней эта небогатая зелень выглядела празднично. Неслышанная тишина, почти ощутимая наощупь, её обволакивала и окружала, и эта торжественная тишь усугубляла красоту ландшафта и подчёркивала пугающую красоту земли.

Жизнь двенадцати солдат, под началом старшего сержанта Рами, в гражданской жизни страхового агента, безмятежно протекала здесь, меж небом и землёй, на райской ладошке. Ночное

небо над ней было плотно набито звёздами, как будто им не хватало места в их небесных пределах. Глядя в небо, осыпанное звёздными искрами, волей-неволей тянуло задуматься, что же это такое творится у нас над головой.

А море под обрывом напоминало предмет роскоши –тёмно-синий сапфир, место которого не в витрине ювелирной лавки, а в царской короне. И этот сапфир лениво лежал под горой, в ногах наблюдательного пункта №3.

Небо соперничало с морем в красоте, которая не спасёт мир. Небо без облаков было раскинуто над ложбиной Тель-Убб, оно отвесно уходило ввысь и ни во что там не упиралось. Смотреть в него было приятно и легко. Не встречая преград на своём пути, взгляд утрачивал зоркость и отдыхал расслабленно в бездонной голубизне.

А ночь по самые брови нахлобучивала на Тель-Убб расшитый серебряными звёздами чёрный колпак, и только бессонный дежурный мог разглядеть что-нибудь в армейский бинокль ночного видения, укреплённый на стальной треноге, как пулемёт на турели. К Савику Кричеру это не относилось: в часы своего ночного дежурства он, сколько ни вглядывался в окуляр, так ничего примечательного покамест не замечал: ни крадущихся к наблюдательному пункту вражеских диверсантов, ни незваных кораблей, ползущих по чёрной глади Суэцкого залива.

Розовым ластиком рассвет стирал тени с мира. Светало, море наливалось синью и сияло, и Савик нетерпеливо выглядывал явление под горой рыбака Махмуда с внучкой, то ли дочкой, по имени Айла. Этот Махмуд каждое утро туда приходил, неся в плетёной корзине свой улов – диковинных красноморских рыб, больше похожих на тропических птиц в лучезарном оперенье. Солдаты наблюдательного пункта №3, числом двенадцать, привыкли к появлению Махмуда внизу, под горой – так в уютных городках Европы жители привыкают к развозчикам свежевыпеченных булочек, к утреннему кофе.

Махмуд являлся, рыбы в его корзине разноцветно сияли. Командир Рами, метнув взгляд сверху на рыб и рыбака, давал отмашку, и Савик Кричер вприпрыжку спускался по круче к синему морю. Не рыбы в семь цветов, обречённые солдатской рукодельной рыбобарке, его туда манили, и не рыбак Махмуд, которому

было лет сорок, а, может, все шестьдесят. Дело Савика было расплатиться, забрать улов и вернуться назад. И всё. А он хотел глядеть на Айлу вблизи, стоять с ней рядом, вот чего он хотел, и поэтому раз за разом вызывался бежать вниз по козьей тропе, рискуя сломать шею.

По морщинистой физиономии, обёрнутой дублёной кожей, определить возраст Махмуда было затруднительно, а то и вовсе невозможно. Эта задача, впрочем, не занимала Савика Кричера. Сдвинув автомат за спину, он с нежной жалостью глядел, глаз не сводил то ли с дочки, то ли с внучки рыбака – с плавного овала её лица, украшенного сходящимися над переносьем тонкими чёрными бровями, с маленького хрупкого уха, выглядывавшего из-под красного головного платка. «Хочу прожить свой век / На берегу реки / И ловлей рыб кормить себя»; чьё это? Река, море – какая разница! Стоя рядом с Айлой, он готов был совершить безумные поступки: попросить у рыбака то ли внуку, то ли дочку, перейти в бедуинство и остаться здесь жить. И ловлей рыб кормить себя... Где эти местные, кстати, тут живут? Деревня у них, что ли? Надо спросить у Рами – он, может, знает. Это ему офицер полевой контрразведки дал разрешение покупать рыбу у Махмуда, потому что он не шпион и не согладатель: ему совершенно всё равно, кому продавать улов – евреям или хоть марсианам. Да, Рами должен знать.

Побросав рыб в мешок, Савик, как на крыльях, взлетел по неверной тропе, ведущей к военной ложбинке Тель-Убб. Здесь всё было привычно и обыденно: двойка надёжных пулемётов Мак со сменными стволами, «карманный» миномёт на опорной стальной тарелке, прибор ночного видения, нацеленный ярым оком на Суэцкий залив – никто ли туда не пробирается под покровом тропической тьмы. И, за жилой палаткой, на четырёх ножках, отменная рыбобарка, изготовленная кустарным способом из железной коробки, с тцанием заваренной по швам и не пропускающей ни капли масла. Красивая рыбка, только-только выдернутая из Красного моря и обмакнутая в огненное масло, служила добрым приварком к кормовому солдатскому довольствию, доставляемому сюда, в Тель-Убб, дважды в неделю. Наблюдательный пункт №3, таким образом, во всякое время суток был готов дать отпор кому надо и кому не надо; но никто не наседали ни из-за гор, ни с моря. Египтяне, как видно, смирились с поражением и смирно сидели.

Савик, поднявшись на райскую площадку, кивнул пулемётчику, лежавшему за Маком на спальнике, обогнул палатку и опустил свой мешок на камни, впритык к рыбожарке. Теперь повар Йоси из йеменской семьи, солдат-срочник, возьмётся за дело, почистит и выпотрошит рыб и приготовит их, как положено, в кипящем масле. Таких рыб ни в одном тель-авивском ресторане не найдёшь, вот это точно.

Более всего Савику хотелось вывести у командира, где живёт Айла с дедом, то ли отцом – далеко или близко? Но Рами ушёл в патруль с Йоси и ещё одним солдатом – по гребню горы, а потом понизу, огибая наблюдательный пункт №3 с тыла. Рами водил патруль дважды в сутки – утром и вечером, от раза к разу меняя состав патрульных; Савику выпадало идти с ним раз в три дня.

План своих действий Савик Кричер представлял себе нечётко: он знать не знал, что предпримет, разведав, где живёт Айла – в деревне, в пещере или хоть в бродячем бедуинском таборе. Ему было достаточно того, что душа его денно и ночью светилась, выхватывая из житейской пестроты нежнейшее лицо бедуинской девчонки с овечьими глазами под сведёнными над переносьем бровями. Вернувшись с моря, с мешком диковинных рыб, он начал нетерпеливо ждать приход ночи и новую встречу с Айлой завтрашним утром, на берегу – и время погонял.

В ту ночь ему было назначено дежурство с биноклем ночного видения – дело не хитрое, хотя глаз тут не сомкнёшь и вздремнуть не удастся. Заступив, Савик удостоверился в полной исправности прибора и мирном настрое окружающего пространства. Однако же после полуночи ситуация изменилась в корне: мутно-зелёная в усиленном звёздном свете поверхность залива, днём сапфировая, пришла в опасное беспокойство. Силуэты неопознанных кораблей бороздили наблюдаемый участок Красного моря, ещё вчера совершенно безмятежный – как будто перемирию пришёл конец, военные действия возобновились, и с минуты на минуту в Тель-Убб можно ожидать кровавого развития событий.

Но Савик Кричер не стал бить тревогу. По закрытой связи он вызвал дежурного офицера в штабе полевой контрразведки в А-Туре и доложил латунным голосом:

– У нас тут в заливе полный бардак. Я насчитал семь плавсредств... Рут тавор!

– Продолжай наблюдение, – приказал контрразведчик. – Выезжаю... Рут тавор!

Не прошло и часа, как контрразведчик приехал и, отодвинув Савика от бинокля, впился глазами в окуляры.

– Всё в порядке, – понаблюдав, сказал ночной гость. – Это наши нефтяную платформу пригнали из Южной Америки под видом металлолома. Бурить будут.

Наши. Значит, перемирие пока держится, нападение на Тель-Убб переносится на потом, и утречком можно будет бежать по козьей тропе на встречу с Айлой. Ура!

Всё вышло не так.

Махмуд явился один. Красивые рыбы, ещё не успевшие уснуть вечным сном в новой для них стихии, дёргались в плетёной корзине рыбака.

Все попытки Савика, с помощью жестов, выяснить, куда девалась Айла, ни к чему не привели. Видя грустное недоумение солдата, Махмуд протянул ему коричневый от солнца и огрубевший от солёной воды кулак, и разогнул пальцы. В ладони, как младенец в люльке, лежала конфета, посыпанная сахарным песком. Савик, дивясь, принял подарок и сунул конфету в рот.

А дивные дела на этом не закончились. Побросав рыб из корзины в солдатский мешок, рыбак отказался брать деньги за улов. Наотрез. Отталкивая руку дающего, он что-то живо говорил и объяснял; из этих объяснений Савик Кричер, разумеется, не уразумел ни единого слова.

Не уразумел, но запомнил одно – то, которое Махмуд твердил, как заведённый: «фаррад».

Рами, которому Савик как можно скорее хотел рассказать о диком поведении рыбака Махмуда, ещё не вернулся из патруля, зато срочник Йоси, сидя у входа в палатку, чистил картошку к обеду.

– Слышь, Йоси! – обрадовался Савик, завидев Йоси из йеменской семьи, где домашние говорили по-арабски. – «Фаррад» – это что будет?

– «Свадьба», – перевёл Йоси. – А что?

– Я за рыбой ходил, – ещё не потеряв надежды, дал справку Савик, – а Махмуд один пришёл, без Айлы. И всё время твердил как дурак: «Фаррад, фаррад!» И денег с меня не взял.

– Правильно, что не взял, – сказал Йоси. – Значит, свадьба у них, праздник. Вот старик подарки и раздаёт.

– Чья свадьба? – уточнил, на всякий случай, Савик Кричер.

– Твоя, что ли? – пошутил Йоси. – Девчонку эту старик замуж отдаёт, вот чья. Поэтому и не привёл.

– Он мне тоже подарок дал, – мрачно поведал Савик. – Конфету.

– Ну, вот видишь! – сказал Йоси. – Такой у них порядок – конфеты на свадьбе раздавать. Вот он тебя и угостил, на радостях.

Продолжать разговор на эту тему Савик не хотел, поэтому он отошёл от Йоси, миновал Мак с пулемётчиком на спальнике, обогнул палатку и опустился на травку около портативного миномёта, упёртого тыльной частью ствола в опорную тарелку. Он был один в зелёной траве, не считая миномёта; никто бы его здесь не разглядел, кроме птиц, изредка пролетавших над райской ладошкой, и вражеских диверсантов, если б они надумали подняться на гребень горы. Но они туда не поднимались.

Было тихо и знойно кругом. Вот и пришёл конец истории об израильском солдате и бедуинской девчонке. Порывом дикого ветра вымело милую Айлу с райского берега. Ничего, казалось бы, не изменилось от этого в прекрасном мире – но это только казалось: сам мир изменился, хотя бы чуть-чуть.

Горестно об этом раздумывая, Савик машинально скользил взглядом по глади сапфирового моря, отчасти обезображенного торчащей из воды стальной конструкцией нефтяной платформы, словно бы занесённой сюда из другой реальности, а, возможно, и из другого времени. Потом в поле его зрения вторглось нечто, передвигавшееся в воздухе по ломанным прямым. То была бабочка, с расписными узорами на крылышках, невеста откуда здесь взявшаяся. Порхая и примериваясь, она опустилась на чёрную трубу миномёта, сложила праздничные яркие крылья и так осталась.

В конце концов, вся жизнь человека – моя, ваша, Савика Кричера – как ожерелье из бусин, составлена из разноцветных историй. Некоторые из них сохраняются до конца времён, а другие, сорвавшись с нити, закатятся под комод и обрастут там пылью забвения.

Михаил Лидогостер

МОЛЧАЛИВЫЕ ДНИ

Впервые я увидел ее во время службы в армии. Мне, вместе с другим новобранцем, выпал черед нести ночную смену на одной из вышек, расставленных по периметру военной базы. Нам выдали по магазину патронов, рацию и большую флягу с водой. Бутерброды и сигареты мы прихватили сами.

Сержант дал простой инструктаж – всматриваться в ночные барханы и если заметим что-то странное, сразу сообщать об этом дежурному. Винтовки следовало держать в боевой готовности, на связь выходить каждые полчаса, в туалет ходить по очереди. Мы поднялись наверх, бросили вещи на железный пол будки и завели неспешный разговор о том, чем займемся, когда служба закончится.

Я вполуха слушал рассказ Олега и думал об Эстер. В каждом дуновении ветра мне чудилось ее дыхание. Мы расстались перед самым призывом и уже несколько месяцев не общались. От знакомых я узнавал какие-то факты и слухи, и все, что я слышал, не давало мне спокойно спать. Несколько раз я порывался написать примирительное смс, но всегда останавливал себя. У меня даже вошло в привычку писать длинные черновики и на следующий день стирать их.

– Если три года ударно попахать в Эйлате, то наберется нужная сумма, – сказал Олег. – Вернемся с Ленкой в Одессу и запустим сеть маршрутных такси.

– Круто, – ответил я и достал из кармана пачку сигарет.

Меня всегда восхищали люди, у которых есть четкий жизненный план. В отличие от них, я даже не мог представить, что со мной будет через полгода. Я и в армию-то попал случайно.

Нагретая за день будка медленно отдавала тепло. Ночь не принесла с собой желанной прохлады. Даже небольшой ветерок, шумевший в кронах эвкалиптов, не спасал от жары.

Я чиркнул спичкой и прикурил. Дым от сигареты заполнил будку. Чтобы совсем не задохнуться, я приоткрыл окно.

– Закрой, ты что?! – возмутился Олег.

Устав строго предписывал держать бронированные стекла будки закрытыми.

– Думаешь, мы кому-то нужны? – спросил я.

– Конечно!

– Почему тогда снял каску?

Олег улыбнулся:

– Потому что сижу ниже уровня окон.

– Тоже мне лайфхак, – я поделился с ним сигаретой, но окно так и не закрыл.

– Говорят, прошлой ночью кто-то видел трассеры, – сказал Олег и тоже закурил.

– Это что вообще?

– Пули, которые используют для наводки артиллеристских снарядов.

Я недоверчиво поморщился:

– Парни просто боевиков насмотрелись.

Олег хмыкнул и неопределенно пожал плечами.

– Слышал, что на соседней базе недавно чуть не погиб целый отряд? – спросил он.

– Нет.

– Террористы прокопали туннель прямо под баскетбольную площадку и заложили туда взрывчатку. Солдаты всегда играли в одно и то же время, – Олег глубоко затянулся, – Тогда и произошел взрыв. В тот день ребят только чудо спасло. Начался чемпионат мира по футболу. Кто-то пришел и позвал их.

– Не иначе человек-мотылек, – усмехнулся я.

– Это еще кто?

– Американская городская легенда.

Олег скептически улыбнулся.

– Ты вообще, во что-то веришь?

Я почесал в затылке.

– Во что-то, наверное, верю.

Где-то за забором завывали шакалы. Их жалобный вой, словно плач ребенка, разнесся далеко по округе. Показавшийся из-за тучи серп луны озарил будку болезненным бледным светом.

– Я думаю, это было божественное вмешательство, – сказал Олег. – С теми солдатами.

– Ты что, стал религиозным?

– Может быть, – он стряхнул пепел.

– И где твоя кипа? Цицит?

Олег пожал плечами.

– Я не еврей. Мне эти девайсы не нужны.

Мы помолчали. Я подумал о том, что история о чудом спасшихся солдатах наверняка одна из тех баек, которыми офицеры пугают новичков.

– Если это правда, почему же нигде об этом ни слова?

– Иди знай. У ЦАХАЛ свои резоны.

– Не сомневаюсь.

Олег махнул на меня рукой.

– Думай что хочешь.

Внезапно ожившая рация прервала наш разговор. В динамике раздался голос дежурного:

– Как дела, парни? Все ок?

– Порядок, – ответил я, – Только кондиционер барахлит.

Повисла пауза. Я подмигнул Олегу. Тот поднял большой палец вверх и озорно улыбнулся.

– Разве у вас есть кондиционер? – удивился дежурный.

– Конечно. Ты что, новое распоряжение по базе не читал?

– Нет, – смущенно ответил дежурный. – Ладно, я проверю, кого можно послать.

– Давай. Только мигом.

Я затушил окурок и бросил его на землю.

– Он же сейчас всех перебудит, – испугался Олег.

– Ну, не одним же нам не спать!

– Вот тебе экшена не хватает! – Напарник поднялся на ноги. – Че-то мне в туалет приспичило. Пойду, подумаю о великом.

– Давай. Не усни там.

Олег усмехнулся и быстро спустился вниз. Я помахал ему рукой и перевел взгляд на простирающиеся за забором пески.

Сначала я подумал, что это просто тень от куста акации. Но когда она начала двигаться, сердце вмиг забилося чаще. Весь инструктораж про поведение в экстренной ситуации вылетел у меня из головы.

— Кто там? — крикнул я и схватился за ручку прожектора. Его мощный луч осветил иссушенную, одетую в лохмотья старуху. От испуга и неожиданности я не нашел, что сказать.

Старуха подошла ближе, и я увидел, что все ее руки увиты какими-то скрученными веревками и браслетами. В голове метнулась мысль, что, наверное, это какая-то сумасшедшая.

Внезапно умолкли цикады. Я так привык к их стрекотанию, что не сразу понял, что произошло. Вместе с цикадами стихли и все остальные звуки. Было слышно только хриплое дыхание старухи, в котором миллиарды песчинок терлись друг о друга.

По спине сбежала струйка пота. Я глотнул застрявший в горле комок и снял винтовку с предохранителя.

Старуха приблизилась к забору. Ее длинные пальцы, словно змеи, обвились вокруг металлического штакетника. Антрацитовые глаза прожгли меня насквозь. Мне, наконец, удалось разглядеть ее лицо. Я подумал, что, наверное, когда-то давно, она была очень красива.

Какое-то гипнотическое чувство, сродни тому, когда смотришь с высоты в пропасть, овладело мной.

— Что тебе нужно? — крикнул я.

Сейчас я думаю, что слышал ответ, но тогда мне казалось, что ее слова прозвучали только в моей голове.

— *Ты звал меня и вот я явилась.*

В раскрытое окно будки дынуло жаром. Я отпрянул назад и задел стоящую на столике рацию. Она с шумом упала на железный пол.

Когда я вновь взглянул в окно, там уже никого не было. В висках застучало. Дрожащей ладонью я вытер со лба пот.

Старуха исчезла, будто ее и не было. Цикады снова завели свою песню. Все звуки ночи вновь ожили.

— Все нормально? — Олег вернулся через несколько минут с двумя стаканами кофе.

— Все о'кей, — соврал я.

- Что-то на тебе лица нет.
- Просто жара достала.
- Олег поставил кофе на столик у окна.
- Спасибо, – поблагодарил я.
- Сахар только забыл.
- Да и черт ним.

В ветвях высокого кипариса прокричала ночная птица. Легкий ветер донес до меня запах цветущего розмарина.

– Дежурный просил передать, что убьет тебя, как только наша смена закончится, – сказал Олег, – Он и впрямь разбудил Ицхака начет кондиционера.

- До конца смены еще дожить надо.

Я все еще держал ручку прожектора и рассматривал место, где стояла старуха. На мгновение мне показалось, будто я что-то заметил.

– На что ты уставился? – Напарник отхлебнул кофе и тоже посмотрел в окно.

– Подержи-ка секунду, – я отдал Олегу рычаг прожектора и начал быстро спускаться вниз.

- Эй, да что случилось?
- Хочу проверить кое-что.

Я прыгнул на землю и подбежал к забору. На одном из его опорных столбов висела пожелтевшая от времени веревка с вплетенными в нее кожаными шнурками и костяными бусинами. Эта штука напоминала самодельные браслеты хиппи, только была шире и выглядела так, будто пролежала в песке сотни лет.

Повинуясь какому-то внутреннему порыву, я снял браслет с забора и сунул в карман.

- Все в порядке? – крикнул Олег.
- Да.

Несколько секунд я неподвижно всматривался в темноту, а потом развернулся и поднялся обратно в будку. Олег выключил прожектор и вернул его в исходное положение.

- Ну чего там?
- Да ничего, – ответил я, – Просто показалось.

* * *

Эстер откинула со лба непослушную рыжую прядь и, глядя куда-то вдаль, сказала:

– Давно нужно было решиться. Не понимаю, почему мы столько тянули.

Ее короткое летнее платье сидело точно по фигуре. Белый цвет выгодно контрастировал с ровным, оливковым загаром. Наверное, купила специально к встрече, подумал я.

Отстраненное выражение лица Эстер сводило меня с ума. Хотелось сказать ей что-то резкое, чтобы оно, наконец, исчезло. В голове роилось десятки слов, но все они казались глупыми и тяжеловесными.

Мы сидели на скамейке в маленьком сквере на окраине Безр-Шевы. Мимо шли люди. Все со своими радостями и заботами. Каждый из них – от старика до ребенка – казался мне счастливее нас обоих.

– Так ты подпишешь разводное письмо? – спросила она.

– А есть варианты? – ответил я.

Это прозвучало фальшиво. Эстер резко посмотрела на меня. Поняв, что это не протест, а лишь форма ответа, она вновь принялась рассматривать кроны акаций.

– Можешь видаться с Леей, когда захочешь. Я не буду этому мешать.

– Хорошо.

– Будет лучше, если ты сам ей все объяснишь.

– Лучше кому?

Кажется, мне, наконец, удалось пробить брешь в ее защите. Она повела бровью и глубоко вздохнула.

– Знаешь, иногда я жалею, что мы не порвали, когда ты только призвался. Уже тогда я понимала, что у нас ничего не получится. Зачем я только допустила все эти бесконечные камбеки?

– Действительно, зачем?

Я достал сигарету и закурил.

Зеленые глаза Эстер сузились. Теперь она рассматривала меня как какое-то докучливое насекомое.

– То есть ты обвиняешь меня?

– Я никого не обвиняю.

Облачко дыма поднялось вверх и поплыло над скамейкой. Луч солнца, пробившийся сквозь листву, упал мне на лицо. Я зажмурился и улыбнулся ему.

– Тебе кажется это смешным?

– Нет, Эстер, мне не так не кажется.

– Тогда чему ты улыбаешься?

– Это просто солнце.

Эстер недоуменно покачала головой.

– Б-же, и что я в тебе нашла?

Я стряхнул пепел и посмотрел на жену.

– Хотел бы я знать.

Наверное, что-то в моем взгляде заставило ее замолчать. Она поправила прическу и потянулась за сумкой. Меня подмывало спросить – не появился ли у нее кто-то, но я промолчал.

– Ладно, мне пора, – Эстер сунула мне визитку, – Это контакты человека в раббануте. Он все объяснит.

Не глядя на визитку, я положил ее в карман. Эстер поспешно встала и одернула платье. Казалось, она ждет каких-то слов, но, возможно, мне только хотелось так думать.

* * *

В комнате Леи пахло красками. На стенах висели акварели, выполненные ее детской рукой. Несколько недель назад дочери исполнилось девять. Я и не заметил, как она успела овладеть техникой рисунка и научилась передавать свои чувства с помощью кисти.

Главной темой ее работ были пейзажи Беер-Шевы – города, в котором она родилась и выросла. Каменистые склоны древних холмов, небесная лазурь в кронах финиковых пальм, традиционный бедуинский базар, рукотворный лес Ятир, красные крыши частных домов и, конечно, городские кошки. Эти бездомные бродяги мелькали почти на каждом рисунке. Наверное, потому, что, несмотря на бесконечные просьбы Леи, сами мы кошку так и не завели.

Я сидел на краешке детской кровати и пытался отыскать нужные слова. В голубых глазах ребенка притаился испуг. Она чувствовала мое волнение – оно, словно вирус, передалось и ей. Лея сжимала в руках плюшевую овечку – подарок за хорошую учебу – и внимательно наблюдала за каждым моим движением.

– Понимаешь, дорогая, – начал я, – иногда людям нужно побыть одним. Это не значит, что я не люблю маму. Просто мы слишком устали друг от друга.

Лея посмотрела в окно. Мгла опустилась на улицы и затопила простирающуюся за окном пустыню. Изогнутые фонари гирляндой обвили соседние холмы. Где-то вдалеке провыла сирена полицейской машины.

– Я понимаю. Но почему так сложно извиниться друг перед другом, и перестать, наконец, ссориться?

Я вздохнул и пожал плечами.

– Иногда самые простые вещи – самые сложные.

Дочка поджала губы и замолчала. Я погладил ее по голове и поцеловал.

– Мне кажется, вы просто не слышите друг друга, – сказала она. – Или не хотите слышать.

Стрелки часов на стене показывали половину одиннадцатого. Лее давно было пора спать. Обычно уже в десять я дочитывал ей очередную главу из какой-нибудь детской книги и шел в свой кабинет, чтобы доделать работу, которую не успел завершить за день.

– Знаешь, у индейцев есть такая пословица: «чтобы услышать себя, нужны молчаливые дни». Видимо у нас с мамой как раз такой период.

– Может быть, вы еще помиритесь? – с надеждой в голосе спросила Лея.

– Может быть. Но сейчас кому-то пора спать.

Я поднялся с кровати и включил ночник.

– Подожди, – сказала Лея, – Я кое-что нарисовала для тебя.

Не вылезая из-под одеяла, она открыла ящик стола и достала оттуда листок с акварелью.

– На, – дочь протянула мне листок. – Как-то само нарисовалось.

Я принял ее подарок и поднес к лампе. На фоне песчаных барханов стояла древняя старуха в лохмотьях из мешковины. Ее длинные руки были сплошь увешаны браслетами и обтянуты кожаными ремнями.

Конечно, я сразу узнал ее. На секунду мне даже показалось, что в раскрытое окно вновь дхнуло суховеем. Рисунок чуть не выпал у меня из рук. Видимо, я изменился в лице, и это не скрылось от глаз Леи.

– Тебе не нравится? – спросила она.

– Очень красиво, – медленно ответил я, – Но где ты ее видела?

– Нигде, – встрепенулась Лея, и в глазах ребенка я прочитал, что она говорит правду, – Просто выдумала.

– Может, расскажешь мне о ней?

Некоторое время дочь молчала, подбирая слова. Видно, они дались ей нелегко, но все же она заставила себя произнести их:

– Это *дыхание пустыни*, – наконец ответила Лея. – Она приходит только к тем, кто готов говорить с ней.

Я накрыл ребенка одеялом.

– И что же она рассказывает?

– Смотря о чем спрашивать. У нее тысячи историй. Для каждого – своя.

Я посмотрел на приставленный к окну детский письменный стол и подумал о том, сколько времени дочь провела за ним, глядя на раскинувшиеся за окном пески. Лея, будто уловив мои мысли, виновато пожала плечами.

– Уже слишком поздно, малыш, – сказал я, перед тем как закрыть за собой дверь. – Закрывай глаза и засыпай.

* * *

На безлюдной улице было так тихо, что казалось, будто уже далеко полночь. Соседская кошка – неизменная героиня Леиных рисунков – услышала шум моих шагов и спряталась за кустом мимозы. Я спустился вниз по каменным ступеням и свернул за угол. Старый потрепанный рюкзак слегка оттягивал плечо. Пришлось наскоро впихнуть в него самое необходимое, чтобы хотя бы на пару дней хватило чистой одежды.

Воздух, успевший немного остыть за вечер, наполнился ароматами цветов и плодовых деревьев. Из пекарни, расположенной выше по улице, доносился запах корицы. Работа там стихала разве что на шаббат и еврейские праздники. Уже с ночи кондитеры замешивали тесто, чтобы с раннего утра порадовать горожан свежей сдобой.

Я вышел на перекресток, возле которого, в ночной мгле, окутавшей город, уютно светилось окно круглосуточного киоска. Его владелец – седой марокканец с серьгой в ухе – завидев меня, приветственно махнул рукой. По укрепленному под потолком телевизору шел футбольный матч.

– Опять ночная смена? – не отрываясь от экрана, спросил Йоав.

– Похоже на то, – соврал я.

Не спрашивая меня, он положил на прилавок пачку сигарет и назвал цену. Я расплатился и положил сдачу в коробку для цдаки. Йоав пожелал мне приятной смены и начал громко распекать не-
радивого вратаря, пропустившего гол.

Дойдя до остановки, я закурил и принялся ждать автобус. Он подошел минут через пятнадцать. Кроме меня в салоне сидела молодая семейная пара и несколько солдат, возвращавшихся на базу. Их усталые, обветренные лица напомнили бывших сослуживцев.

Я прошел в середину салона и сел у окна. За стеклом проплывал охваченный огнями ночной город – некогда южная окраина владений колена Иегуды. В который раз меня захватила мысль о многовековой истории этого перекрестка торговых дорог из Египта в Ханаан. Я думал о том, что всего лишь каких-то пятьдесят лет назад здесь не было ничего, а сейчас – дома. В окнах горит свет. Там живут люди и строят планы, воспитывают детей, верят в то, что посреди выбеленных солнцем камней и раскаленного песка можно быть счастливыми.

Солдаты сошли на железнодорожном вокзале, а молодая пара вскоре после них. Водитель довез меня до конечной. Здесь, в новом квартале, находилась дешевая гостиница, где я рассчитывал провести ночь. Отыскать ее было не сложно. Навигатор быстро вывел меня к нужной улице.

Хозяин – молодой бедуин в современной одежде посоветовал мне лучший, по его словам, номер – постояльцев все равно было немного – и предложил кофе. Я знал, что отказываться не принято, поэтому согласился. Кофе оказался неожиданно вкусным и очень крепким. Терпкий запах кардамона заставил меня ненадолго отвлечься от тяжелых мыслей.

Поблагодарив хозяина, я прошел в номер. Не знаю, был ли он действительно лучшим – мне на тот момент подошло бы все, что угодно. Кондиционер работал исправно, а из комнаты имелся выход во двор, прямо за которым начиналась пустыня.

Я бросил рюкзак на кровать и достал из него Леин рисунок. Теперь у меня появилось время более детально рассмотреть его.

Первый раз, из-за волнения я не смог этого сделать. Все совпало. Каким-то образом Лея воспроизвела образ старухи, который отложился в моей памяти.

Курить в номерах запрещалось, поэтому пришлось выйти на улицу. Я присел на оставленный на веранде стул и достал сигарету. Молча покрутил ее в пальцах и чиркнул спичкой. Дым приятно обжег горло и я пожалел, что так быстро допил кофе – сейчас он бы пришелся кстати.

Мелодичный стрекот цикад воскресил в моей памяти ту странную ночь на военной базе. Все прошедшие после этого годы я не переставал думать, почему старуха сказала тогда, что я звал ее? Кем она была и чего хотела? Теперь, к этим вопросам добавился еще один – как дочь добилась такого потрясающего сходства? О том, что случилось много лет назад, она знать не могла. Даже Эстер была в неведении.

Я затаился и стряхнул пепел. Впервые за многие годы мне захотелось взглянуть на оставленный старухой амулет. Я вытащил из внутреннего кармана куртки тряпичный сверток и развернул его. Браслет выглядел так, будто я нашел его только вчера – время было не властно над ним.

В памяти сам собой всплыл текст сообщения, которое я писал Эстер той ночью. Повинуясь внезапному порыву, я затушил сигарету и набрал на телефоне слова, которые тогда так и не отправил. Аппарат завибрировал – на дисплее высветился отчет, что сообщение доставлено, но еще не просмотрено. В то мгновение меня охватила уверенность, что сделай я это десять лет назад, все могло бы сложиться иначе.

Легкий порыв ветра растрепал мои волосы. Я глубоко вздохнул и надел браслет на руку. Звуки стихли. Не было слышно ничего, кроме шума пересыпающегося песка.

Она появилась из ниоткуда. Но на сей раз я не испугался.

Инна Шейхатович

ФЛОРЕНТИНСКАЯ ЗВЕЗДА

*Флорентин – это не город и не сказка. Это
необструганная копия любой безумной жизни.*

Кто-то из местных литераторов

Ее балкон нависает над шумной пропастью вечно кипящей улицы. Фрукты из соседней лавки, обрывки жухлых газет, останки коробок, бесконечные горы огрызков, опилок, пластиковых стаканчиков, семечек, капроновых чулок устилают улицу, как цветной подгнивающий наст.

Кошки пьют из луж, раздерганные, изглоданные временем нищие тянут ко всем свои умоляющие руки. В пепельнице на балконе Нины всегда размокшие окурки: когда соседи сверху затевают стирку, ее балкон поливает тропический ливень.

Она вошла в эту комнату, осмотрела этот балкон семнадцать лет назад. Хозяин хихикал, передавая ей ключ: «Так уж, хи-хи, что имеем... Мебели, хи-хи, нет, но и цена, ты сама посуди...» Она хотела сказать, что нормальные люди, люди, похожие на людей, не сдают такие гнилые, разрушенные комнаты, но промолчала. Она почти всегда молчала. «Все равно никого не изменить». Молчала, потому что не верила в перемены к лучшему. В чудеса. В жизнь без неудобств. Когда в родном Николаеве, в белом крошечном домике, в котором она родилась, отец бил маму, она думала: что ж, так оно бывает... И тайком бегала на свидания к Федьке, пожилому милиционеру. Федька пил самогонку, играл на старой разбитой скрипке фальшивые вальсы, обещал жениться. Причем он обещал это всем. Женщинам, старухам, девчонкам. Всему женскому населению гордого города Николаева.

Папа бил маму всегда, без причины —но это продолжалось не очень долго. Мама упала, что-то в ней сломалось, нарушилось. Она стала гаснуть, как лучи вечеряющего неба. Заболела, стонала по ночам. Была бледной и двигалась будто наугад. Отец стал еще злее, кричал, что убьет ее, уродину. Нина тогда случайно познакомилась в баре у вокзала с парнем из Тель-Авива. Нисимом. Он приехал посмотреть на дом, в котором жили когда-то его бабушка и дедушка. Погулять на Украине. Нисима чем-то задела, зацепила Нинина трогательная шея, длинные ноги и хрипловатый, словно подсевший на ледяном ветру голос. Про голос Нина знала, что он эротичный. Про ноги тоже понимала. А вот его отношение к ее шее оказалось для Нины загадкой и подарком. Прежде никто ее шею особо не замечал. Мама умерла. Нисим сделал полумертвой, осипшей от слез Нине предложение. Просто сказал: «поедешь со мной».

В чистеньком и пропахшем безжалостным кофе муниципалитете Нисиму объяснили, что считать его и Нину официально вступившими в брак никто не будет. Не сложится, не заладится. Она не еврейка. «Проблема». «Характер страны...» Нисим тупо твердил: «Плывать я хотел». Нина смущалась, ей казалось, что она виновата в том, что Нисим так нелепо отбивается от нападок тетки в туго натянутой блузке из-за нее, Нины. Что она как-то виновата в этой жаре, в том, что от агрессивного запаха кофе болит голова и давит в груди. В том, что тетка в узкой блузке хамовато пыхтит.

Они пожили немного у Нисимового брата. Пока жена брата не сказала, что стоны из гостевой комнаты мешают детям. И ей.

Потом Нисим нашел работу в Хайфе, снял комнату неподалеку от Бахайского храма. И они перевезли туда свой чемодан и кресло-качалку.

Нина мыла полы в огромном дворце, построенном на деньги от общенациональной лотереи. Там вечерами натужно вздыхали приехавшие подкосить «капусты» российские гастролеры, а днем лениво и некрасиво переругивались руководители кружков. Нисим водил по дорогам большие фуры. Иногда они с Ниной сидели на берегу и пили пиво. Было скучновато, но тепло. И по ночам Нине снилась мама. Ее тонкие руки и всегда плачущие глаза.

Однажды Нина после работы зашла в маленькое кафе. Хотелось примерить расслабленную и притягательную жизнь женщин,

которые, рассеяннo глядя вокруг, пьют маленькими глотками кофе за стеклом своей жизни, своих непонятных дел и неиссякающих денег. К ней подседа девица с синими веками, в липнущем к телу змеином платье. «Новенькая? Я тебя никогда не видела здесь...Давай за встречу». Нина устала и была под большим впечатлением от тяжелой алой дерматиновой папки меню, от звяканья бокалов в баре, от кофе с этой легкой развратной пенкой, напоминающей кружевное белье. Девица сказала, что она Люсиль. И что ей тоже одиноко. Они выпили кофе. Потом поели мороженое с клубничным сиропом. Потом пошли к Нине. Вернее, в ту комнату, которую они с Нисимом снимали. Кресло-качалка покачивалось на ветру, душные сигареты вызывали кашель и мысли о достатке и запретных радостях.

Нина предложила гостье чаю. Та рассмеялась и вынула из сумочки бутылку вина. Нина принесла пыльные бокалы. Открыла коробку конфет, припасенную к Новому году.

Потом были тосты. Конечно – за любовь. И слова. И всплески откровенной женской тоски по объятиям. По свободе. Нина и не заметила, как очутилась в постели. Куда-то упала юбка. И крючки лифчика лопнули под напором проворных пальцев Люсиль. То, что было дальше, она тоже не помнила. Но зато хорошо запомнила, как над ними в какой-то момент взошли озверевшие, страшные глаза Нисима. И звон стекла. И какие-то крики на лестнице.

Потом она уехала в Тель-Авив.

На вопрос, есть ли у нее друг, отвечала: «Я по женщинам...»

Так и было. До какого-то момента. Его, человека с серо-зелеными глазами, она увидела в банке. Он держался просто и спокойно. Рубашка в полоску, джинсы, обычный парень, ничего особенного. Но Нина почему-то сразу представила, как обнимает эти плечи. Вроде и причин не было, и поводов. А ее глаза сразу позвали его. И он откликнулся.

Он ее рисовал. И фотографировал. Она странно-уютно чувствовала себя рядом с ним. Просила звонить(она не могла позвонить, сказать «приходи», позвать на обед – он был женат, и говорил, что любит жену). Их разговоры напоминали аналитические программы радио: говорил один человек. Он. Она как-то спросила: «Зачем я тебе?» Он улыбнулся: «Приятно тебя видеть. Приятно с тобой полежать». Она не стала больше спрашивать. К

чему? Все и так было понятно. Когда она поняла, что беременна, она сказала ему: «Знаешь, ты мне надоел... То приходишь, то нет. Подарков – ноль. Вечно со своей женой носишься, как с фамильным сервизом «Мадонна». Уходи, все, хватит!»

...Он ушел. Легкой походкой мальчика-эгоиста. Так уходят злые сыновья. Сбежал по крошащимся ступеням темного подъезда, который зимой пахнет мокрой штукатуркой и мочой, а летом только мочой. И в котором всегда валяются сломанные зонтики, похожие на мертвых летучих мышей. Кот крикнул не по-котиному. Нина села в продавленное бордовое кресло и закурила. В ушах все еще стоял его голос: «Помрешь одна... ни дозы, ни водки не дадут... даже тряпки твои никому не сгодятся... ты нафиг не нужна...»

Телефонный шнур прилег у ног, как змейка. Она взяла трубку, но номер набирать не стала. Она смотрела в угол, в голую стену, чем-то напоминавшую зимний туман. Или застиранную наволочку.

Он ушел. Навсегда? До следующего года? Слезы начали щипать глаза. Она сползла на пол – и затряслась от рыданий. Семнадцать лет назад она держала его на руках. Крошку-сына с серо-зелеными глазами. Не знала, куда пойдет с ребенком после больницы. Кто ее утешит и согреет. Докторша тогда сказала: «Ребенок слабый... Муж работает?» – «Какой муж?» – рассеянно проговорила она. – «Обычный. Твой. Какие они бывают... Если не муж – значит, не твой... Жить на что будешь?» Она молча пошла к выходу. Туда, где из синего купола неба розовыми штрихами облаков падали на покалеченные временем дома Южного Тель-Авива, на квартал нищих и поэтов Флорентин горсти юных розоватых рубинов. И звезды уже стояли в очереди перед закрытым занавесом, чтобы выскользнуть на сцену – и начать свой искрящийся балет в пустом и ко всему безразличном небе.

А где-то в мире качались надувные шарiki. И кто-то в темноте шептал кому-то: «Только не уходи... нет, любимый, побудь еще немного...»

Афанасий Мамедов

ПАРОХОД БАБЕЛОН

Главы из романа

Памяти родителей

*Знаков наших не увидели мы, нет больше
пророка, и не с нами знающий – доколе?*

Теилим, 74:9

Глава первая

Мара

А ветер – как Мара обещала: «Нарвешься на Хазара – берегись!»

Ладно, облака рвутся в клочья, – к тому привыкшие, но птицы, как они его выдерживают?! Вон тех голубей, что по небу раскидало, кто выпустил? Дикие что ли? Как Хазар не подбил их до сих пор в полете?

Белое солнце с колониальным шиком заливало белый Губернаторский дворец. (Бывший, разумеется, Губернаторский.) Запыленные деревья трепетали и кланялись низко, нигде так не напоминая людей, как здесь – в Баку.

Люди, облепляемые порывами ветра до последнего кусочка одежды, то вверх неслись, то вниз, то, едва поспевая за собственными ногами, будто поднимались над землей, замирали на миг, что те, готовые умереть в небе голуби, и опускались мимо тротуара, едва не попадая под колеса авто и фээтонов, которые всяко их и ржанием, и клаксонами, и свирепыми мстительными голосами.

А одна женщина в чадре, перешагнув угол дома, вдруг встала на-мертво, точно перед стеной. Ветер треплет, раздувает ее чадру. Вот-вот и сорвет. Пока Хазар-ветер не помял женщину хорошенько спереди и сзади, не разрешил ей идти. И только отпустил несчастную, как вырвал из общего числа несущихся, остановившихся и летящих никому неизвестного человека. Не на шутку схватился с ним. Расшатав выдавший виды чемодан в его руке, вскинул футляр с печатной машинкой, а после подбросил и самого. Затем аккуратно поставил на ноги, как выздоравливающего, и тут же разогнал на нежных хазарских рессорах до самого Губернаторского парка. Того гляди сорвет с головы парик. Несись потом по волнам горячего воздуха, стелющегося над асфальтом, преодолевая кильватерную и боковую качку, то ли за париком, то ли за Хазаром.

Мара, конечно, рассказывала ему о беспощадном, выжигающем все вокруг солнце, о бешеных ветрах, в особенности на углах и пересечениях, но одно дело, когда тебя предупреждает бывшая гражданская жена – нынешняя гражданская война – и другое, когда ты уже в раскаленной воющей трубами страшного суда печи.

Но стоило неизвестному пройти долгим темным парком насквозь и оказаться за древней стеной во Внутреннем городе, который Мара называла по-здешнему – Ичери-Шехер, как сразу куда-то подевались и ветер, и жара, и адский гул в ушах.

Тихие и узкие улицы напоминали запутанный лабиринт. Было бы проще в этих «крепостных» краях найти Минотавра, нежели затерявшуюся Замковую площадь. Проще было бы спросить о ее местонахождении какого-нибудь доблестного кота или чей-то голос за камнем, или подранный чарыг, прикорнувший у стоптанного порога. Было бы проще, если бы он не чувствовал себя замурованным в узеньких улочках.

Изрядно поплутав, не без того, конечно, неизвестный вышел на Замковую площадь, которая никакой площадью не была, но лишь пятачком в виде замка со старой чинарой в центре. Нашел он вскоре и дом, в котором Мара через бакинскую подругу «в кратчайшие сроки зарезервировала» для него «роскошную» комнату: «Танцпол с двумя окнами и балконом на море. И не говори, что я о тебе не забочусь...»

«Конечно, заботишься, я ведь не забыл, как ты сказала, когда уходила, что не хочешь раскаиваться, а поэтому не сделаешь ничего такого, после чего нельзя было бы вернуться».

Человек поставил чемодан на черную брусчатку. Огляделся. Легонько надавил на обшарпанную узенькую, под стать улице, дверь, за которой оказался маленький пыльный дворик, полный чужих секретов и незнакомых запахов.

Десять шагов в одну сторону, десять в другую – расстрельная дистанция. Горбатые, кое-где вздыбленные плиты под ногами. Почерневшая тандырная печь. Небезопасная деревянная лестница, на которой обменивались снами разномастные кошки, готовые расстаться с жизнью, в том случае, если кто-то их потревожит, вела ко входу в галерею, тянувшуюся по всему периметру двора.

Латунный кран, из которого набегала вода в лохань для стирки, напомнил ему о жажде; галереи с маленькими тусклыми оконцами – посоветовали быть крайне осторожным: мир прозрачен, утаить что-либо невозможно, а бельевые веревки, провисшие под тяжестью сырых пододеяльников, намекнули, что судеб легких не бывает в принципе.

Все в этом дворике, включая запахи смолы, керосина и кошек, графин с долькой глубоководного лимона, ожерелье из бельевых прищепок на гвозде, вбитом в один из растрескавшихся столбов, подпирающих галерею, говорило о том Востоке, который ничего не слышал о Западе.

Сухая маленькая старуха, сидя на низеньком табурете с широко расставленными костлявыми ногами, сбивала шерсть палкой-тростью. И, кажется, делала она это давно. Несколько веков точно.

– Ты кто? – обратилась она к человеку с чемоданом и печатной машинкой в руках.

Он хотел сказать ей: «Салам», как учила его Мара, но вместо того лишь кивнул головой и поправил парик.

Старуха посмотрела на него тем удивленным взглядом, каким ночная улица разгладывает единственного пешехода.

Он удовлетворил ее любопытство отчасти: за сотни прожитых лет старуха так и не выучилась говорить по-русски. Тем не менее, что-то из того, что он ей сказал, она поняла, иначе не позвала бы хозяина. (А может, в роли толмача выступил его чемодан с наклеями, сорвать которые, в целях безопасности, неизвестному так и не удалось или печатная машинка в черном футляре с полустертой надписью золотом – «Karpell».)

– Керим, Керим, ай, Керим!.. – старуха, отложив в сторону трость, уставилась в открытое окно на втором этаже.

В ответ – поскрипывающая и потрескивающая тишина.

Керим не особо спешил.

Взгляд из-под кепки такой, будто только что боролся с домашней бухгалтерией. Глаза непроницаемые с какими-то красноватыми отблесками.

– Афанасий? От Мары? – Вышел на веранду. – Ай, дорогой, поднимайся сюда, да. Зачем стоишь, э? Давай, давай, давно тебя ждали. Наверное, свою дорогу с чужой спутал. – И тут же тебе – и дерг, и хлоп, и спешный босой шаг навстречу – все Керим сделал, чтобы показать, какой чести удостоен и радости преисполнен.

А старуха:

– Афанасий-Мафанасий, – затащила вновь прибывшего в свое дремучее, пожелтевшее от хны и табака царство, пригубила провалившимся ртом остатки чая из стакана грушевидной формы и давай от всей своей легковесной души колотить по шерсти, прошивая грубо воздух – «фшью-фшью-фшью»...

Он поднялся по той самой скрипучей лестнице, облюбованной кошками, стараясь не задеть ни одну из них, сначала на второй этаж – один, а на третий – уже с Керимом.

Керим достал черный ключ из кармана широченных, не знакомых с уютгом брюк, вставил его в узкую дверь, провернул дважды, но открывать дверь не стал, предоставив это право квартиранту.

А тот, прежде чем толкнуть дверь, сказал еле слышно:

– По воле тех, кто правит миром.

Керим бормотания Афанасия принял на свой счет, заметил осторожно:

– Только туалет внизу будет, ага, а ванна, который у вас в Москве душ называется, у меня во втором этаже стоит, – и задумчиво почесал череп через кепку длинным отполированным ногтем, украшавшим мизинец.

Обсудив сроки оплаты жилья и немаловажный вопрос столования, человек в парике закрыл за Керимом дверь. И только щелкнул с заминкой замок, как Афанасию сразу же захотелось сделать какое-то дикое африканское движение, с помощью которого он мог бы отсечь то, что тяготило его последнее время.

Афанасий дал Кериму возможность хорошенько изучить себя через замочную скважину, после чего, улыбнувшись, подошел к столу, процитировал любимого негритянского поэта: «И когда пыль

сядет на все вещи в моей комнате и мне надоест ее сметать, я разорву сердце как бомбу и куплю на вокзале билет», – после чего, точно шаман перед племенем, одним движением рванул со стола скатерть.

– Вах!.. – послышалось за дверью.

Кроме настенного календаря на скатерти не лежало ничего. Подняв упавший на пол календарь, Афанасий подумал, что на столе тот, вероятно, оказался не случайно. О восточной хитрости Мара тоже предупреждала его.

«Наверняка Керим положил календарь специально, – подумал он, – чтобы я запомнил, когда въехал и впредь не забывал о сроках оплаты».

Афанасий оторвал календарный листок, скомкал, подошел к двери и забил замочную скважину одним жарким и ветреным майским днем 1936 года.

– Чтобы не подглядывал! – бросил через дверь.

Косозубый Керим оказался не без юмора: удаляясь от ослепшей двери в легкую припрыжку, запел тенорком, прищелкивая в ритм пальцами: «На одном ветку попугаю сидит, на другом ветку ему маму сидит. Она ему лубит, она ему мат, она ему хочет не-много обнимат!»

У разжившегося деньгами Керима настроение было явно приподнятым. Чего нельзя было сказать о новом жильце.

Афанасий толком даже не рассмотрел комнату. Со словами: «талантливый народец, с таким за полгода национальный кинематограф можно поднять», подошел к шифоньеру. Разглядывая в зеркале отросшую щетину, подумал: «Теперь я точно один. – Оголил лоб, сдвинув парик на затылок. – Ну, здравствуй, Фаник, он же Войцех! В этих ветреных и жарких краях ты еще не бывал. Воткни, дружище, флажок в карту, порадуйся случаю».

На вид, нуждающемуся в парике Афанасию можно было дать не больше тридцати-тридцати двух лет. По крайней мере, зеркало против такого предположения не возражало. Однако дальше заупрямилось и больше того, что Афанасий – человек рискованный, рассказать не пожелало. Но это и так было понятно, как и то, почему именно такие – «рисковые люди», исчезают сейчас в первую очередь. В особенности те из них, кто имел за плечами армейское или эмигрантское прошлое, или – и то и другое.

Он достал свой «Karrell» из футляра, бережно поставил машинку на стол. Снял широкоплечий и сутуловатый пиджак, который сегодня в этом городе оказался полезен разве что своими вместительными карманами, аккуратно повесил на спинку стула и довольный вышел на балкон.

Если бы не минарет рядом, который с криком облетали чайки, если бы не низенькие дома с плоскими черными крышами, прижатые вплотную друг к другу (“так вот, оказывается, почему ветер здесь не гуляет”), море вдаль в солнечных бляшках и главное – почерневшая от времени Девичья башня с зиккуратским цилиндром сбоку, если бы не весь этот Восток, воскликнул бы в душе: «Аркадия, просто Аркадия!..»

О, как вдруг захотелось курить. А еще – выпить кофе. Маслянистого турецкого. Ну хорошо, если кофе нет, – бурого чая, такого же, как у той старухи. Чая с рахат-лукумом вприкуску или с сухим инжиром, или с изюмом. Какой он пил в Стамбуле неподалеку от рынка, от набережной, перед тем, как отправиться на Принцевы острова. Но сначала – курить!

Афанасий вернулся в комнату, достал из бокового кармана пиджака кожаный портсигар. Вытащил папиросу, продул ее, закурил, и, прихватив с собою вместительную пепельницу, которую его дядя, большой партийный деятель и мастер стряхивать пепел куда попало, непременно назвал бы «шлимазальницей», снова вышел на балкон.

Самыми устойчивыми зданиями отсюда казались мечети. Минареты отличались от стамбульских. В Стамбуле они были похожи на стрелы, нацеленные в небо, а здесь – на маяки. Здесь – бухта серповидная, а там ровно тянулась до Принцевых островов. Море у турок темно-синее с благородным перекатом волн, а у азербайджанцев – какое-то языческое, нечесаное, словно шерсть волкодава, в которой запутались серые суденышки и военные корабли. Только кошки были такие же, как в Стамбуле – непоколебимые в своей кошачьей правоте и объединенные в многочисленные партии.

Похоже, Баку такой же город кошек, как и Стамбул. Что ж, оно и правильно, никто так, как кошки, не дает тебе понять, что глупо думать, будто ты изобретаешь время и места встреч. Ты еще ждешь аплодисментов за очередное свое прозрение, а кошка уже популярно объясняет тебе, что с тобой случилось то, что случается со всеми во все времена.

«Почему я не видел ни в одном городе ни одной восторженной кошки? Наверное, потому, что им не присущ людской идиотизм».

Больше двух суток в поезде отдавали нестерпимой болью в животе. Когда он подолгу сидел или лежал, можно было сосчитать все его старые раны.

Как нежно «ходила» Мара двумя своими человеко-пальчиками по его шрамам в самом начале их романа: «Один Фаник, два Фаника, три Афаника...», и вот он уже ловил себя на том, что засыпает. Он всегда считал, что мужчина в постели с женщиной должен заслужить право на сон. Что женщина должна уснуть первой и проснуться второй. Но с Маргаритой все было иначе – граница между сном и явью оставалась неуловимой даже тогда, когда она ночевала вне дома.

«Как там она писала: “Я намерена говорить с тобой так, как пристало говорить с мужчиной и с человеком, с которым я прожила пять лет. Тема нашего разговора настолько серьезна, что припудривать и присахаривать его я сочла бы ханжеством и трусостью, унизившей бы и тебя, и меня”».

Вот в этой чеканке слов уже вся Маргарита Александровна... Господи, Мара, Мара, как же с тобой тяжело, а без тебя еще тяжелей».

– Керим! – крикнул он вниз, ловя себя на том, что уже обращается к нему, как к ординарцу.

– Керим! Керим! Ай, Керим! – отозвалась эхом старуха.

– Ага, что надо тебе? – высунулся снизу Керим, из того самого окна, в котором мелькнул при первой встрече, когда ага Афанасий подумал, что Керим растворился в вечности.

– А чаю можешь мне?

– Почему нет.

– Почему, не знаю. – Афанасий уловил из окна стелющийся сладковатый запах шмали: «Вот же, каналья, местный». – С изюмом можешь?

– Почему нет.

«Заладил, бестия. Вечно мне везет на шальных людей».

Когда Керим принес небольшой чайник и грушевидный формы стаканчик на щербатом блюде, Афанасий Ефимович, дабы как-то поддержать разговор, спросил его:

– Что есть, Керим, в вашем городе интересное посмотреть?

– В нашем городе все есть интересное посмотреть. – Сдвинул кепку на затылок, обнажил морщинистый лоб не особо мудрого, но прошедшего сквозь века ящера.

– Ну надо же.

– Да-а-а, – красные глаза Керима ненадолго распахнулись, когда он развел худющими, в седых колечках волос, руками. – Надо-надо... Смотришь много, видишь много... Женщин видишь – не подходи.

– Почему же?

– Женщин всегда чья-то есть. Мужа есть, отца есть, брата есть... – Потянулся так, точно стоял на четырех лапах.

– Ну надо же. А что там за остров вдалеке?

– Остров? – Керим состроил такую гримасу, будто ему нужно было немедленно пересчитать волны Каспия.

– Да, остров.

– Остров, да...

– И что?

– На этот остров, ага, лучше не смотри.

– К женщинам не подходи, на остров – не смотри.

– В нашем городе на этот остров никто не смотрит.

– Как же на него не смотреть, если он прямо посреди бухты?

Так вот, значит, как бледнеют обкуренные лукавцы в затрапезных голубых майках на вырост.

– Ниже смотришь – море будет, выше смотришь – небо будет. Мало тебе, ага? Дела у меня. Пойду я, хорошо?

– Сначала вынеси столик на балкон, буду пить чай и смотреть на остров.

Керим неодобрительно качнул маленькой головой в большой кепке, посмотрел на Афанасия так, будто тот соизволил вызвать на дом палача с топором, – но столик все-таки перенес.

Солнце встряхивало лучами, стреляло вспышками из-за покачивающейся старой чинары, скрывавшей от него полукруг бульварной ленты. Клубы пыли носились на разной высоте по огромному плотно застроенному пространству.

Когда он сделал глоток чаю, ему показалось, что и чай такой же пыльный, как и весь этот город. Весь этот Баку, сидевший в нем занозой все то время, что он был влюблен в Маргариту.

Казалось, единственным, на что не оседала пыль, было море и то где-то там, где-то вдалеке, на подходе к острову.

«Значит, это и есть тот самый остров Наргин, про который Мара говорила: “Сколько людей там полегло и сколько еще ляжет”. Выходит, Чопур и сюда добрался. Хотя, чего ему было до Баку добираться. Он отсюда свою одиссею и начинал. Это первый захваченный им город. Здесь, на Волчьих воротах и в Баиловской тюрьме, на конспиративных квартирах и в типографии “Нина”, Чопур вынес для себя главный урок: человечество – пустое слово, баранина в уксусе с колечками лука, ему нужно только то, что соберет человечество в стадо – далекая и неисполнимая пастбищная греза, собаки и хозяин собак. А от тех, кто не поверит в сочиненную зеленую траву, растущую где-то там – на чужих холмах, не пожелает становиться сочной бараниной, следует избавляться – расстреливать на островах, их много, островов на всех хватит, кто свое «нет» посмеет сказать, а если вдруг не будет хватать, можно искусственные острова создать в тайге, например, или в пустыне, все равно из чувства страха большинство предпочтет про эти острова не знать. Да что там – острова, можно забить неговорчивыми все московские тюрьмы, люди все равно будут ехать в трамваях и отворачиваться от той же “Бутырки” или “Таганки”, загораживаться газетами “Министерства Правды”».

Но он, если ему хочется смотреть на тоненькую синюю полосу земли, за которой открывается настоящее море, будет смотреть. И греза у него своя, не Чопуром составленная, а большими городами, в которых никто не сбивает людей в стада, принимая их за баранов.

Афанасий спросил себя, мог ли он оказаться в родном городе Маргариты раньше Вены, Туниса, Ниццы, Парижа, Стамбула. Подумав, решил, что нет. Он должен был пройти через то, что прошел, побывать, где побывал.

А побывал Афанасий во многих странах и городах, до того, как дядя Натан через Соломона Новогрудского помог ему вернуться в СССР.

Переход советско-польской границы, неподалеку от места, которому он был обязан поворотом в своей судьбе, стал концом одной эры и началом другой. Сколько раз спрашивал он себя впоследствии, зачем вернулся и всегда отвечал по-разному.

Наиболее правдивым ему самому казался тот ответ, что сильнее прочих подталкивал в спину: «Мы никому там не нужны».

«А здесь, кому ты нужен здесь, Фанька, черт лохматый тебя подери? Чопуровской расстрельной команде?»

Интересно, что глядя на этот остров, у него не возникало никакого желания вести счет бесчисленным преступлениям Чопура, чтобы когда-нибудь вместе со всей страной предъявить их ему, после чего отправить за пределы здешнего мира в черную межзвездную пустошь Вечности. Нет, сейчас у него не было никакого желания мстить. Почему-то сегодня ему было легче отказаться от самого себя, как это делали многие, перед тем, как их заглывали Чопур. Но вскоре, после второй папиросы и второго стакана крепчайшего чаю с чабрецом, он счел это свое душевное состояние временным, вызванным отчасти болью старых ран, отчасти тем, что ему, бежавшему из Москвы, после того, как взяли дядю Натана, разумнее было бы не думать о Чопуре, вообще не думать о том, что происходило сейчас в стране. Пока не думать. По крайней мере, в Баку, в городе, который он выбрал для своего временного исчезновения.

О чем разумнее было бы думать? Возможно, о том, что для души иногда полезнее то, что ближе сердцу. Но стоило ему вспомнить о Маре, как в памяти снова всплыло ее письмо. Одно из последних в их столичной переписке, с помощью которой они водили за нос чопуровских ищеек. Иногда в них попадалось что-то очень личное и трогательное. Понятное лишь им самим.

Маргарита писала, что не умывается уже пятый день – «нельзя же назвать умыванием помазок по лицу и рукам», – что раковина коммунальная, в коммунальном проходе перед коммунальной уборной, – «раздеться и думать нечего», – а в комнате нельзя, так как все вещи уложены, и нельзя возиться с тяжестями – доставать таз. Да и вообще это нельзя. Нельзя, нельзя, нельзя... «Мой чемодан у тебя, а там мое белье. Надо поехать к тебе на Новослободскую и перевезти его сюда. Но перевезти – это значит молчаливо вселиться к людям, которые из деликатности не будут протестовать».

И что он мог на все это ответить, что она по-прежнему неправимо близкий ему человек, что Баку большой город и люди здесь не ходят на вокзал, чтобы погулять, как это делают в провинциальных городах?

«...Так она это и сама знает, не хуже меня, как и то, что “мухи выются у окна потому, что им улететь хочется”».

«Регент» пробил час. Пора было принимать ванну, «которая в Москве душ называется». Ровно в три я должен явиться на «Азерфильм». Мара уверяла, что отсюда до кинофабрики чуть более получаса пешком, если, конечно, правильно выйти из Крепости. Но у Мары всегда были такие сложные взаимоотношения со временем — сколько ее знаю, столько она опаздывает на эти самые полчаса. Когда мы жили вместе, я даже пробовал переводить стрелки домашних часов на двадцать-тридцать минут вперед, все напрасно.

Я думал, надо выйти с запасом, все-таки меня будет ждать женщина, а ждать пришлось мне. Я то и дело доставал из кармана часы, а когда понял, что Фатима, по всей вероятности, уже не придет, отправился на встречу сам.

Теперь вся надежда оставалась исключительно на рекомендательное письмо. Но насколько верный тон был взят Марой для этого письма? Не вскрывать же запечатанное письмо. И потом, вскрой я его, что с того изменится?

Самое интересное, что на «Азерфильм» я проник без каких-либо долгих объяснений. Просто прошел вертушку, назвал свою фамилию вахтеру, сказал, что меня ждут. Кто? Семен Израилевич. Теперь уже назвал фамилию Израфила. Вахтер даже не справился по служебному телефону, чтобы проверить, так ли это на самом деле. А еще говорят, что в этой стране кинематограф охраняется почище, чем секретные заводы и шлюзы.

Павильон я тоже нашел сравнительно быстро. А вот перед самым кабинетом заместителя директора застрял, посидел, наверное, с четверть часа, перед тем, как строгая секретарша в такой зауженной юбке, что лучше бы ей не поворачиваться ко мне спиной, не показывать ложбинку между упругих ягодиц, запустила меня к Семену Израилевичу, которого Мара называла по стародавнему прозвищу — Израфилом.

Когда я зашел в кабинет, Семен Израилевич поливал цветы на подоконнике. Делал он это довольно-таки странным способом, а именно: окунал тряпочку в миску, после чего аккуратно выжимал ее над цветами.

«Неужели все это время я ждал, когда Израфил прольется дождями над своими джунглями?» — подумал я, поздоровавшись.

Семен Израилевич удивил меня еще и тем, что был точной копией Луначарского, такая же большая голова, такой же лоб с залысинами, пенсне на носу, борода клинышком. По-видимому, их выпиливали и вытачивали в одной партийной мастерской.

– Присаживайтесь, – разрешил мне Израфил, предварительно романтично попрощавшись с расцветшей фиалкой и вытерев обе руки о другую – на сей раз уже сухую тряпочку. – Слушаю вас, товарищ Милькин.

– Я от Мары, – сказал я.

– Так... – он опустил засученные рукава белой рубашки и застегнул манжеты, – Еще раз...

– Я от Маргариты Александровны Барской, – повторил я.

– Барской?! – пробасил Луначарский и надолго задумался.

– Ничего такого, – попробовал пошутить я, – просто еврейская фамилия. С евреями такое случается, настоящая фамилия Семена Израилевича была ничем не лучше Барской, и располагала к шуткам подобного свойства.

– С евреями и не такое случается, – Семен Израилевич хитро улыбнулся.

– Мы с Фатимой Таировой, которую вы наверняка тоже знаете, собирались к вам, но она почему-то не пришла.

Как только я это сказал, мне показалось, что плечи Семена Израилевича в тот же момент слегка обмякли и просели. Он глянул сначала на дверь, за которой находилась крутобедрая секретарша, потом с тоской на коробку «Явы», лежавшую поверх стопки с папками. Потянулся к ней как-то очень по-патрициански, будто древнеримская аристократия предпочитала курить папиросы «Ява» и никакие другие.

– В этом городе все так быстро меняется, – торопливо нарисовал мне петлю спичкой. (До меня мгновенно долетел запах серы.)

– Еще бы знать, в какую сторону, – протянул Семену Израилевичу письмо.

– С тех пор, как Хавка надкусила райское яблоко, и спрашивать нечего – вопрос риторический.

Израфил вскрыл письмо бронзовым канцелярским ножом, с навершием в виде какой-то египетской богини, поднявшей руки тыльной стороной ладоней вверх, перекатил папиросу в угол влажного рта и еще раз внимательно посмотрел на дверь.

Ему нужна была эта пауза.

Прочтению письма также предшествовала прелюдия из трех осторожных взглядов на мой парик.

К взглядам подобного рода я давно привык. В таких случаях мне всегда хочется сказать: да, это парик, с тех пор, как я перешел польскую границу, я не имею возможности жить без волос.

Читал Семен Израилевич, то хмуря, то расправляя брови имени Луначарского. Как-то даже раз вышло у него лучисто улыбнуться. Угадывалось в тот момент: «Ах, Мара, Мара!..» Но в основном Израфил часто затягивался папиросой, которую держал глубоко меж изуродованных подагрой пальцев, от чего выходило у него при за-тяжке закрывать ладонью нижнюю часть лица.

Пока Израфил читал, я посматривал на портреты Чопура и Мир Джафара Багирова, которых разделял сейчас восходивший к потолку фиолетовый фимиам. Казалось, оба партийных деятеля уже знают, что я в Баку. Знают, когда приехал, где остановился, да что там, знают даже, что я сижу сейчас у Семена Израилевича Соловейчика в кабинете.

– Как же, помню, помню я вашу Мару. – Оживился неожиданно Семен Израилевич, сложил письмо и положил его поверх конверта. Он решил, определил для себя, до какой степени может быть со мною откровенным. – Девицей еще помню. В беретике таком беленьком со стручком наверху. В белой блузке с синим галстуком. Всегда наша Барская против ветра шла. – Говорил он так же быстро, как Луначарский. – Еще «Кино» за прошлый год читаю, ба... А нашей Марочке Горький с Роменом Роланом, можно сказать, в любви объясняются. Да еще как! В очереди кого! Пудовкин, Довженко, Шуб... А вы, простите, кем Маре будете? – Хитро голову склонил. И я понял, насколько это важно для Израфила.

– Я полагал, в письме о том написано, – бросил я наудачу.

– Ах, да... – Он посмотрел в сторону зарослей на подоконнике, сфокусировал взгляд на любимице фиалке. – Верно. Простите, годы. К тому же в этом городе, знаете ли, ветра так быстро меняются и так быстро все меняют. – Снова посмотрел на обитую дерматином дверь. – Сейчас Гилавар дует, а через полчаса – накрывает Хазарский.

– Я в Баку впервые.

– Бросьте, товарищ Милькин, – и стекла пенсне киночиновника озарило Северное сияние. Через стол повеяло запахом хвой, вдалеке послышались стук топоров и падение деревьев. – Вы ведь знаете, что я сейчас не о том с вами.

Я сглотнул слюну. Горькую-горькую, не известно от избытка чего именно такую горькую. Хотя, почему не известно? В любом случае, если Израфил не раскроется, можно возвращаться в Москву.

Я взглянул на прищурившегося Чопура, и тот показался мне в этот момент каким-то очень кавказским, каким-то чрезмерно шашлычным, совершенно не похожим на того Чопура, портретами которого была облеплена вся Москва.

Выдержав начальственную паузу, Израфил решительно нарисовал в пепельнице круг папирсой, после чего так же решительно ввинтил ее в центр круга – он все решил для себя. И это было понятно.

– Будет вам с кем «поднимать национальный кинематограф». Есть тут у нас на прицеле один юный товарищ с тремя классами образования и соответствующими партийными убеждениями, сверху пришло указание в кратчайшие сроки сделать из него Шекспира.

– Да, это сейчас модно, – я хотел показаться ему в тот момент предельно небрежным. – Надеюсь, все же бригадным методом?

– Ну, разумеется. Будете писать за него сценарии в компании замечательных людей.

– А нельзя ли в Шекспира обратить какую-нибудь юницу, сбросившую чадру?

– Товарищ Милькин, – напускная строгость во взгляде, – вы не совсем хорошо представляете себе, куда приехали. Тут вам не Москва. – «Гм-гм...» в кулак. – Да, кстати, а что вы делаете для своего могильного камня, так сказать?

– Для своего могильного камня я недавно окончил пьесу в девяти картинах, опубликована в издательстве «Художественная литература», право первой постановки в Москве принадлежит театру ВЦСПС. Сейчас пишу роман.

Израфил оживился.

– Будет чем украсить камень. Давайте поступим так. Сегодня у нас, кажется, пятница.

Ему очень хотелось, чтобы я подтвердил день недели, что я и не преминул сделать.

– В понедельник, а лучше – во вторник, жду вас в это же время. И учтите, в нашем городе...

– Я учту.

– Сделайте одолжение, голубчик. Марочке приветы, если будете телеграфировать. Рад, что не забыла старика.

Он вышел из-за стола, проводил меня до самой двери и сам же ее открыл. Едва он это сделал, как сразу же раздался пулеметный стук печатной машинки.

– Вы, товарищ Милькин, у нас человек партийный? – громко спросил практически на пороге, – Ну вот и замечательно. В высшей степени замечательно. Красный командир в прошлом – это прекрасно, товарищ Милькин. Это прекрасно.

Посидев в азерфильмовской курилке вместе с Генрихом IV, сосредоточившимся на чем-то своем – шекспировском, я решил действовать решительно: домой к Фатиме не ходить, хотя Мара и снабдила меня ее адресом, а отправиться сразу в театр.

Отсюда до Бакинского рабочего театра, как уверяла меня Мара, тоже будет не больше получаса ходьбы: «Если вдруг заплутаешь, спроси, как пройти к Молоканскому саду или к дому Высоцкого».

Их первая встреча с Марой произошла шесть лет назад в мастерской Александра Гринберга. На вечеринку Афанасия зазвал Уткин. Опоздав на полчаса, Уткин явился с двумя довольно экстравагантными поклонницами, одна из которых, бывшая жена большого чекиста, по дороге положила свой оловянный глаз на Афанасия. Тяжелые шубы дамы носили так, будто под ними ничего не было. «Эх, кабы не Гринберг, такое бы звуковое кино отсняли!» – улучив момент, мечтательно бросил в сторону сугроба Иосиф. Афанасий предложил не ходить к Гринбергу, в ответ Иосиф начал декламировать из самого себя: «Потолчем водицу в ступе, Надоест, глядишь, толочь – Потеснимся и уступим Молодым скамью и ночь». Дамы тут же вскинулись, начали просить, чтобы Иосиф прочел хотя бы кусочек из чего-нибудь своего. Вот у того столба или у той самой скамейки, которую он только что хотел уступить. Уткина долго упрашивать не надо было, через мгновение он уже стоял на скамейке: «Много дорог, много, Столько же, сколько глаз! И от нас До бога, Как от бога До нас».

Когда компания после «Мотеле» завалилась с морозу к Гринбергу, там уже гуляли Файт с Кравченко, Тиссе, Поташинский, Александров, наконец-таки обретший во Франции давно чаемый экранный голос. Пили законную ледяную водку и привезенный Александровым из Франции бархатный лабердоливский арманьяк.

Бренди был на редкость деликатный, десятилетней давности, и как-то само собою вышло, что начали вспоминать лихие двадцатые годы, когда об арманьяке и мечтать-то никто не смел. Гринберг вспомнил эпидемию тифа, одесские времена и Чардынина. Маргарита высказалась в том духе, что, мол, чудесный человек Чардынин, вне всякого сомнения, старый могикан, умевший направлять жар с влажных простыней «в наружу жизни». Только, когда заговорили о фотографиях Гринберга одесской поры, Афанасий понял, что Маргарита была женой Петра Чардынина. Хозяин достал несколько фотографических работ двадцатых годов. Все немедленно принялись восхищаться гринберговскими моделями, и, конечно же, Маргаритой. Маргаритой на фотографиях и Маргаритой с бокалом арманьяка в руке. Кто-то – Афанасий не помнил уже, кто именно – сказал, что женщины тех лет, изнеженные, томные роковые красавицы, по-настоящему сексуальны, а вот нынешние, с их стремлением к образу доисторической женщины, напротив, – совершенно асексуальны. И тогда Маргарита услышала его красивый низкий голос. «Разве может быть возвращение к доисторическому образу не сексуальным? Разве комсомолочка из Хивы, немытая, с растительностью в неположенных местах, менее сексуальна, чем героини “мирискусстников”?» Уткин поинтересовался, далеко ли Хива от Москвы, и предложил выпить за нечесаную комсомолочку. Бывшая жена большого чекиста, та самая, которой понравился Афанасий, от возбуждения покрылась красными пятнами. За гринберговских моделей незамедлительно вступился Александров: «Право же, не стоит делать из дейнековской текстильщицы мадонну Бенуа, во-первых, не получится, во-вторых, дорого встанет». Маргарита попросила познакомить ее с Афанасием: «Кто такой? Откуда?» В отместку его представили ей, как племянника «того самого Натана». Афанасий был этим раздосадован, но вида не подавал. В черном парике и в серой парижской двойке, не слишком высокий, но с очень широкими плечами и глазами светло-зеленого цвета, он сразу же произвел на Марга-

риту впечатление. И хоть Афанасий считал, что зима не лучшее время для смены партнерш – столько всего сверху на них, что и не разберешь, та ли эта самая, которой можно передоверить себя – уходили они вместе. Под тихую уткинскую рифмовку: «Ты люби на самом деле Чтоб глаза мои блестили» и мстительный взгляд бывшей жены большого чекиста. Все последующие дни Афанасий открыто ухаживал за Маргаритой, в результате чего она раскрыла ему свои объятия и свою постель. А уже через неделю он явился к ней с двумя чемоданами и с двумя Новогрудскими – старшим – Соломоном и младшим – Герцелем. Сообщив зачем-то, что его печатная машинка в закладе и ее нужно немедленно спасать, потому что он, совместно с Новогрудским Третьим – Шурой, будет писать сценарий к фильму «Измена».

Из трех Новогрудских Маргарита сдружилась с двумя – лагидным Герликом и вундеркиндом Шурой. А вот Соломон ей активно не понравился. «По-моему, страшный человек, наверняка чекист», – поделилась она своим впечатлением с Афанасием. «Не страшнее, чем я будет», – успокоил ее Афанасий. И насытившись замешательством новой возлюбленной, сказал, что многим обязан Соломону, что именно он, по просьбе дяди Натана, когда-то помог ему перейти советско-польскую границу. Тут Маргариту рвануло, она рукокрыло взлетела с кровати, встав в точности такой же, как на фотографиях Гринберга: «Разве такое возможно, перейти границу?!» А потом: «Зачем ты мне это рассказываешь? Проверить хочешь, не донесу ли? В “русскую рулетку” играешь?» И он снова успокоил ее, вспомнив, слова Александрова в мастерской у Гринберга – «дорого встанет твоя “русская рулетка”». Она спросила его, в какой же стороне были три его моря. И он рассказал ей десятилетней давности историю, практически от начала до конца, все, кроме недавней поездки в Стамбул на Принцевы острова по просьбе Соломона Новогрудского и еще кого-то, кого именно он не знал, но предполагал, нескольких высокопоставленных армейских чинов и одного наркома. Вот этого Маргарите точно не надо знать. Вот это, правда, – опасно. А потом он гулял с ней по Вене, по его Вене, потом – показывал ей свой Зальцбург, потом, сбежав с заснеженного брейгелевского холма, облюбованного одним модным австрийским писателем, оказался с Маргаритой в Вероне среди желтой дзенской листвы на площади у монастыря Сан Дзено, а потом ветер над закрученной в

кольца, совсем как на рисунках Леонардо, Адидже, перенес их сначала в солнечный Рим на Маргутту, а затем в дождливый Берлин на Курфюрстендам. Поначалу Маргарита не знала, верить всему или нет, но чем продолжительней становился ее полет, тем убедительней казался рассказ Афанасия. А когда он начал рассказывать ей про Париж, «аббатство» в Фонтенбло и своего мастера Георгия Ивановича, Маргарите показалось, что Афанасий раздваивается на глазах: «Не знаю, кто ты, а кто твой двойник. Еще не умею вполне отличить вас». Афанасий сказал, что и у него не получалось отличить Георгия Ивановича с его много чего постигшей душой, от его двойников. Собственно говоря, потому-то он и покинул «аббатство». Знает ли Маргарита, что Чопур когда-то водил дружбу с Георгием Ивановичем? Маргарита ответила, что не знает, но слышала, что у Чопура тоже есть двойники. «Его двойники все до одного – заложники страха, а у Георгия Ивановича – помощники света». У Георгия Ивановича и Чопура разные коды существования. Настолько разные, что Георгий Иванович не раз говорил, что его в любую минуту могут убить люди Чопура. Маргарита поинтересовалась, почему Афанасий называет Чопура – Чопуром, а не как все кругом. «Георгий Иванович уверял, что лучшее средство защиты от Чопура – называть его Чопуром». «Тогда называй меня Марой, это будет лучшим средством защиты от меня». Она как-то очень по-детски рассмеялась, показав ему свои маленькие, ровно выточенные зубы. «От тебя, от твоих зубов, у меня точно защиты нет». И от этих слов Афанасия, Маре-Маргарите стало по-настоящему страшно, потому что впервые в жизни в ней было столько женщины, сколько не было при Чардынине и других ее возлюбленных. Но чувство это оказалось временным. И вскоре Маргарита вся была в сценарии к «Рваным башмакам». А Афанасий носился со своими рассказами из редакции в редакцию, гнал материалы в «Правду» и «Труд» и ждал, когда на советских экранах появится «Измена», снятая по их с Шурой Новогрудским сценарию. Психологическая драма «Измена» на экранах так и не появилась: Главрепертком РСФСР фильм запретил, как «пацифистский, деморализующий зрителя». Намечающийся роман с исполнительницей главной роли Евлалией Успенской (Ольгиной) сорвался, Шура Новогрудский куда-то очень грамотно запропастился, вероятно, засел за очередной сценарий где-нибудь в Ильинке. Зато у Мары все складывалось как нельзя

лучше. Ее фильм вышел на экраны. Успех был небывалым. Все, кто считал, что в Советском союзе может быть только одна женщина-режиссер, и она уже есть, и ее зовут Эсфирь Шуб, теперь шумно сопели в тряпочку. «Рваными башмаками» восхищался даже сам Горький. Фильм смотрели в Европе и в Америке. Из Америки прислали корреспондента, выведать у Мары, как она работает с детьми. А потом случилась эта знаменитая встреча с Роменом Ролланом на даче у Горького. Маргарита летала от счастья. Ее перевозносили наравне с Эйзенштейном, Пудовкиным, Довженко... Казалось, вот сейчас-то все по-настоящему и начнется, но... Но все пошло почему-то не так. Между ней и кино выросла высокая стена. Маргарита не знала, что делать. Она решила написать письмо Чопуру. Афанасий устал отговаривать ее: «Ты что, совсем ничего не понимаешь? Не понимаешь, что будет после твоего письма? Не понимаешь, что Пудовкин с Довженко тебе вовек не простят того, что было на горьковской даче?» И тогда они поссорились. Поссорились крепко, как никогда. И если бы не посадили дядю Натана, разошлись бы на веки вечные.

Не плутая и никого не спрашивая, я вышел на БРТ. Пошел к служебному входу, который располагался справа от лестницы. Зашторенная высокая дверь с латунными ручками и тугой пружиной впустила меня вовнутрь.

Обычный служебный вход, как во всех московских театрах, только вот лестница больно высокая. Мраморная. Поднялся, подошел к вахтерше.

Пожилая красивая женщина, по всей видимости, так и не добравшаяся в свое время до Парижа, отложила растрепанную толстую книгу. Бывают такие – читаешь всю жизнь. Дома, на работе, в отпуске.

– Моя фамилия Милькин, – сказал я. – Я из Москвы. Драматург. Сегодня договаривался о встрече с Фатимой Таировой, но... Как и где я бы мог с ней встретиться?

Женщина поднялась, встала за спинку венского стула, как это обычно делали раньше старорежимные педагоги в гимназиях, тихо спросила:

– Очень нужна? – я не ответил ей, я уже все понял по ее глазам, смирившимся с обстоятельствами.

Она, видимо, тоже поняла, что я все понял.

– ...Обвинили в троцкизме и вчера забрали.

Мне показалось, благодаря ее глазам я услышал, как скрипят наверху половицы под сапогами чекистов.

Сколько их? Скорее всего – двое. Внизу должна стоять машина. Черная. И в ней тоже – двое. И еще двое по углам улиц. Это если все серьезно.

– Благодарю вас.

– Не за что, товарищ драматург. – И шепотом: – Лучше не приходите сюда пока.

Я быстро сбежал по лестнице.

Сегодня мне определенно везло на порядочных людей. А мог ведь и нарваться. Еще как мог.

Черного авто, выйдя на улицу, я не обнаружил. Должно быть, неподалеку где-то дежурит, за каким-нибудь углом. Хвоста тоже не было, но на всякий случай я зашел в Молоканский сад. Если за мною следят, из сада проще будет заметить. Посидел на скамеечке. Развлекся здешними видами. Повспоминал, кто у меня еще есть в этом городе, кроме Нюры, сестры Мары, к которой я, конечно же, никогда не обращаюсь за помощью.

Соломон и Герлик – бакинцы, но они в Москве. И трогать их никак нельзя: потянется ниточка. Телеграфировать Маре? Тоже опасно. Наверняка за ней следят так, как не следили раньше, до моего бегства в Баку.

В последний раз они встречались с Марой неделю назад в Детском парке Краснопресненских ребят. Парк разбили совсем недавно на месте мебельной фабрики Шмита. Афанасий пришел с сыном – Альком. Выбрали скамейку неподалеку от эстрады. Солнце выглянуло из-за синей дымки и из фотографического кружка навстречу солнцу вылетела ватага пионеров с «ФЭДами» и «ФАГами».

Тугогрудая, с мускулистыми икрами комсомолочка, из тех, что были запущены Чопуром в массовое производство совсем недавно, что-то кричала вдогонку детям, затем махнула такой же мускулистой, как ноги, рукой и побежала сама за ними. Остановилась, раздула полосатую грудь и свистнула в боцманский свисток. Детвора даже не обернулась.

Объективы маленьких гринбергов интересовало все: шустро-ногая мелюзга на велосипедах, томные отроковицы на качелях, сиястая продавщица из будки «Мосминводы», отгоняющая мокрым сиреневым полотенцем безногого инвалида с «Марсовой звездой» на порубленной белогвардейцами груди, озорной черный пудель, нарезавший кривые круги вокруг белобрысого мальчугана с желтым теннисным мячом, трубач в тюбетейке, выдувающий медь под портретом прищурившегося кавказского усача. Алек смотрел на юных фотографов как зачарованный. А Афанасий смотрел на Алька.

Мальчик был тихий, рассудительный не по возрасту, с большими грустными глазами. Фигурой он пошел в него – тонкокостный, но при этом плечистый, а лицом – в Татьяну. Иногда Афанасий ловил себя на том, что, глядя на Алька, испытывал чувство вины. Если бы мальчик не был еще столь маленьким, он бы даже извинился пред ним. Кто знает, возможно, у него еще и будет время это сделать. Но как он ему все объяснит, как скажет, что не намерен был жениться на его матери, что просто поддался сильному, очень сильному влечению, что такое бывает со взрослыми людьми.

Тане в ту пору исполнилось двадцать два. Плодоносная с первого взгляда. Красивые ноги и фарфоровая кожа. Обожевляла героев революции и гражданской войны. Была влюблена в своего начальника Варлаама Аванесова и даже в его честь назвала Алька Варлаамом. Было ли что-то между Таней и товарищем Аванесовым, Афанасий не знал, в конце концов, Таня могла назвать Алька Варлаамом исключительно из чувства мести. Таня и сейчас, при каждом удобном случае, мстит ему: выдает Алька всего на пару часов и то через своих сестер. Сама никогда на глаза не покажется. Попробуй, объясни такой женщине, что если бы не он это сделал, сделал бы кто-то другой.

Мальчишка появился на свет дважды случайно. Татьяна была на восьмом месяце беременности, когда решила повеситься. Ее старшая сестра Поля вошла в комнату, увидела Татьяну и закричала. На Полин крик прибежали Соломон Новогрудский – муж сестры Кати и Федор – муж сестры Клавдии. Соломон держал Татьяну за ноги и приподнимал, а муж Клавдии вынимал из петли. Пока откачивали Татьяну, Катя все кричала Соломону: «Это ты его

в наш дом привел, это ты!..» А Соломон успокаивал Катю, обещал пристрелить Афанасия: «Катюша, даже не сомневайся, рта открыть не успеет красный командор». На что Катя отвечала: «Только и знаете, что друг в друга стрелять! Тринадцать лет уже как стреляете и стреляете».

Обо всем об этом Афанасий узнал за день до самоубийства Маяковского, – то есть, когда родился Алек.

Афанасий хотел подозвать Альку и прочесть ему «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», но, поразмыслив, решил, что это уведет пацана далеко в сторону. В этом он сам когда-нибудь разберется. Вот Мара, она могла бы все Альку объяснить. На съемочной площадке такое с детьми творит, они все делают, о чем она их только не попросит. Эх, если бы Алек был от Мары. И только он так подумал, как увидел ее – Маргариту.

Она шла со стороны Горбатого моста, со стороны солнца, с той стороны, когда вдруг смотришь на любимую женщину и понимаешь – то ли она уже не та, то ли ты – уже не тот.

Какое-то чувство тоски обрушилось на него. Мара со знаменитых фотографических ню Гринберга лишь отдаленно походила на эту женщину, и совсем другая Мара, в ответ на его очередную вспышку ревности, могла сказать месяц тому назад: «Мое чувство к тебе никогда бы не стало меньше от случайных “издержек плоти” – твоей или моей. А внимание, которым тебя наделяли неплохие женщины, только доказывает мне, что мой выбор не так плох, как меня стараются убедить в этом мужчины».

Больше всего Афанасия удивила тяжесть ее походки и начинающееся бабье колыхание.

«Может, она беременна? Раньше она никогда так не ходила. Марин шаг всегда был летуч».

Ему показалось, что на эту встречу Маргарита шла с большой неохотой.

«Нет уж, хорошо, что Алек от Татьяны. Если бы он был от нее, и мне бы пришлось с ней расставаться – я бы точно не выжил».

Он встал со скамейки и сделал несколько шагов навстречу Маргарите. К нему тут же прилепился Алек и внимательно глянул на женщину в двух шагах от них.

Афанасий и Мара старались не встречаться взглядами – больно уж изучены друг другом были их глаза.

– Значит, это и есть Варлаам Афанасьевич? – Присела, чтобы быть с Альком одного роста. – Слушай, я и подумать не могла, что ты умеешь делать таких детей! – Хотела дотронуться до Алька, но какая-то сильная пружина удержала ее.

– Я и сам не знаю, как так получилось, – сказал он, чтобы снять возникшее напряжение.

Мара в ответ улыбнулась, как улыбаются сильные, очень сильные женщины, когда им бывает больно, очень больно.

– Как ты? – он поймал ее руку в полете, когда она хотела поправить волосы.

– Как видишь.

Порубленный инвалид откатился от будки с водой. Черный пудель опрометчиво понесся за очередным свистом чопуровской комсомолки, но тут белокрылый лопухий мальчик расстался с теннисным мячиком и пудель с небольшим заносом повернул в сторону клумбы.

– Как с тобой тяжело.

– С тобой, думаешь, легче.

Как это с ними бывало, они скоро все-таки нашли общее, то самое общее, из-за которого никак не могли расстаться по-настоящему. Она даже сказала ему, что замуж больше не выйдет ни при каких обстоятельствах, зато заведет черную пуделицу, «нарожает» щенят, и будет торговать ими оптом.

Алек попросил воды. Афанасий дал ему денег. Алек пошел к будке. Сам. Увидев повеселевшего инвалида, намеревавшегося выцыганить монетку, остановился, но через секунду, собрался с силами и прошел мимо него.

– Какой молодец, – сказала Мара и извлекла из сумочки несколько сложенных вдвое бумаг. Развернула, расправила: – Прости...

– Ничего страшного.

– Я сделала все, как ты просил. Вот направление. Печати. Распоишешься сам. Здесь вот и здесь. И не так размашисто, как ты обычно это делаешь. Двадцать третьего мая ты уже должен быть в Баку. Утром двадцать четвертого – на «Азерфильме». Это адрес Фатимы Таировой, мы с ней вместе учились в театральной студии, сейчас Фатимка служит в БРТ. Кажется – метит в примы. Она и раньше была талантлива и необыкновенно хороша собою. Прошу тебя не увиваться за ней. Сделай одолжение.

– Постараюсь.

– Постарайся. Мы с ней в кратчайшие сроки зарезервировали для тебя роскошную комнату в Ичере-Шехер. Целых двадцать четыре квадратных метра, с двумя окнами и балконом на море. И не говори, что я о тебе не забочусь... – она передала ему рекомендательное письмо, которое он должен был передать «своему человечку» Семену Израилевичу, вырвала из блокнота листок и химическим карандашом начала что-то быстро писать. Потом вспомнила о чем-то более важном, спросила: – Что слышно о дяде Натане?

– Посылки начали возвращаться.

– Сочувствую. Прошу тебя следовать моим советам и не бывать в Баку в тех местах, которые я тебе сейчас перечислю. В противном случае – все напрасно. Ты понял меня?

– Говоришь со мной, как со своими детьми на съемочной площадке.

– А как иначе говорить с тобой, если ты все делаешь мне назло. И потом, с чего ты взял, что я с детьми на съемочной площадке разговариваю, как с тобой. У тебя есть закурить?

Он протянул ей папиросу, тут же чиркнул спичкой, сказал:

– Можно подумать, Радек у тебя по струнке ходит.

– Радек, Радек... Что ты прицепился к нему? Как ты вообще можешь, после всех своих загулов попрекать меня Радеком? – она сунула ему в руку листок, на котором только что что-то набросала.

– Ладно, прости, не хотел.

– Я знаю, чего ты всегда хотел – чтобы я любила тебя. Хотел сильно, но недобросовестными средствами.

– Возможно, что и так. Что с того?

Время будто сломалось. Теннисный мячик завис в воздухе вместе с черным пуделем.

– Я хотела любить другого внутреннего склада человека, чем ты, и считала возможной эту перемену. Но несколько лет назад, я окончательно поняла, что это неосуществимо, и по-настоящему нам надо было тогда же и разбежаться и впредь никогда не сходиться.

– Что же тебе помешало?

– Этому помешало много причин, приведших к некоторой несостоятельности каждого из нас и мы мучительно остались друг с

другом. – Она не знала, обо что ей затушить папиросу, а он не знал, как ему выйти из-под ее камнепада.

Тут к ним подбежал Алек. Ребенок, видимо, почувствовал, что что-то не так. Забрался на колени к отцу, хотел обнять его и случайно задел парик.

– Папочка, я повредил тебе голову?! – Алек был не на шутку напуган. Ожидал появления крови.

– Я-то думала, ты чаще со своим сыном встречаешься, – сказала Мара, примеривая улыбку Джоконды, которая ей совершенно не шла.

Из-за этой ее улыбки на лбу Афанасия выступил пот.

– Вокруг Москвы начали гореть леса, – сказала Маргарита, чтобы спасти Афанасия от конфуза.

– И смог надвигается на город, – поддержал он ее.

– Ну что? – сказала она.

– Пойду, – сказал он. – Мне надо еще ребенка вернуть.

– Пиши роман, Афанасий, и присылай мне каждую неделю по новой главе.

– Сама же говорила, что мне надо быть осторожней. Первое же письмо прочтут раньше тебя. И потом – в неделю по главе я не смогу. Я так не умею.

– Сможешь, если захочешь. Ты столько раз рассказывал мне эту историю, что тебе остается только сесть и написать ее. Статьями и сценариями ты там не отчитаешься. Чтобы подняться, надо покинуть избитую дорогу.

Алек некстати попросился в туалет. Афанасий начал смотреть по сторонам в поисках укромного местечка. Мара, воспользовавшись моментом, послала скоростной воздушный поцелуй и стремительно пошла в ту сторону, откуда появилась.

«Ну вот, кажется, и развелись, точнее, разлепились, – подумал тогда он. – Через какое-то время она попросит меня вернуть все свои письма, а мне принесет мои».

Это был тот час пятницы, в который местами уже закралась суббота.

От жары соскальзывал парик.

Афанасий скинул пиджак и забросил его за спину, как это делает обычно новый советский курортник в какой-нибудь докумен-

тальной фильме. Оглянулся по сторонам. Никого подозрительного, только люди кругом. И люди – как люди.

«Считай, что ты в Стамбуле, – сказал он себе, – только в советском Стамбуле, в котором ты то ли керосинку забыл выключить, то ли кран оставил открытым». И пошел вниз, к гостинице «Старая Европа», дорогой, которую Мара проложила в Москве химическим графитом на листочке-оборвашке. Но вскоре Афанасий замедлил шаг, остановился в раздумьях: «А может, все-таки свернуть налево, к Парапету? А оттуда податься на Торговую?»

Его тянуло на Торговую. Мара говорила, что если ему кто-нибудь скажет, что Баку начинается с Михайловской, Садовой, Ольгинской или Мариинской, это не правда, по-настоящему город открывается с Торговой улицы: «Но ты лучше на Торговую не ходи, на ней встретить можно кого угодно – и своих и чужих. А это совсем не то, что тебе нужно. Хотя, что я говорю, все равно ведь поймешь. Назло мне».

Первое, что он увидел, выйдя на Торговую – это людей, собирающихся у фонарных столбов с черными хоботами динамиков. Люди стояли и чего-то ждали. И все они почему-то казались ему мертвыми. И у самого у него появилось чувство, будто и он завис сейчас между жизнью и смертью. Вот точно такое же чувство Афанасий испытал в одном польском замке, в который угораздило его однажды попасть.

«Нет, все-таки права была Мара, не надо было сюда идти!»

Вскоре в черных растрехах начал хозяйничать голос Багирова.

Товарищ Багиров был редкостным тугодумом, большой связностью речь его не отличалась и каждое слово отдавало бычьей потливостью. В довершение ко всему этому, Хазарский ветер буквально в клочья рвал его слова, глумился над местным хозяином как хотел.

«Представители многонационального Баку, многонационального Азербайджана, спаянные дружбой народов... На пороге новой конституции должны оглянуться, должны посмотреть, кто враг советского народа, кто враг Азербайджана, кто враг наших национальных республик... Мы будем беспощадно уничтожать этого врага!..»

Люди слушали с напряжением. Никто не кричал, как на футболе – «Ааа!» или «Ооо!»

Он представил себе Фатиму Таирову, страшного врага национальных республик, которой чекисты выбивают сейчас зубы где-то глубоко под землей. Зачем она им? Чем не угодила Чопуру? Почему упыри решили провести это мероприятие в пятницу: Чопур ведь не любит ни пятниц, ни суббот, ни воскресений. По правде сказать, он ни один день недели не любит. Ему лишь бы ночь над страной, раскачиваясь, висела. Безлунная и беззвездная, с которой можно чокаться бокалом грузинского вина.

А Багирова уже несло по ухабам и кочкам аж до самой столицы, до самого Кремля. Остановиться никак не может:

«Мы не должны забывать, что враг еще не добит, что борьба капитализма с социализмом не кончилась и происходит в мировом... в международном... в планетарном масштабе... Как говорит товарищ... — многая лета Чопуру. — Когда читаешь показания разоблаченных врагов, не верится, что в человеческом облике может существовать лютый зверь. — Пауза. Гудение Хазар-ветра. Наверное, товарищ Багиров Мир Джафар Абасович сейчас за кепку свою держится, как за место первого секретаря. — Мы знаем хищных зверей, мы знаем бешеных собак, но таких, каких вырастила троцкистская, зиновьевская и мусаватская банда, мы будем находить и уничтожать. — Торговая молчит. Мертва Торговая. — Находить и уничтожать».

Афанасий подумал, что его новый квартирный хозяин и тот, наверное, лучше говорит, чем этот ставленник Чопура.

Нет, правда, спел бы он лучше про попугая, который «на одном ветку с мамой сидит», повеселил бы Торговую, вернул бы людей к жизни.

К чему была приурочена эта речь Багирова, к готовящейся конституции или к еще теплomu постановлению Политбюро ЦК о репрессировании троцкистов, он не знал, как и не знал, с какого холма нес свой хлам товарищ Багиров.

Он хотел выбраться из толпы, уйти как можно быстрее, но понимал, что люди Чопура расставлены по всему городу, и в особенности их должно быть много возле радиоточек.

Придется этого кавказского Цицерона дослушать до конца и отойти от громкоговорителя, когда народ начнет расходиться. А еще лучше после речи Мир Джафара Абасовича попить газировки у стенда со свежими газетами. Глянуть, как проходит первый чем-

пионат СССР по футболу. Успокоиться, осмотреться. Газировку с абрикосовым сиропом нужно пить, ни на минуту не забывая про остров Наргин. Так она вкуснее будет.

Он занял очередь за полной белой феминкой с высокой неполикорректной прической и прямой веснушчатой спиной, от которой исходил запах то ли «Красной Москвы», то ли «Белого Берлина».

Полез в карман за медяками. Оглянулся и вдруг под плакатом «Превратим СССР в страну индустриальную!» увидел Новогрудского-младшего.

Златокудрый, искрящийся бог перемен и неожиданных встреч, все принимающий и всем довольный. Будто не Багирова только что слушал, а Морфесси где-нибудь в «Штайнере».

Герцель развел руками, не веря своим глазам.

– Афанасий, ты?! – Единственный живой в окружении мертвых.

Афанасий немедленно покинул очередь, увлекая Герцеля в сторону: за ним тоже могли следить.

– Да ты погоди, погоди, я не один. Ляля! Иди к нам. Каким ветром?..

– Индустриальных перемен.

– Снова с Марой разошелся?

– И не сходиллся.

– Я же зимой вас видел вместе. Не переживай, мы тебе тут быстро невесту найдем. – Тут он спохватился: – Лейла Уцмиева. – Оглянулся по сторонам. – Княжна Уцмиева. Ляля, позволь представить – Афанасий. – Снова оглянулся по сторонам. – Если бы ты, Лялечка, знала, какое за ним прошлое...

– Герлик, давай отойдем в тихие улочки.

– А что я сказал? Ляля, Афанасий в прошлом – красный командир.

– А в настоящем? – спросила княжна и принцесса, сверкнув беспартийными глазами.

– Журналист и драматург.

– Покамест только кинодраматург, – поправил Афанасий.

– Что ты думаешь по поводу этой, с позволения сказать, речи? – спросил светский донельзя Герлик.

– Ты помнишь домик палача в Зальцбурге? – Взгляд Афанасия сейчас не смогло бы растопить и бакинское солнце.

– Ты что имеешь в виду, тот дом палача, рядом с которым никто не хотел селиться? – Герлик обнажил ослепительно белые зубы – мечту чопуровских опричников.

– В том-то вся и разница, Герлик, между нами и ими. Надеюсь, ты понял меня.

Герлик хотел что-то сказать, но Афанасий перебил его.

– Вы сейчас куда?

– Гуляем, а что? У тебя дела?

– Я только приехал. А ты как здесь?

– Слушай, а давай завтра на субботнюю трапезу к нам, все тебе расскажу. И Ляля... Ляля тоже будет. – Ляля сделала удивленные глаза.

Афанасий задумался:

– Неудобно как-то и потом...

– Что значит – неудобно? Что значит – и потом? Я тебя в последний раз, когда видел? Запиши адрес. Вторая параллельная, дом двадцать дробь шестьдесят семь, квартира тридцать семь. Запиши-запиши... У тебя есть чем?

– Герлик, я запомню.

– Поймаешь фаэтон, скажешь мне нужно на Кёмюр мейдан или Кёмюрчи мейданы. По-русски, это будет Угольная площадь или Площадь угольщиков.

– В каждом городе такая есть.

– Место в Баку всем известное.

– А можете сказать просто: мне на Шемахинку, – вставила свое слово Ляля и улыбнулась так, словно только что вышла из пены каспийской.

– Ну так что? Придешь на шабат к Новогрудским?

– Герлик, иди, гуляй барышню. Таких красивых я со времен Вены не видал.

– Это вы еще его сестру младшую не знаете, – княжна снова улыбнулась.

«Наверное, так улыбаются вечности, – подумал Афанасий. – Просто газель, дочь газели с шахиншахских миниатюр. Герлику всегда везло на баснословно красивых и породистых женщин».

– Экий ты странный, у тебя точно, все хорошо? – Герлик окинул его внимательным корреспондентским взглядом поверх очков в золотой оправе.

– Хорошо, хорошо.

– А где остановился? – тот же внимательный взгляд.

– В Крепости, – сказал он и незаметно глянул на княжну.

В ответ княжна одарила его той фольклорной улыбкой, за которой гоняются фотографии всего мира.

– Будь осторожен. Твоя Мара, между прочим, в Крепости с кинжалом ходила. Завтра, как стемнеет, у нас – и никаких отговорок.

Афанасий взял под парик.

В почтовом отделении народу – два человека. Скорее служки кладбищенские, чем мертвецы с Торговой. Кругом мрамор и зеркала, отражающие мрамор. Прохладно, как в склепе. Если не брать во внимание портрет все того же Чопура и тягучий запах горячего сургуча, вполне можно обрести некоторую свободу в душе.

Высокие окна, мягкий желтоватый свет от матовых лилий, растущих из бронзы, широкие крашенные подоконники и стрекот телеграфа настраивали на философский лад.

Пробуя разогнать казенное перо по бланку, Афанасий понял, чего добивалась от него Маргарита – иногда надо просто писать, все равно где, не важно, кому, просто – кому-то. Но просто кому-то не получалось. В итоге он скомкал бланк и выбросил его в корзину. Очень скоро за ним последовал и другой. Просто писать оказалось делом не таким уж простым. И перо... перо безбожно цепляло ворс, который приходилось снимать с его кончика.

– Я в Баку тэчэка Устроился нормально тэчэка Вот только море неспокойно тэчэка В разлуке никакого смысла тэчэка Твой Афанасий тэчэка Все? – спросила собирательница слов за окошком под номером три.

– Да. Точка.

И сразу же после этой телеграфной точки, в голову влетела первая строка романа, до которой не додумался в своих черновиках: «В продолжении войны не было никакого смысла – она уже была проиграна вчистую».

– Еще что-нибудь? – спросила телеграфистка, недавно освоившаяся от чадры.

Афанасий поинтересовался у нее, есть ли поблизости канцелярский магазин.

Канцелярский магазин располагался на второй линии в пяти минутах ходьбы. Афанасий купил план Баку, коробок с кнопками, фиолетовые чернила, клей, точильную рыбку, карандаши, ластик и толстую тетрадь в бледную клетку. Вышел, дошел до угла, вернулся, попросил еще карту Европы, красные и черные флажки на булавке.

– Вам политическую? – кисло улыбнулась продавщица.

– Мне, чтобы городов побольше. Карту сверните, в нее все побросайте и бумагой оберните с двух сторон.

По дороге домой он обкатывал в уме первую строчку романа. На тридесятый раз убедился, что это та самая фраза, которая содержит в себе и порождает сама десятки и сотни таких фраз, из которых складывается или может сложиться – единое целое. А еще он смотрел на женщин и сравнивал их с княжной Уцмиевой. Княжна выигрывала с большим отрывом. Но женщины, на которых он смотрел, не становились от этого хуже.

Керим стоял на углу дома с каким-то толстяком в такой же огромной кепке, как и у него, и о чем-то говорил на местном наречии. Толстяк был чем-то не доволен, и Керим успокаивал его как мог. Когда они увидели Афанасия, толстяк высоко задрал небритый подбородок. А когда Афанасий почти поравнялся с ними, толстяк скривил рот и сплюнул себе под ноги.

Афанасий сначала подумал, что тот сделал это, чтобы показать свое отношение к нему, но подходя ближе, заметил, что вся брусчатка вокруг толстяка и Керима была оплевана.

– Мир дому твоему, – сказал Афанасий Кериму.

– Мой дом – твой дом, – сказал Керим.

А толстяк ничего не сказал. Только сплюнул еще раз.

«И откуда только он столько слюны берет?»

– Вроде я за собой черного кота не привел, – сказал Афанасий. Но толстяк с Керимом не поняли его.

Во дворе возле тандырной печи возилась старуха.

Глядя на ее сгорбленную спину и костлявые руки, Афанасий подумал, что смотреть на стариков, все равно, что зубрить расположение звезд на небе. Смотришь и понимаешь, история их жизни обязательно забудется и как только забудется, повторится, и они сами повторятся, только носить будут другие имена.

– Керим, ай Керим, – позвала старуха – призрак любви тысячелетний давности.

Старуха вытащила из печи круглую лепешку, обернула в полотенце и протянула Афанасию.

Он поблагодарил ее, приложив к груди руку, оторвал от лепешки дымящийся кусок и попробовал.

Такого хлеба Афанасий никогда и нигде не ел – волшебный хлеб.

Прибежал Керим, сказал, чтобы Афанасий хлебом не наедался, потому что буквально через пять минут поднимет ему наверх яичницу с зеленью, сыр-мотал и чай с чабрецом. В точности такой, какой был утром.

– Кто тот человек, Керим?

– Ай, не спрашивай, ага. – И все нутро свое честное пролетарское под кепку загнал.

Пока он ждал Керима с его бакинской яичницей, успел передвинуть стол поближе к балконной двери и повесить на стену карту Европы. Воткнул между Львовом и Варшавой несколько красных флажков, а в Москву – три черных. Отошел, окинул довольным взглядом меченую им Европу, после чего сорвал ледериновую обложку с толстой тетради и аккуратно вырвал несколько листов из нее.

Вскоре появился и Керим с обещанной яичницей на ушастой сковородке.

Афанасий ел быстро, почти не отрывая взгляда от висевшей карты. Поставив тарелку на самый угол стола, как это делают в заводских столовых, и, сбросив рукою хлебные крошки, так, чтобы они не упали на брюки, он достал из чемодана черканную-перечерканную машинопись. С недовольным, перекосившимся лицом отрезал от нее по кусочку, клеивал на новые страницы, выводил поверх клейки тоненько пером и подтягивал стрелочками набухшие словами облака: это сюда пойдет, а это – в начало следующего абзаца. А порою ничего не трогал в рукописи, улыбался только про себя или щурился сильно, обращаясь внутренним взором в то далекое прошлое, о котором шло повествование. Писал он и в тетрадке, купленной сегодня, а затем перепечатывал на машинке, стараясь сохранить то чувство, которое появилось у него в почтовом отделении. Он, правда, столько раз рассказывал эту историю, что теперь нужно было просто отобрать наилучшую ее редакцию.

Глава четвертая

Сара с высоты третьего этажа

Без четверти шесть я был на углу Первой Параллельной и Ше-махинки. Пропускал вперед себя навьюченного угольщика.

Развевшийся дымок угольной пыли навевал воспоминания о войне, разбитых дорогах и далеких железнодорожных станциях, до того похожих одна на другую, что не стоило мучиться, припоминая их названия. Гудки... Клубы пара... И какая-то тяжесть провожающего вдруг навалилась на меня. Надавила на плечи. Было такое чувство, будто я остался стоять разом на всех станциях, на всех перронах, с которых только что ушли поезда. Все. Навсегда. Почувствовав, что я буквально начинаю вращаться в лишившуюся асфальтового слоя землю, я вспомнил одно из самых первых, сделанных мною на войне открытий: «Хуже нет ожидания худшего. И тогда, когда продолжительность твоей жизни зависит от скорости пули или взмаха сабли, ты все равно должен дать жизни течь в себе беспрепятственно, как если бы у тебя был самый сильный заговор против вражеского оружия». И утраченное состояние духа вернулось ко мне. Плечи разом освободились от тяжести. Я почувствовал плотность асфальта под ногами, выпрямился и помог выпрямиться угольщику. И угольщик-кёмюрчи, прежде чем скрыться за афишной тумбой, обернулся, показал мне благодарное лицо с черными воловьими ноздрями.

Стакан холодного лимонаду у восьмигранного киоска неподалеку от входа в небольшой скверик, расположенный ниже уровня тротуара, вернул мне свежести и поднял настроение.

Под возносимое откуда-то снизу из другого конца садика: «Морожь-жь, морожь-жь, ай, морожь-жь!», я поднялся до угла Второй Параллельной.

Дома по одну и по другую сторону стояли двух или трехэтажные, без тех затейливых вензелей и гербов, атлантов, кельтских ведьм, управляющих небесами, аптечной растительности и еще бог знает чего, успевшего окаменеть на центральных улицах Баку: буйная фантазия нефтяных королей и их лизунов, до Кёмюр мейдана, похоже, не добралась. Не случись Октябрьской переполоховки, наверняка и на самой Угольной площади и поблизости,

появились бы дверные ручки с козлоногими Панами, дующими в свои свирели лезгинку, зажигательную до головокружения.

Неспешное рдяное солнце, уходившее за раскаленные ясальские холмы, вспыхивало в стеклах дома 20/67.

Это предвечернее полыхание, белоснежный, целомудренный парус занавеси, вылетевшей на улицу из окна под патефонное танго, виноградная лоза, заботливо накрывшая собою несколько балконов, измельченный ветрами песок и угольная пыль у тротуаров, аккуратные бараньи горошины, рассыпанные вдоль дороги, и двое распаленных игрою в альчики мальчишек возле татарской керсиновой лавки, будто указывали мне на какую-то мелочь, без которой невозможно было бы восстановить историю рода человеческого.

Дом 20/67 был трехэтажным, крепко сидел на пологом Шемахинском подъеме, но при этом казался достаточно высоким и стройным. Особое благородство ему придавали частые балконы с витиеватыми решетками, нависшие над нешироким трактом птичьими гнездами. Плоская крыша, на краю которой пробивалась растительность, ожидала от рачительных потомков надстройки: еще каких-нибудь две-три пятилетки – и жильцы с нижних этажей начнут отстаивать свои права перед жильцами с четвертого до тех пор, пока дети «нижних» и «верхних» – соседи с общей памятью, свободной от прошлого – не выдвинут новый общинный устав. А потом очередная война или очередная борьба с внутренним врагом перепишут его. Уцелевшие научатся недоговаривать или вовсе молчать, опасаясь сказать что-нибудь лишнее, потому что родной дом покажется им в сговоре с предательским эхом. А два парадных с мраморным приветствием «Salve» на первой ступени – слишком уж гулками для страны, которую смастерил для себя Чопур.

Безопасный черный вход вел через долгий проход с запахом подвальных грибов, крысиного яда и гнили от мусорных баков прямо во двор, прямо к дворовому туалету, от которого тоже шли те еще застоявшиеся ароматы.

Справа от меня неожиданно открылся вырезанный в стене проход. Я в нерешительности остановился у щербатых ступенек, увидевших вниз в темную паутинную сырость. Постоял, подумал, но в итоге решил не спускаться. Решил взглянуть сначала на двор:

дворы о многом говорят. Одно развешанное на веревках белье столько библейских историй рассказать может.

Заметив меня, развернувшегося спиной к миру, лицом ко двору, злобная лохматая псина с разбега ударилась оскаленной мордой в узкую щель между досками веранды. И ну башкой своей с обрубленными ушами ввинчиваться в щель. Базарно выкрикивать ругательства выпученным глазом, истекать бешеной слюной.

– Лентяй! – успокоила собаку женщина через открытое до половины окно с весовой гирькой в углу рамы.

– Вашу мать!.. – обратился сразу к двум домочадцам от одной неразборчивой матери небритый и похмельный мужской голос в сопровождении газетного шуршания и поскрипывания чего-то горизонтального на четырех ножках.

Я поспешил покинуть неприветливый двор-колодец.

Вернувшись на угол Второй Параллельной и Шемахики, услышал знакомый голос откуда-то с близких небес:

– Ты что там застрял? – златогривый баловень судьбы опасно свесился с балкона. – Так и знал, что все позабудешь? – глуповато шурился из-за круглых линз в золотой оправе.

Все нипочем ему, никак влюблен. Впрочем, он и в Вене такой же был. Как ни встретишь, начинает новую жизнь с новой барышней за штруделем и чашечкой кофе.

Я достал из кармана «Регент» и, чтобы не кричать в ответ на весь Шемахинский тракт, показал Герлику часы.

– А, понял... Ждешь выстрела «Авроры». Поднимайся через парадное под нами. Третий этаж. Квартира тридцать семь.

Я сделал шаг вперед и замер, поддавшись стремительному движению вверх всех своих сил – из-за спины Герлика выглядывала молоденькая и крайне любопытная особа, с тонкими чертами лица и медовыми золотистыми волосами, туго стянутыми на затылке.

Вроде она и не похожа была на Герлика, но сомнений в том, что это та самая его сестра, о которой говорила княжна Уцмиева, у меня не было: женщины красивее той, на которую я смотрел сейчас, не попадались мне ни в Самаре, ни в Москве, ни в Вене.

Откуда в этом нефтяном городе, где все так материально и конкретно, такая аристократическая недовоплощенность?

Я понимал, что должен отвести взгляд, опустить голову и пойти в сторону указанного Герликом парадного, но у меня никак не получалось это сделать. Вместо того я, спутав века и меридианы, приложил руку к груди и учтиво поклонился незнакомке.

Сколько ей? Двадцать два? Двадцать пять?

А она, оценив превращение моего черного парика в белую чалму, рассмеялась, положила локотки на перила, ладошки под подбородок и кокетливо склонила голову набок.

Нет, не встречал я таких еврейских мадонн и не думал, что бывают такие.

Почему-то мне вдруг сразу же захотелось начать жить с чистого листа. Прямо сегодня. Прямо сейчас. А иначе... иначе сгоришь от стыда за свое чёртово прошлое.

Да, и хорошо было бы купить новые брюки, этим – больше пяти лет. Совсем истаскались. Я ведь их покупал еще с Марой в магазинчике «Янкель и Филимонова» на подступах к Пресненской заставе. И рубашку, рубашку новую тоже было бы неплохо купить, если уж начинать с нуля. Белая хлопковая рубашка с манжетами под запонки и с кнопкой-застежкой под воротником – стародавняя мечта.

За Герликом и его сестрой-мадонной, точно как на великосветской фотографии из предреволюционных лет, встали княжна Уцмиева, а за нею по всей вероятности еще одна Герликова сестра – такая же беленькая, но чуть повыше и помассивней, с мужским подбородком и вьющимися пышными волосами, какие часто встречаются у польских евреек.

Поднимаясь по лестнице, я все-таки совладал с собой: «Подумаешь, небесное создание, что я не видел красивых женщин в Париже? А Евлалия Успенская, разве уступит красотой этой еврейской мадонне? А княжна Уцмиева, что разве не хороша? А как бы я себя повел, если бы не взяли Фатю Таирову?»

На мощном латинском марше второго этажа я вспомнил, что из-за частой балконной решетки, к тому же еще и оплетенной виноградной лозой, не смог хорошенько разглядеть ног мадонны: «Они могут быть некрасивые, – успокаивал я себя. – Такое часто случается: сверху – вся из себя, а снизу смотришь – то щиколотки рыхлые, то икры бутылочные, то бедра от другой женщины, то еще чего-нибудь заемное, не соразмерное задуманному свыше. А если

так, какая же она мадонна, вполне конкретная земная особа для вполне конкретных земных задач».

Зеленую дверь за номером 37 открыла вышколенная горничная, и я тому был немало удивлен: «Надо же, будто власть советов не добралась еще до Новогрудских». Глядя на эту свежую девушку в чепце (ее круглому румяному лицу куда больше подошел бы кокошник), я словно угодил в свой же роман: вспомнил Агнешку, воровавшую для меня морфий в одном польском имении.

А вот и само небесное создание улыбается мне. У нее нежный персиковый цвет лица, шелковистое мягко очерченное надгубье с неглубокой вспотевшей ямочкой и с двумя заготовленными впрок местами для «горьких» морщин в уголках губ, густые ресницы, на веках – «литая неаполитанская ночь», а глаза серо-зеленые и такие не по летам мудрые, словно она только что отложила в сторону «Пиркей авот» .

Все мое чёртово прошлое тонет в тонком жасминовом шлейфе, исходящем от мадонны.

Ни заслуг, ни побед, одно сплошное поражение. И все где-то там, все в прошлом. А в настоящем – ни души, только она и я в наэлектризованном поле.

Голова кругом. Спазм под ложечкой. Сердце частит, колотится о ребра. Со мною давно такого не случалось. Все равно, что мальчишка-гимназист.

Сара!..

Младшую сестру Герцеля звали – Сара! И мадонной она была вся, от пальцев рук до пальцев ног.

Поклониться мадонне по-восточному я не мог, потому как кланялся ведь уже, сколько ж можно. А придумать еще что-нибудь – в голову никак не шло. Спасибо Герлику, пришел на выручку:

– ...А это моя старшая сестра – Дебора, Дора.

Как только я перевел взгляд на Дору, та сразу:

– У вас редкое имя. – Вероятно, хотела сказать, редкое для еврея имя, но не сказала, взглянула на меня так, как если бы ее серые глаза умели месить цементный раствор. – Возможно, оно не настоящее?

Возможно. Конечно, возможно.

– А еще меня когда-то называли Войцехом.

– Надо же, – искренне удивилась Дора. – Первого не лучше.

– Какое же из них вам все-таки по душе? – улыбнулся я Доре одной из тех своих улыбок, которые считал стопроцентно обезоруживающими, и по незамедлительной ответной реакции почувствовал, понял, что не понравился старшей сестре бесповоротно.

– Записанное в книге рождений, – съязвила она.

– О, это имя я оставил дома для еврейских праздников, – слова сами вылетели.

– Дора... – Герлик деликатно кашлянул. – Ну Лялю ты знаешь.

– Да, успели познакомиться, – я вдохнул полной грудью воздух квартиры 37, насыщенный запахом дорогих духов, намастиченного паркета и чего-то очень вкусного, вареного, жареного, пареного, долетавшего из-за закоулков квартиры.

– Я бы предпочла знакомиться в другом месте и в другой час. (Прямо прилежная ученица Доры.)

– Что же ты встал, проходи... – Герлик слегка подтолкнул меня в спину.

Я заметил на дверном косяке мезузу в серебряном футляре и специально для Доры прикоснулся к ней фалангой пальца, поднес к губам и только после этого переступил порог.

Паркет дубовый в широкую елочку. Намастиченный до такой степени, что заступи на него царица Савская, немедленно вскинула бы свои юбки, показав сластолюбивому Соломону все свои африканские прелести. Потолки высоченные. Стены в обоях «Мишки в лесу». Отчего у меня сразу же возникло чувство, будто я сбился с пути на какой-то сырой от летних ленивых ливней подмосковной станции.

Решиться на шишкинских «Мишек» в гостиную могли только литовские евреи в Баку, рассчитывающие на то, что финно-угорские леса, богатые на медведей и прочую живность, принесут прохладу, спасут от утомительной жары.

За окнами быстро тускнели остатки дневного света.

На столе отутюженная скатерть, полнолуние кузнецовских тарелок, высокие свечи, гравированный серебряный кубок для кидуша, вино в большом хрустальном графине, накрытые салфеткой халы...

Так вот, значит, какое оно – еврейское дворянское гнездо, из которого выпорхнули Соломон с Герцелем. Не квартира, а просто залежи прошлого. Еврейского прошлого. Обстоятельного. Не

нуждающегося ни в бороде до пупа, ни в плясках с бутылкой на голове. В доказательство этих моих предположений – картина в дорогой ореховой раме, на которой был изображен то ли задумчивый северный раввин, то ли его двойник кантонист из южных широт, сидящий за пюпитром в синагоге. Тора скрыта от глаз зрителя. Зато видно ее воздействие на глаза раввина. И всякий, кто смотрит в глаза раввина, таким образом заглядывает еще и в Тору.

– У этой картины своя история... – поймав мой взгляд сказала, точно птичка пропела, Сарочка, не сводившая с меня своих серо-зеленых глаз: что же такого Герлик успел ей обо мне наговорить? – Если хотите, я после вам расскажу.

Конечно, хочу. Все хочу. И никогда не хотел так всего и сразу.

– Папа!.. – представил Герлик отца.

Из-за длинного стола, стоявшего поперек гостиной, воздвигся памятником еврейскому купечеству пожилой мужчина в сером костюме-тройке. Пошевелил губами, точно рыба в аквариуме.

Лет шестидесяти, может, больше, но не на много, широкоплечий, невысокого роста, с седым бобриком на голове и с седой мушкетерской бородкой, седые усы под слегка примятым носом едва заметны. Наверное, он привез сюда эту бородку из родного Новогрудска.

Протянул мне пухлую руку с сапфировым перстнем.

Приветливое, с задержкой, рукопожатие бывшего кондитерского короля Закавказья.

– Мне говорили о вас. Прошу к столу. – Самуил Новогрудский смерил меня таким взглядом, что под париком у меня внезапно стало жарко. После он положил руку мне на плечо и мягко направил меня к субботнему столу.

А Герлик тем временем встал рядом с женщиной с царственной статью и глазами единственной дочери белостокского раввина.

– Наша мама. – Взгляд Герлика по-детски вылетел из-за стекол очков. – Фани Соломоновна.

А, значит, Герлик и Сарочка на маму похожи.

Рассаживались не торопясь. Справа – хозяин дома, слева – его супруга. Меня посадили в центре, напротив Сары и Доры, рядом с Герликом и княжной Уцмиевой.

Самуил Новогрудский несколько театрально скинул с хал салфетку, сделал на них аккуратные отметины ножом, затем положил руки на субботний хлеб и произнес благословение.

Глядя на старика, мне захотелось домой в Самару. Предстать перед своими родителями, кем угодно, хоть китайским болванчиком, хоть четвертым сыном. Кому сказать, не поверят. И чего я так рвался из дома, чего бежал без оглядки. Поди, плохо мне жилось. Эх, на самарские бы стены да бакинских «Мишек в лесу»!.. Может, и в комиссары не подался бы.

Качнувшись еще пару раз, Самуил Новогрудский открыл глаза, заглянув далеко за лесистые дали обоев, после чего разрезал халу в том месте, где сделал отметину, обмакнул в соль ломоть и вкусил медленно, с наслаждением. Затем разрезал дальше и раздал всем отрезанные ломти хлеба. Даже горничной, явной шабесгойке, перепал аппетитный кусок халы: и ты, дочь моя, вкуси, чтобы света в мире прибавилось.

Я осторожно, со столичной светскостью поделился за столом своим первым впечатлением от гнезда Новогрудских. На что старик, покачив седой головой и грустно улынувшись, сказал, что эта квартира – только то, что осталось, от того, что когда-то было. И немного рассказал о реках молочных дореволюционных.

Оказывается, квартира Новогрудских в доме 20/67 не то еврейское дворянское гнездо, из которого выпорхнули Соломон с Герцелем. Оказывается, до революции Новогрудские жили в особняке на Чадровой, оттуда-то и разъехались братья. Оттуда-то и уехали старшие Новогрудские с двумя дочерьми в Палестину. (Про Палестину старик, конечно, не сказал, это было бы уже слишком, но я знал от Герлика историю бегства в Палестину и возвращения в СССР.) Молодец Соломон, все сделал как надо, всем помог. А где жизнь лучше, там или тут, пусть сами решают.

То ли Швуэс близок, то ли у Герлика с княжной все серьезно, а иначе с чего бы вдруг хозяин дома вспомнил о Рут, прабабушке царя Давида, праведнице библейской. Сара улыбается, Герлик в краске, языком изнутри выбритую щеку вздул, княжна с величайшей серьезностью то клетку из супа выловит, то поднимет нож и устави́тся на убегающих с лезвия мальчиков-близнецов, такое впечатление, будто это она после смерти Элимелеха и его сыновей – Махлона и Кильона, задумалась, сказать ли свекрови своей Наоми, решившейся вернуться в Бейт-Лехем: «Куда ты пойдешь – пойду и я, и где ты заночуешь, там заночую и я; народ твой – это мой народ, и твой Бог – мой Бог».

Глаза старика заблестели влагой, когда он откинулся на спинку стула, взяв паузу для того, чтобы не задуть ненароком возгорающиеся искры Шхины.

Вероятно, Самуил Новогрудский, был не только хорошим кондитерским королем и габаем центральной синагоги, но еще и неплохим психологом.

– Да, – говорит реб Новогрудский, плавно закругляя затяжной период, будто закручивая мушкетерский ус: – Женщины разные бывают. И каждая – тебе урок. – И продолжает свой библейский сказ на плохом русском, сквозь который, как через прохудившуюся рогожу, проглядывает литовский идиш.

И возвратилась Наоми в Бейт-Лехем и говорили: Наоми ли это? А она им отвечала: не называйте меня Наоми, но называйте меня – Марой .

Я вздрогнул, вспомнив о женщине, которую то ли оставил в Москве, то ли она послала меня далеко-далеко... в Баку.

Ячмень созревает в Песах, а пшеница – в Швуэс. Время библейское быстро летит. И вот уже Рут подбирает колосья позади жнецов и Боаз, родственник Наоми, говорит ей: «Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле, и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками». И не лишил Боаз милости своей «ни живых, ни мертвых». Конечно, то место, где Наоми-Мара советует Рут, как ей быть, когда возляжет на гумне Боаз, реб Новогрудский пропустил. Оно и понятно. Мы ведь все молодые и только и думаем о том, как с кем сойтись. Зато он очень красочно, как и положено Шмуэлю, описал, как ближайший родственник Наоми, не пожелавший взять в жены сдомную маовитянку, снял свой сапог и отдал его Боазу, в знак того, что уступает это право ему, как Боаз вошел в шатер к Рут и Господь вознаградил Рут беременностью. И соседки нарекли сына Рут Оведом. И нянчилась с ним Наоми-Мара. И говорили все вокруг, что любовь Рут к своей свекрови выше любви семи сыновей.

Закончил Шмуэль Новогрудский, как и положено – свидетельством о рождении Давида:

– Давид, – воскликнул он и тут же умолк, окидывая внутренним взглядом века.

– Давид, – прошептал я вслед за стариком.

Интересно, а вперед реб Новоградский смотреть умеет? А вдруг он видит дальше сидящих за этим столом. И там, в будущем, которое для него одного разглажено до горизонта, точно эта белая скатерть на столе, видит, как его потомки оставляют дом 20/67, как старая княжна Уцмиева велит сбить с дверного косяка мезузу в серебряном футляре и спрятать в чемодан, а ее сноха, очередная Рут в семействе Новоградских, отбирает самое главное и пасует в тот же чемодан, чтобы сохранить память о семье, в которую она вошла со стороны, но навеки. Что останется потомкам Шмуэля Новоградского? Несколько кузнецовских тарелок, фамильный сидур, субботний кубок, из которого бывший кондитерский король Закавказья пьет сейчас вино? А смогут ли они забрать с собою картину с изображением раввина, пусть и без тяжелой ореховой рамы? Какое наказание – видеть дальше других и, несмотря ни на что, жить в согласии с сегодняшним днем! Но может, этот дар небес не наказание вовсе?

Пока я задавался этим вопросом, гордячка горничная внесла фаршированного сазана, украшенного колечками моркови на сервизном блюде от Кузнецова.

Шмуэль Новоградский показывает, чтобы она голову сазана положила мне на тарелку. Что горничная и делает.

Тусклый сморщенный рыбий глаз, если осталось что-то от жизни, – нетерпение рыбака. Как ее, эту голову, – вилкой и ножом?! Ладно, как-нибудь...

Во время рыбной эпопеи, когда надо быть таким внимательным, чтобы не стать жертвой несчастного случая, старик вдруг задает мне вопрос, на который я не знаю, как ответить. «А как там, в Москве?», – спрашивает меня Шмуэль Новоградский.

Ясно, что принятый позавчера закон об абортах его мало интересует, равно как и постановление о прекращении переименования городов и улиц и начавшийся неделю назад первый в истории СССР чемпионат по футболу, перипетии моей личной жизни тоже большой интерес у старика вряд ли могут вызвать.

Шмуэль Новоградский, по-видимому, понял причину моего затруднения с ответом: самые простые вопросы – они же самые сложные, и спросил тогда меня, как думаю я, обратит ли Олимпийский комитет внимание на гонения евреев в Германии, вот американцы, между прочим, собираются из-за этого бойкотировать Олимпийские игры в Берлине.

Я застрял и с этим вопросом: олимпийские игры, готовившиеся Гитлером, были также вне поля моего особого внимания, мне вполне хватало изощренной кровожадности Чопура. Но и тут на помощь подоспел деликатнейший Герлик, начав очень смешно рассказывать о недавней премьере оперы «Тихий Дон», на которой присутствовал сам Мишка Шолохов: «Говорят, был под таким градусом, что даже подпевал Мелихову в ложе».

Дора спросила, а правда ли, что Шолохов не писал «Тихого Дона», что его написал другой человек. Я, вспомнив о предложении Израфила сделать из одного чабана двух Шекспиров, установился на портрет раввина: какое прекрасное направление для глаз, намеревающихся утаить ото всех свой вчерашний день. А Герлик сначала простучал десятью пальцами по столу машинописную дробь, не забыв лихо отвести в сторону воображаемую каретку, а после принялся загибать пальцы, называть имена известных писателей, работавших на проект Шолохов.

Посмотрев сначала на отца, а затем на брата, Дора сказала, что слышала от Соломона иную версию: роман якобы написал белый казак, между прочим, еще до революции приехавший сюда – в Баку.

– Ну конечно, если Соломон сказал, мне ничего другого не остается, как помолчать.

– А я так думаю, что в этом нет ничего нового, – развела по стопонам брата и сестру Сарочка, – вот, к примеру, есть даже версия, что Шекспира изобрела тайная полиция.

Княжна Уцмиева подругу горячо поддержала, добавив, что и на Востоке эта практика имела широкое распространение, уж ей-то, правнучке Натаван, это доподлинно известно.

– Прабабушке самой предлагали отречься от некоторых своих стихов, говорили, что они звучат двусмысленно и могут ее дискредитировать.

Я не выдержал, вставил свое слово:

– Это разные проекты – Шолохов и Шекспир, и их вообще-то лучше не сравнивать.

Старику возникший спор вокруг авторства Шолохова, как ни странно, нравился, хотя о Шекспире он был не высокого мнения, то ли дело Толстой или Шолом-Алейхем. Но больше всего ему нравилась горячность молодежи, нравилось, что у каждого свое

мнение и они не стесняются высказывать его. Глаза старика говорили: «Есть будущее, есть!..» Он даже сам хотел высказаться на шолоховский счет, не то, чтобы был крупным специалистом по тихим рекам, но жизнь прожил не зря и людей хорошо знал, однако ему помешала горничная, подошла и что-то прошелестела в самое ухо.

– Зови... Не могу сказать «нет» в субботу.

– Кто это? – обратилась царственным голосом к мужу и горничной Фани Соломоновна.

– Школьник, – поморщился Шмуэль Новогрудский.

Горничная ушла, скрылась за тяжелой портьерой. И минуты не прошло, как в гостиной оказался засаленный старичок с рыжей козлиной бородкой, которая к тому же еще и подрагивала. Впереди Школьника летел многодневный запах пота. Стоя в двух шагах от стола, этот кривоплечий напоминал чем-то «пустой урок» в гимназии.

– Реб Новогрудский, – начал тусклый человек с фамилией Школьник, – я, конечно, извиняюсь, если не сказать вам больше, а больше хочется, глядя на вас и вашу семью, пусть каждый до ста двадцати... – Прищурился, срезал взглядом меня и княжну, дрогнул козлиной бородкой – распознал чужих, добавил: – и гостям вашим до ста двадцати, и гостям того же. Я бы не решился прийти к вам в пятницу, когда уже суббота...

– Любого путника прими, – остановил Школьника Шмуэль Новогрудский.

– Я так и думал, реб Новогрудский, я так и думал. И не один я так думал, так думали еще Рапопорт и Шраер. Мы постановили нашей скамейкой, что этим «путником» буду я, за давностью лет нашего с вами знакомства, и я скажу вам вот столечко за себя и даже еще меньше, а остальное все за Рапопорта и Шраера, и за Суперфина я вам тоже немного скажу, чтобы вы уже все знали.

– Фани, скажи Лизе, чтобы она накрыла нам на балконе, на том балконе. – Он указал на балконную дверь справа от себя, взял со стола зеленое яблоко и нож. – Пошли, расскажешь мне, что еще задумали Рапопорт и Шраер.

– И Суперфин тоже, реб Новогрудский, и Суперфин тоже. Вот я смотрю на вас и дивлюсь, откуда вы уже знаете, что я только хотел вам сказать. Хоть вы и не коэн, но как будто коэн, честное слово.

С вашей стороны, вы можете подумать, что это мое большое преувеличение, но вы будете глубоко не правы, если так подумаете.

Через некоторое время, вооружившись носовым платком, за ними последовала госпожа Новоградская.

– Обычно у таких, – не удержался я, – в одном кармане зеркала, в другом – расческа.

– Любят себя из последних сил, для них драгоценно все, что связано с ними, – поддержала Сарочка.

– Ну да, ну да... – Герлик распахнул окно в надежде выветрить из комнаты Школьника, – Зеркальце, расческа и еще... маска. Когда папа болел, никто из них в больницу не пришел навестить его. А стоило ему выписаться и открыть кондитерские цеха на Жилдоре, всей синагогой ринулись к дому 20/67.

– Герцель! – резко оборвала брата Дора.

– Дебора! – поднял сдавшиеся руки Герлик.

И после неловкой паузы предложил мне «выйти подымить» в соседнюю комнату

– Я называю ее сестринской.

– ?..

– Эта комната Сары с Дорой. А когда-то давно была моей. Грезил в ней о кафе-шантанах и писал пафосные сионистские стихи. А что ты хочешь, если над моей детской кроваткой висел портрет Теодора Герцля .

«Сестринская» пахла пудрой и цветочными духами, школьниково-амбре, которое могло бы разметать несущуюся на врага конницу, до нее не добралось. Комната была узкой и высокой, как древние храмы, придерживающие будущее до того момента, когда ему суждено проявиться. Справа книжные полки до самого потолка и в углу круглая голландская печь – царица зимних завываний и ночного чтения до рассветных обмороков сна, слева – выход на второй балкон, который прикрывали тяжелые белые ставни, оставившие полукруглые следы на паркете.

Глядя на эти полукружья, я подумал о том, как важно иметь свой дом. А я вот оставил Мару без дома, мало того, сам был вынужден покинуть его, да что там покинуть? Бежать, как бежал когда-то из Самары.

Герлик еле поместился в одном из кресел между двух кроватей, предложил мне устроиться напротив – в таком же кресле, но

чуть шире, рядом со столиком-вертушкой, на котором стояли па-
лехская шкатулка с откусанным краем и индийская пепельница.

Закурив, Герлик сказал, что никак не ожидал встретить меня в Баку.

– И тебя я не ожидал здесь повстречать, друг мой. – Я достал папиросу из своего любимого, через две войны прошедшего кожного портсигара. Дунул в гильзу, приняв бока.

– Вышла история, пришлось срочно покинуть Москву.

– Надо же, какое совпадение. – У меня обломалась последняя спичка в коробке.

Герлик моментально протянул мне свой коробок – шершавый, с нарисованным без затей красным апельсином. Роль младшего брата не тяготила его, он к ней привык настолько, что даже неважно было, где сейчас Соломон.

– А у тебя-то что? – Златогривый баловень судьбы снял очки и по-детски, будто просыпаясь, потер глаза. Потом обвел глазами комнату, точно в нее только что влетела бабочка.

– Натана взяли. На Мару дают из-за Карла.

– Карл влип, я тебе так скажу, – сказал Герлик.

Я увидел на кровати книжку. И просто из любопытства, не поднимаясь с кресла, дотянулся до нее, посмотрел на обложку – «Очертя голову». Вместе с «Рождением кино» на французском эта книга лежала и на Марином письменном столе. Я бросил обретенного крылья Леона Муссиака назад.

– Мару отовсюду гонят. Снимать не дают. Меня перестали печатать, даже рецензию на клюевский сборник в «Москву книжную» хотели завернуть. А ты? Какими ветрами в отчую гавань?

– Не поверишь. – Герлик водрузил на нос очки и поморгал новыми все видящими глазами. – Назвал в газете остров Хайлуото нашим.

– А на самом деле?

– Финский, конечно. Их посол в ужасе нашему звонил, наш в не меньшем – Мехлису. Лев Захарович меня на ковер: «Вы экзамен по географии будете в школе держать! Пока пятерку не принесете мне на стол, в “Правду” не пущу ни одного вашего текста».

– И как?

– Пятерку мне бы смастерили только так, если б об этом чертовом острове не узнали выше Захарыча!..

– Звонил Соломону, что ли?

– Естественно. Отправил ко мне двоих своих битюгов в кожаных пальто до пят. Посадили в машину и на вокзал... Даже зубную щетку и порошок взять не успел. С Тамарой не попрощался. Все выглядит так, как будто я от нее сбежал.

– Ладно, ты тот еще географ, а редакторы ваши куда смотрели?

– На южные моря, куда еще им смотреть. Соломон вроде как все уладил, поговорил с Мехлисом, но ты же понимаешь...

– Понимаю... – и тут вдруг меня накрыла темная туча. – Вот только понять не могу, как мы с тобою встретились.

Герлик поморщился точно так же, как поморщился Шмуэль Новогрудский, когда в комнату вошел Школьник.

– Ты о чем это?

Я глянул на него и туча моментально рассеялась.

– Прости. Несет... – и мне показался золотистый обмет вокруг Герликовой головы.

– Ничего, бывает, – сказал Герлик в меру утешительным голосом, правда, после смягчился: Торговая, она и есть Торговая, не в этот день, так в другой – непременно бы встретились. Как тебе Ляля?

– Сам ведь все знаешь.

Герлик деликатно вздохнул, надул и без того пухлые мамины губы:

– Вот забудется советский остров Хайлуото, и придется возвращаться назад – в Москву.

– Почему придется? – я затушил папиросу, поднялся первым на правах старшего. – Можно и не возвращаться.

– Можно. Конечно, можно, – но нельзя. – Встав, Герлик, погладил себя по намечающемуся брюшку. – Тамара!..

– Ну ты и Казанова! Слышал, позавчера закон об абортах приняли?

– Я уже неделю газет не читаю, радио не слушаю. А ты чем заниматься собираешься? Надолго в Баку?..

Я поделился своими новостями в телеграфном стиле.

– Выходит, местного Шолохова тебе подыскали. А «бригадир» из местных или тебя прочат?

– Мне пока что ничего не прочат, я вообще болтаюсь на тонкой ниточке.

– Все мы на тонкой ниточке. Надо переждать.

– Герлик, а почему ты не переждал в Вене? – он открыл дверь в гостиную и мы вышли из «сестринской».

– А ты почему в Фонтенбло?

Посмотрели друг другу в глаза, будто впервые осознали, как много знаем друг о друге и какую опасность это может представлять для него и для меня. И как это часто бывает с болтающимися на тонком волоске, мы вдруг рассмеялись, отчего поднявшиеся из-за стола барышни с удивлением посмотрели на нас.

– Кажется, вы сплетничали, – сказала одна из трех нимф, от которой я не мог оторвать взгляда.

– Ни в коем разе, – Герлик подошел к столу, взял за горлышко бутылку, как гуся, глянул на этикетку, – Токайское... Ну, может быть, немножко совсем, о женщинах.

– Ах, о женщинах!.. – изломала бровь в показном недоумении княжна.

Когда мы расселись за столом вновь, Сарочка осторожно спросила, правда ли, что я много путешествовал, был командиром кавалерийского полка и что однажды мне спас жизнь ординарец-казак. Я, не показывая, что приятно удивлен тем вниманием, какое Сарочка проявляла ко мне, тем не менее, ее поправил: «Я был комиссаром полка, а Тихон, мой ординарец, спасший мне жизнь – кубанским казаком. К Михаилу Шолохову он не имеет никакого отношения. А еще...»

Вместо того, что передумал говорить, я хотел сказать, опять же главным образом для Сарочки, что пишу роман как раз о том времени, о той войне, но замешкавшись, упустил момент: Герлик предложил перебраться на соседний балкон.

– Что-то душно!.. И запах этот дурацкий!.. Мы как раз вчера с Сарочкой ковры на том балконе расстелили. Лиза, Ли-и-за!.. – начал звать горничную. – Куда она подевалась? Сара, иди, найди ее.

– Сам иди.

– Дора, иди ты.

– Сам иди.

– Никакого уважения. Вот если бы Соломон сказал...

– Ну так то же Соломон... – хором затагнули сестры. По-видимому, это была их домашняя заготовка, пользующаяся неизменным успехом.

О, если бы Соломон знал, что у меня творится сейчас на душе, он бы мне припомнил не только, как Татьяну из петли снимал из-за меня, немедленно разрядил бы свой именной «наган».

*Издательство «Ам Левадад»
представляет новые книги:*

Нафтоли Шрайбер «Сынок, женись на еврейке!»

Уникальная попытка раскрытия темы смешанных браков и их влияния на судьбу еврейского народа.

Именно смешанные браки изменили еврейскую историю больше, чем все погромы, наветы и газовые камеры вместе взятые.

Асаф Бар-Шалом «Воспоминания о прозелите»

Неповторимый колорит и восхитительная аура Риги придают особое очарование этому трогательному, искреннему, порой неожиданно острому и резкому, но даже в мелочах честному и правдивому повествованию.

Это книги, которые даже неевреям будут интересны, а евреям – необходимы!

По вопросам приобретения книг: тел. +972-54-5229879 (возможны сообщения «Воцап»),
+972-58-6495000. Факс: +972-9-8911804. E-mail:
naftoli_shraiber@yahoo.com

Евгений Шварц

СКАЧЕТ КРАСНАЯ КОННИЦА

*...но из горящих глоток лишь три слова:
– Да здравствует коммунизм!*

Владимир Маяковский

*Нужно искать правду всюду, даже там,
где менее всего можно ее найти...*

Из дневника Сергея Лазо

*С души как бремя скатится,
Сомнение далеко –
И верится, и плачется,
И так легко, легко...*

Михаил Лермонтов

– Нет, не может быть, не может этого быть, – Матвей не заметил, что уже не говорит про себя, уже не шепчет, а произносит эти слова вслух, и их может кто-то услышать – кто-то, любой человек, случайно оказавшийся рядом. – Не может быть, не может быть, – он повторял эти слова раз за разом, – шпионаж в пользу Японии... – он не мог поверить в то, что его губы произносят эти слова, – участие в антисоветской организации правых, в военном заговоре, в каком-то военном заговоре... – он задышался. – Нет, не может быть, нет, не может быть, нет. Василий Константинович, как же так... Шпионаж – какой шпионаж, какой Японии, как же это?..

Он дрожал от холода – было уже начало марта, но весна, наступившая по календарю, еще не справлялась с зимой, кое где лежал снег, приходилось забиваться в самые дальние углы тем-

ных парадных, чтобы не замерзнуть, и чтобы никто не нашел, и не оставлять следов.

Этой ночью он не спал. Он нашел темную парадную, дождался ночи и поднялся на самый верх – там, где заколоченная дверь хранила пыльные чердачные тайны. Он сел на холодный пол, подоткнув под себя старую шинель, вжался в стену и слился с темнотой. Дрожащая от холода рука сжимала обрывок газеты – «шпионаж...», «заговор...», «антисоветская организация...» – ему было страшно. И – нет, невозможно было поверить, что Василий Константинович, его Василий Константинович, вдруг оказался шпионом. Он не мог быть шпионом, даже в страшном сне он не мог быть шпионом. Но сна не было, был только холод, холод ранней весенней ночи, который цепко пробирался под шинель, под кожу, и овладевал мыслями.

* * *

Вечером 15 августа 1918 года все собрались между высокими деревьями аллеи помещичьего сада. Кто-то сидел прямо здесь, на заросшей сорняком земле, большинство же стояли, крутили козы ножки, дым дешевой махорки клубился над головами. Перед собравшимися возвышался кирпичный особняк с белыми колоннами – массивный, справный, в таком бы пожить. «Под школу пойдет», – выдохнул кто-то вместе с махорочным дымом. Рядом пожали плечами. Между красноармейцами стояли деды, женщины с детьми на руках – местные рабочие пришли с семьями. Две керосиновые лампы, наспех прикрепленные к колоннам над стертymi ступенями крыльца, тускло освещали сад и кидали тени, раскачиваясь под порывами теплого ветра.

Наконец, появился Калмыков. Коренастый, с густыми усами и хитрым прищуром, он тяжело поднялся на крыльцо усадьбы. Под его глазами пролегла синева – отряд не спал уже несколько суток, затишья не предвиделось. Калмыков постоял немного, дожидаясь, когда стихнет гул и останется только ветер, пока неподвластный молодой еще Советской Республике, и заговорил, неожиданно громко: – Слово предоставляется Главкому Южно-Уральского отряда, товарищу Блюхеру.

И тогда по ступеням поднялся Блюхер. Мотающиеся на ветру керосиновые лампы то освещали его усталое лицо, то вновь скрывали его во внезапно опустившейся на сад ночной мгле.

— Товарищи, — начал он, и тогда даже ветер стих, давая слово главному, — наш Южно-Уральский отряд, состоящий из рабочих, крестьян и казаков, более трех месяцев ведет борьбу с белогвардейцами. Мы бились с ними на равнинах Оренбургских степей, бились с ними в Уральских горах, всячески стараясь преодолеть их сопротивление, разбить их, — стоящие внизу красноармейцы согласно кивали словам командира. — Но до сих пор мы не могли сделать этого. Белогвардейцы получили очень крупную поддержку в лице чехословаков и бывших офицеров. Буржуазия также не жалеет денег для оказания им помощи, — рябой красноармеец в сдвинутой на затылок буденовке, стоящий у самого крыльца, в сердцах сплюнул. — Мы убедились в том, что мелкими партизанскими отрядами нам не разбить нашего сильного противника, который имеет хорошо обученный командный состав, и он имеет возможность получать от буржуазии крупные средства для ведения борьбы с нами. Белогвардейцы спешно формируют свою сильную армию! Советская власть для них — бельмо на глазу!

— Так мы им глаз-то выьем, — послышалось с задних рядов. Красноармейцы засмеялись, где-то заплакал ребенок. Блюхер поднял руку.

— Белогвардейцы не могут примириться с тем, что у власти рабочие и крестьяне, — продолжил Блюхер. — Они не могут примириться с тем, что земли помещиков переданы крестьянам, что фабрики и заводы переданы рабочим, переданы пролетарскому государству. Они боятся потерять свои богатства, нажитые ими потом и кровью трудящихся — вашими потом и кровью...

— Хватит, — снова перебили его, — натерпелись. Попили нашей кровушки!

— Рабоче-крестьянское правительство сейчас организует свою армию, Красную армию, чтобы вступить в решительный бой с белогвардейцами, — снова заговорил Блюхер. — Но пока еще Красная армия не сформирована. Отдельные отряды рабочих и крестьян оказывают сопротивление белым отрядам, обороняются от них, но пока они еще не могут перейти в наступление.

— Наш отряд все время был оторван от регулярных частей Красной армии, — продолжал говорить он. — Мы не могли пополняться боевыми припасами, и поэтому нельзя больше оставаться в кольце белогвардейцев. Мы твердо решили прорвать его и соеди-

ниться с регулярными частями Красной армии. Кроме того, нам нельзя оставаться здесь в качестве партизанского отряда, потому что белогвардейцы в конце концов задушат нас.

– Мы идем, чтобы прорваться через кольцо белых, – говорил Блюхер. – Это – твердое намерение всего нашего отряда. Вам мы предлагаем присоединиться к нам. Помните, товарищи, что мы не принуждаем вас идти с нами. Решайте все это сами. Вот все, что я хотел вам сказать. Кто, товарищи, желает задать вопрос?

Сначала сад погрузился в молчание, и дети заснули на руках матерей, потому что вокруг была уже глубокая ночь. Потом, внезапно, все зашумели, замахали руками: – Никаких вопросов! Мы давно знаем про отряд Блюхера! Пойдем вместе! – И снова: – Хватит, натерпелись!

– Товарищи! – теперь уже руку поднял Калмыков. – Я буду голосовать наше решение. Кто за то, чтобы нам соединиться с Южно-Уральским отрядом и следовать вместе с ними?

Объединились единогласно: – Смерть палачам-белогвардейцам!

И уже через три дня был бой.

* * *

Слухов ходило много. Новости узнавали из редких газет, по большей части – белогвардейских, которые, конечно, ввали каждой строчкой – белые ввали каждым словом, каждым действием, даже в бою. Матвей вспоминал, как однажды, маленьким отрядом – шашки наголо, кони в поту – наскочили на белых – думали, что головной отряд, а оказалось, хорошо укрепленный район. Окопы под ветками – не заметишь. Хотели взять нахрапом, но атака захлебнулась, наткнувшись на пулеметный огонь. Матвей только потом понял, что слышит, как строчит пулемет, но пуль – нет. Лишь когда выбили белых, оказалось, что никакого пулемета и не было – белые крутили деревянные трещотки. Патронов тогда было мало и у них, и у нас, не до пулеметов, выделяли по пятнадцать патронов на брата, друг у друга одалживали – а потом отдавать надо, откуда? Так и бились.

Везде ввали – говорили, что Советы, куда приходят, национализируют женщин, всех. Крестьяне верили, крестились, приходилось переубеждать. Военком Шварцман так и говорил: – Кому ваши

бабы нужны? Никому, кроме мировой революции, за которую мы здесь все сражаемся! – Мужики согласно кивали в ответ, опять крепстились, но верили с трудом.

Все ввали, все переворачивали с ног на голову, потом очень тяжело было работать с местным населением. Ввали, распускали слухи. Когда Каюков и Енборисов увели двести конников, белогвардейцы вообще возгордились, будто красные сдаются.

– Кто к женам да матерям – за мной! – прокричал тогда Енборисов, до сих пор его крик в ушах стоит. И поскакали к Верхне-Уральску. Блюхер приказал открыть огонь, но не достали тогда их, только нескольких казаков покрошили. Доверия Енборисову никогда не было – у него отец служил начштаба у атамана Дутова, об этом все знали. Так старик своего сына-предателя сам наутро и расстрелял.

Матвей помнил, как будто это было вчера, перекошенное от гнева лицо Блюхера. Быстрым был на расправу Василий Константинович – быстрым, но справедливым. Предательства, ропота, шепота за спиной – не прощал. Нет, не мог он сам быть предателем, никак не мог.

Матвей закрыл глаза, но холод не уходил, и сна не было, а грязная рука сжимала обрывок газеты. И перед глазами стояли картины из такой далекой жизни – картины, которые он помнил, как будто это было вчера, как будто это длилось – длилось, не кончаясь, как будто это уже никогда не кончится, а будет продолжаться вечно. Мы на горе всем буржуям...

Какая Япония, какой заговор, какой шпионаж, кто предатель?

* * *

– Семенов является подлым предателем! – в мае 1918-го Лазо было двадцать три – совсем мальчишка. Да и все они были мальчишки, которым открылось видение светлого будущего. Нужно было только пережить Страшный суд, совершаемый их руками. Его, Матвея, руками.

– Он готовится к борьбе с нами, – говорил Лазо на собрании железнодорожных мастерских, и рабочие молча слушали этого мальчишку с горящими глазами. – На деньги империалистов Семенов закупает лошадей, оружие, прибегает к наемным войскам из деклассированных слоев населения... Семенов – это охотничья со-

бака, которую империалистические хищники натравливают на нашу страну, на страну Советов...

Рабочие согласно кивали. Надо было что-то решать.

Потом наступило лето – жаркое, полное кровавыми боями. Уши забивались комариным писком, были бессонные ночи, долгие переходы, стоны раненых. Наступавшие на пятки белочехи начали зверствовать – слухи об их жестокости ходили по деревням, передавались из уст в уста. Белочехи не жалели ни женщин, ни детей. Бронепоезд под командованием Лазо носился по области, пытаясь сдержать белых. Но тех было слишком много, и к осени решили – пора уходить в подполье. Сидели, сочиняли легенды. Местное население было за красных.

Их было мало, все разбежались по окрестным городкам, хорошились кто на квартирах, кто по заброшенным горищам. Лазо назвался чертежником – интеллигентный мальчик с пухлыми щеками, черные волосы, смуглое лицо, темные, поблескивающие глаза, немногословный – ему верили, он был совсем не похож на красного командира. В те дни виделись редко – приказы Лазо передавали устно. Чаще всего командира видел Булыга – скуластый парень с короткой стрижкой и ясным взглядом, ему не исполнилось и двадцати. Лазо ему доверял. Он часто бывал связным, пока не решили уходить в тайгу.

И вот тогда стало совсем тяжело.

Матвей помнил, как сидели вокруг костра – Лазо убил дикую козу и принес ее в огромном мешке, это было под Гордеевкой. К командиру тогда приехали жена с маленькой дочкой – женщину с ребенком белые не остановили, ей удалось пройти все посты. Сидели, ели жесткое козье мясо, ребенок спал на руках. Накрапывал дождь, и было непонятно, как жить дальше. И удастся ли выжить.

Лазо говорил про отца. Он редко рассказывал о себе, да и времени на разговоры не было, но, когда приходилось разговаривать, часто вспоминал отца. Он рассказывал, каким добрым был отец, и как потом этот человек стал меняться, как единственной мерой воспитания стало рукоприкладство. Лазо любил отца – так, как юноша любит человека, сделавшего его таким, каков он есть. Он любил его и ненавидел себя за то, что не успел с ним попрощаться – его отец умер в больнице для душевнобольных, и Лазо говорил, что, получив телеграмму, помчался в больницу, но не успел. И теперь его преследовало чувство вины.

«В минуту жизни трудную / Теснится ль в сердце грусть: / Одну молитву чудную / Твержу я наизусть, – чуть слышно шептал он, и эти слова странно звучали здесь – под дождем, в глухой тайге, в окружении лютых, смертельных врагов, на пороге самой смерти. – С души как бремя скатится, / Сомненье далеко – / И верится, и плачется, / И так легко, легко...»

Матвей помнил, какую жесткую дисциплину поддерживал в лагере этот интеллигентный мальчик, так любивший Лермонтова и сам писавший стихи, которые стеснялся показывать боевым товарищам – наверное, их видел только товарищ Туманов, но и тот хранил молчание, лишь сурово улыбался. Зато дисциплина была железной – солдата, который стоял на посту, сменяли каждые два часа, и он мог сойти с места только по приказу командира или... Троцкого, и никого больше. И ни один военный, будь он прямым начальником или занимая он высший пост, не мог давать часовой никаких приказаний. А сам часовой не имел права сойти с поста, пока не будет снят разводящим, хотя бы его жизни его угрожала опасность – а им всем тогда угрожала опасность. В военном училище Лазо научили – без строжайшей дисциплины победы не будет, и он – мальчишка, который, как и все они, грезил мировой революцией, – навсегда усвоил этот урок. Часовой не может на посту сидеть, пить, курить, если самовольно покинет пост – расстрел. Но никто не покидал пост, потому что понимали – вокруг бродит смерть, ее чувствовали кожей, смотрели ей в глаза, знали – она не отпустит никого.

И, когда в начале апреля 1920-го пришли японцы и залили землю кровью, они встретились с этой смертью лицом к лицу – все они.

* * *

Как же они врали, как же ненавидели новую, народную власть! В Спасском «расчувствовавшееся» кулачье вышло провожать добровольцев, а местный поп, подавив отвращение, отслужил молебен «с окроплением водой о даровании победы над чехословаками». Потом разведчики донесли, что, когда через поселок проходили части Дутова, тот же поп, лоснясь от удовольствия, отслужил еще один молебен, теперь – о даровании победы дутовским солдатам «с преданием большевиков анафеме».

Но поповская анафема была им не страшна. Страшнее было отсутствие патронов и раненые, которых возили с собой, куда бы не направлялись. Помню бой под Белорецком, когда белые налетели и начали теснить. Силы были неравны, белогвардейцы слетались со всех сторон, словно бабочки на пламя костра, и тогда из госпиталя, под который отвели одно из заводских зданий, стали на костылях, на четвереньках выползать раненые – они, в кровавых бинтах, брали винтовки и ложились прямо в дорожную пыль, а женщины из беженцев и работницы завода под пулями подносили боеприпасы в подолах платьев. Тогда удалось отбиться – конница во главе с помощником командующего товарищем Барановым зашла белогвардейцам в тыл.

А газеты белых писали, что вся Сибирь захвачена ими, что армия белогвардейцев пополняется добровольцами-сибиряками... Как же они врали, как же они ненавидели нас! Какими они были самоуверенными!

Когда стояли у Красного Яра, в расположение части вдруг въехал белый казак с важным пакетом и обратился к встретившим его солдатам:

– А где бы мне увидеть батальонного командира? – и даже не обратил внимание на то, кто был перед ним. Красноармейцы направили его к своему ротному, сказав, что он и есть – батальонный.

– Господин батальонный командир, – отрапортовал ему горький казак, – честь имею явиться. Разрешите вручить вам важный пакет! – и только после того, как бригадный позвал ротного, обратившись к нему «товарищ», казак понял свою ошибку, да поздно было. Но везло не часто.

Матвей помнил, как весной восемнадцатого года, ночью, они с Тумановым подошли к штабу – а ночь была такой густой, что на нее можно было опереться рукой. Вошли в штаб – Блюхер сидел с разбинтованной ногой, из которой сочилась кровь, а перед ним на столе, прямо на расстеленной карте, лежал револьвер, да пара гранат, да шашка в ножнах с золотым тиснением на ободах, и откуда-то из-за стены нервно стрекотала азбука Морзе. А перед ним на коленях стояли два черных, с всклокоченными бородами, атамана в барнаульских полушубках. Блюхер тогда повернулся к вошедшим, улыбнулся чуть заметно, и сказал, одними губами: – Не

встают, дураки, ломаются, думают – помилую. А я разговаривать с ними не хочу, пока не встанут.

И тогда встали атаманы и заговорили, но Блюхер перебил их и, указывая рукой на окно, сказал: – Там, под насыпью, повалено станционное упрямство – атаманы синие лежат, кончил я их сегодня. И вас, – сказал, – расстреляю, если утром столбы, шпалы и рельсы не будут на своих местах.

– Или вы признаете Советскую власть, или мы вас заколотим в гроб, – сказал он еще, а атаманы молчали, понуро глядя на свои хорошие сапоги. «Мир хижинам – война дворцам!»

И потом всю ночь Тургайская степь скрипела подводами – это казаки со станиц волочили растащенные рельсы, и клали шпалы, и вбивали в пропитанную кровью землю телеграфные столбы.

На утро, по свежему снегу, отряд уехал – Блюхер впереди, с перебинтованной ногой, после бессонной ночи, и отряд за ним. А за их спинами остались лежать семь атаманов в синем бархате и с черными бородами. Тишина стояла вокруг, и только где-то там, за штабом, сгружались красные эшелоны.

И сейчас эти картины кровью отдаются в мозгу, стоят перед глазами, как будто все случилось только вчера, и в ушах все еще свистит ветер Тургайских степей.

* * *

О том, что Сергея сожгли в паровозной топке, первым написал Туманов. Это было в самом конце двадцатых, или уже в тридцатые – рубеж двух десятилетий стерся в голове Матвея, и сейчас, подавленный холодом и каким-то необъяснимым, вдруг навалившимся глубинным страхом, он не мог вспомнить никаких подробностей того времени. Но помнил рассказы Туманова. И помнил свои воспоминания.

Еще-то в середине тридцатых Матвей встретил его в залитом солнцем центре столицы – заливчатая кепка, взгляд уверенного в собственном будущем человека, вечная папироса. Он не узнал Матвея. Матвей узнал его.

Матвей помнил его – этого крепкого рабочего парня, который, всей душой принявшего революцию – и самого ставшего революцией. Они были похожи друг на друга, хотя были такими разными – сумрачный, редко улыбавшийся Туманов, и лопоухий Булыга – его

Матвей тоже видел потом, в тридцатые, он стал важной шишкой, его портреты печатали газеты, – и простоватый Блюхер – их командир, всегда спокойный и не прощавший предательства и неподчинения: – Еще раз призываем вас к спокойствию и выдержке, – говорил он в самые страшные мгновения их общей жизни, и интеллигентный Лазо – когда-то, когда он был юным, он познакомился с девушкой Майей, которая говорила ему: «Поймите, Сережа, и вдумайтесь: не жизнь творит человека, а человек творит жизнь...»

Не жизнь творит человека... В начале апреля 1920-го пришли японцы и залили все кровью. Лазо и еще двоих увезли куда-то к Гнилому углу. Они не знали, как любили красноармейцы своего командира, как уважали его рабочие. 1 мая рабочие вышли на демонстрацию с требованием освободить арестованных – демонстрацию разогнали нагайками, а пленных казнили – двоих расстреляли, Лазо сожгли живьем. Матвея не было при этом, но он до сих пор слышал сдавленный крик. Помнить и мстить...

Матвей слышит его, сидя на холодном полу и сжимая в руке обрывок газеты. Он помнит его лицо, помнит его тихий спокойный голос, когда он рассказывал о своем детстве – о том, как любил заглядывать в колодцы, как любил смотреть на разрытую землю – на землю, с которой как будто сняли покровы.

– Во мне клокотало великое чувство жизни... – говорил он, и, сидя на холодном полу, Матвей слышит эти слова.

* * *

Я вжимаюсь в стену, в моей руке дрожит обрывок газеты. Я пытаюсь заснуть, но перед моими глазами стоят картины тех боев, и бескрайние степи, и тайга, и я слышу спокойный голос Сергея, и я слышу отрывистые команды Василия Константиновича, и я слышу смех Туманова, и я вижу преданный взгляд Булыги, и я вижу, как Калмыков, довольный ночным голосованием, спускается по стертым ступеням помещицкой усадьбы.

Я все помню. И ко мне никогда не придет сон, и ни что не заставит меня забыть.

Мне холодно – холодно и страшно. Но во мне клокочет великое чувство жизни.

Кругом враги, и они задушат нас.

Я жду, когда пройдет ночь. И так легко, легко...

Этот текст основан на реальных событиях, однако его герои являются вымышленными, хотя некоторые из них обла- дают сходством с историческими личностями. В тексте ис- пользованы мотивы и прямые цитаты из рассказа Николая Костарева «Короткий разговор» (1931), книги Михаила Голубых «Уральские партизаны» (1924), дневников и писем Сергея Лазо.

Сергей Лазо был расстрелян в японском плену в мае 1920 года. Считается, что первым о «сожжении в паровозной топке» написал Николай Костарев.

Александр Дутов был убит агентами ЧК к Суйдуне (Китай) в ходе спецоперации 7 февраля 1921 года.

Михаил Калмыков был арестован и расстрелян в мае 1937 года «за измену Родине».

Василий Блюхер был забит насмерть во время допроса на Лу- бянке в ноябре 1938 года, спустя четыре месяца он – посмертно – был приговорен к высшей мере наказания «за шпионаж в пользу Японии, создание военного заговора и участие в антисоветской организации правых».

Николай Костарев (Туманов) был арестован в 1939 году – дальше его следы теряются: скорее всего, он был расстрелян или умер в лагерях.

Григорий Семенов был казнен через повешение в Москве 30 августа 1946 года.

Александр Фадеев (Булыга) застрелился 13 мая 1956 года на своей даче в Переделкино.

Яков Шехтер

СЛУГИ ДЬЯВОЛА

Четвертая глава романа «Бесы и демоны»

Это история произошла задолго до того, как богач Лейзер полностью разорился и пошел странствовать по еврейским местечкам Галиции с протянутой рукой. И начинается она не с кунштюков и фармазонства пройдохи Лейзера, а с горькой судьбы нищего водовоза.

Курувский водовоз Тевье постоянно сутулился от бесконечного сидения на козлах телеги с бочкой. И, тем не менее, его лицо не покидало мечтательное выражение, идущее вразрез с чуть печальной улыбкой и сухими, словно выплаканными глазами.

Профессия водовоза мало способствует мечтательному развитию характера. Конечно, бывали в работе Тевье минуты, когда, отпустив поводья и дав лошадке волю самой брести по давно известной ей дороге, он мог унести мыслями в заоблачные дали.

Но сколько их там было, тех спокойных минут?! Начерпать полную бочку, а потом ведрами перетаскать воду в кадушки домохозяев, мокрое и хлопотливое занятие. Летом еще туда-сюда, а зимой, таская дымящуюся воду из полыньи, без конца разбивая ломом лед и пытаясь согреть дыханием стынувшие пальцы, особенно не размечтаешься.

И знаете, сколько платят за эту каторгу? Чтoб нашим врагам всю жизнь так платили! Скучно жила семья Тевье, ни тебе обновок девочкам на Пейсах, ни сладостей в Пурим, ни справной обуви мальчикам перед Рош а-Шоне. Другой бы на его месте давно сник и погряз в заботах, другой, но не Тевье! Когда покупатели спрашивали:

– Ну, как сегодня настроение у пана водовоза?

Он всегда отвечал:



Александр Канчик, "Водовоз".



Ирина Маулер, "Новый год".

– Утром встал здоровым, поехал на работу, есть силы таскать ведро – все остальное – подарок Всевышнего.

Вышло так, что основными заказчиками Тевье были поляки. Вы думаете, будто в Куруве жили одни евреи? Вовсе нет! Для проезжающих и проходящих, Курув, безусловно, выглядел еврейским местечком, со всеми вытекающими отсюда достоинствами и недостатками. Но помимо полутора тысяч евреев в нем проживали еще две тысячи поляков, русских, русинов и украинцев.

Вот для них-то Тевье и возил воду. А что, иноверцы люди, не хуже евреев! Они точно так же хотели пить, умываться и варить. Почти все беднее бедного, подстать Тевье, тяжело добывали свой хлеб, с трудом расставаясь с медными монетками.

Работу свою он делал честно. Чтобы набрать самую чистую воду Тевье уезжал далеко от города, вверх по течению Курувки. Когда-то он заплатил плотнику и тот вместе с ним соорудил мостки, доходящие почти до середины речки. Ну, середина, громкое слово! Всей речки там было саженой десять, а глубины до шеи, не утонешь.

Зато черпал Тевье воду без прибрежной тины, листиков и прочей мути. Чтобы наполнить бочку приходилось не один десяток раз пробежать по мосткам туда и обратно. Но покупатели его ценили, предпочитая Тевье другим водовозам.

Увы, доходы от такого ремесла выходили не абы какие, и если бы Тевье не работал от восхода до заката, не смог бы поднять семью. Даже в пятницу, когда евреи давно грели кости и чистили душу в бане, он еще громыхал на своей телеге или скрипел полозьями саней. Панам, паненкам и панночкам нужна была вода, много чистой свежей воды.

Но и на это ярмо, на эту каторгу нашелся завистник. Жил в Куруве поляк Янек, бездельник и лоботряс. Любое дело, за которое он брался, валилось у него из рук. И после каждой неудачи он бежал в шинок, заливать горе. Пил он не больше других, в Куруве и вокруг так пили все. От тяжелой работы и беспросветной жизни только и есть радости, что залить и забыться.

Денег у Янека сроду ни водилось, и шинкарь, пан Юзеф, сначала наливал в долг, а потом стал снимать с него то шапку, то рукавицы, то полушубок. Подступала осень, а у Янека не осталось в чем выйти на улицу.

– Пане Юзеф, – взмолился он, когда лужи у шинка стали по утрам покрываться тонкой корочкой льда. – Верни одежду, я в твоём хозяйстве отработаю.

– Да ты отработаешь, – презрительно хмыкнул шинкарь. – Себе дорожке выйдет, наделаешь делов. На что ты пригодный, разве воду на тебе возить?

– Воду возить? – Янек встрепенулся, словно услышав зов далекой трубы. – А действительно, чем не работа? Налил, привез, вылил. С лошадей и телегой я управляться умею, черпать могу. Почему нет?

– А лошадь тебе кто доверит? – хмыкнул пан Юзеф.

– Да уж найду. Мир не без добрых католиков, помогут, не все ведь такие бессовестные дьяволы, как шинкари!

– Это я еще бессовестный! – возмутился пан Юзеф. – Другой бы на моем месте шкуру с тебя за должок спустил!

– А ты разве не спустил? – вскричал Янек. – Зима на носу, а ты оставил меня в одной рубашке. Жид бы так не поступил!

– Кстати о жидях, – заметил пан Юзеф. – Воду по Куруву развозит еврей Тевье. Почему? Пусть он своих вонючих соплеменников обхаживает, а не чистых католиков. Вот заberi у него промысел, и будет тебе заработок со мной расплатиться.

– Да как его забрать? Жид годами воду возит, все к нему приехали.

– Ну, это как раз не сложно, – хмыкнул пан Юзеф. – Могу научить.

И от щедрости натуры и хорошего настроения, осенившего благодаря пришедшей ему в голову мысли, он щедро налил себе и Янеку, хрустко заел соленой капустой, налил еще по одной и принялся излагать план действий.

Тем летом в Курув прислали нового ксендза. Старый, отец Михал, получил епископство. Он к евреям относился доброжелательно, иногда его даже видели прогуливающимся вместе с ребем Михлом на околице Курува, по длинной тенистой аллее, с которой начиналась дорога на Люблин. Что они там степенно обсуждали, или о чем вежливо спорили, так и не стало известным. Но сам факт этих прогулок весьма благотворно влиял на атмосферу в городе, как и многочисленные шуточки по поводу сходства имен двух жителей разных вер.

И вот приехал новый ксендз, отче Вацлав, выпускник духовной семинарии в Пшемысле, воспитанник иезуитских наставников. Запальчивый и горячий, вылепленный совсем из другого теста, чем отче Михал, он с первого дня искал точку приложения своей исто-
вности. Искал и не находил. На этом и решил сыграть шинкаря.

И с размаху угодил на старую мозоль или открытую рану. Выслушав историю жида Тевье, отнимающего заработок у католика, отче буквально взвился..

– В моем приходе такого не будет! – повторял он, нервно бегая по комнате. – Я не допущу! Я не позволю!

Прошло четверть часа, пока отче Вацлав успокоился и взял себя в руку.

– Идите с миром, пан Юзеф, – сказал он, отпуская шинкаря. – И передайте Янеку, что святая церковь заботится о своих детях и не дает их в обиду.

В ближайшее воскресенье, во время службы в костеле, ксендз выглядел взволнованным. Перепрыгивая через ступеньки, он взлетел на кафедру для произнесения проповеди. Его черная сутана, схваченная вокруг тонкой талии фиолетовым кушаком, развева-
лась, точно флаг на мачте пиратского корабля.

– Братья и сестры! – поначалу голос ксендза дрожал и прерывался, но с каждым словом набирал силу.

– Жизнь тяжела, а хороших христиан мало. Все мы погружены в свои заботы, дышим отдельным воздухом и почти не замечаем того, что творится вокруг. Но святая церковь стоит на страже, ее долг, ее обязанность, будить спящих, не давать будням стирать память о главном!

Ксендз сделал паузу и обвел внимательным взором притихшую паству. Прихожане воспринимали воскресную проповедь как перерыв в длинной литургии. Двадцать минут отдыха, когда под монотонный голос священника, толкующего о Езусе, долге, и еще, и еще, и еще, можно подумать о предстоящих делах, помечтать о чем-нибудь хорошем и добром или просто сладко вздремнуть. Но сейчас, судя по взволнованному тону ксендза и по зачину проповеди, предстояло нечто необычное.

– Я обязан всем напомнить, – продолжил отче Вацлав, вздымая правую руку так, словно в ней был зажат разящий меч. – Евреи и дьявол – тесные союзники. Кто из них хозяин, компаньон или

слуга – не имеет значения. Поглядим правде в глаза и перестанем увиливать от прямого ответа. Скажем его хоть раз, самим себе: еврей – это дьявол. Вернее – дьявол и есть еврей. Многих христиан совратил он с пути истинного. Через пагубные советы евреев не одна душа низринута в геенну огненную.

Доказательства? Вам нужны доказательства – пожалуйста. В их же собственных книгах написано, что царь Соломон повелевал демонами. Это неоспоримый, всеми признаваемый факт. Евреи, будучи подданными Соломона, служили ему вместе с демонами. Сослуживцы, ха-ха-ха, – и ксендз демонически расхохотался.

Нет, сегодня на проповеди никто не спал, Никому не пришли в голову сладкие мечты, и даже мысли о предстоящих завтра хлопотах тоже отодвинулись далеко в сторону.

– Вместе служили, – гремел ксендз, – многое переняли, многому научились. Поэтому когда пришел настоящий искупитель, – голос ксендза поднялся ввысь, – они его не признали. Да и могло ли быть по-другому, разве может бес и его друг, сообщник, компаньон признать Езуса? И это первое мое доказательство.

Отцы церкви давно объяснили нам, что на земле существуют одновременно два царства: Езуса и дьявола. Все люди принадлежат либо к одному, либо к другому. И это не символическая аллегория добра и зла, а непререкаемая реальность. Скажите мне, добрые католики Курува, к которому из царств принадлежат евреи? Найдется ли среди вас хоть один, способный причислить их к царству Езуса?

Ксендз замолк и снова вопрошающе обвел взором паству. Все молчали, напуганные прытью нового священника. От предыдущего им никогда не доводилось слышать ничего подобного. Отче Вацлав призывно постучал костяшками пальцев по краю кафедры.

– Нет, ни одного не отыщется, – удовлетворенно произнес он, и тут же подняв голос до фальцета, продолжил. – Да и откуда ему взяться, если сами евреи категорически, открыто и на протяжении веков не признают Езуса! Сколько с ними бились, сколько пытались объяснить, доказать, заставить наконец. И все бесполезно. Вот вам еще одно доказательство их сотрудничества с дьяволом!

Мы – чада Божьи, они же вредоносные твари. Можете быть уверены, будь у них такая же власть над нами, как сейчас у нас над ними, ни один католик не прожил бы и года!

Кроме Сатаны нет у христиан более опасного противника, чем евреи. Не бывало еще достаточно широкого пространства, чтобы всего несколько десятков евреев не провоняли его своим зловонием и неверием. Да, они смердят, и мы все это хорошо знаем, воняют, как козлы. Они смердят потому, что предали Езуса, не уверовав в спасителя. И были наказаны зловонием за этот грех на веки вечные!

Знайте же, что дурной запах и неверие всегда идут рука об руку, они две стороны одной медали. Святость благоухает, а демоны смердят. Есть десятки свидетельств того, как евреи после крещения немедленно начинали источать аромат, слаще амброзии, благоухание которой окружает чело, помазанные священным маслом.

Святые власти города Буда постановили, что подлые, упрямые, смердящие предатели Езуса, должны платить отдельный налог за свое вонючее вино. Вино! А вода! Вода, которую каждый христианин употребляет каждый день? Разве она хуже вина? Разве эти подлые твари не портят ее своим прикосновением?

Нельзя использовать воду, начерпанную грязными руками! Нельзя! Я знаю, многие из вас не обращают на это внимание, снисходительно пропуская мимо ушей все предупреждения. Но если однажды утром эти доброхоты обнаружат, что у них начал пробиваться хвост, пусть не спрашивают, за что и почему. Не я это придумал, я только передаю вам, любимые мои прихожане, мнение святой церкви. А дальше пусть каждый из вас поступает по своему христианскому благоволению и пониманию.

По завершению мессы, когда ксендз приходил в себя в боковом покое костела, к нему осторожно зашел староста. Лицо его выражало почтительность, смешанную с желанием что-то сказать.

— Говори, Войтек, — сразу произнес ксендз, считавший себя неплохим физиономистом. — Что тебя гнетет?

— Отче, — староста откашлялся и смущенно продолжил. — Вот вы говорили про евреев. Не сомневаюсь, в общем и целом это верно. Но мы тут, в Куруве, живем с ними бок о бок, который десяток лет и не замечали с их стороны никаких сатанинских штук.

— Если вы их не видели, — сухо ответил ксендз, — это еще не означает, что их нет. Скорее всего, они хорошо маскируют свои козни, а вы, наивные добрые христиане, объясняете ущербы и бо-

лезни природными обстоятельствами. Если святая церковь считает евреев колдунами и магами, портящими урожай на корню, мечтающими осквернить гостию и ставящими целью уничтожение истинной веры, как ты, староста Войтек, осмеливаешься утверждать противоположное?

– Нет-нет, что вы, отче, – побледнел староста. – У меня и в мыслях такого не было! Как я могу идти против святой церкви? Я только хотел сказать...

– Ты уже все сказал, – оборвал его ксендз. – Даже более чем все. А теперь иди с миром.

В понедельник утро выдалось прохладным. Свежая погода, промозглая, серая, со свинцовым небом и студеной, обжигающей пальцы водой в Курувке. Но Тевье ни на йоту не отступил от привычного распорядка, и еще до света, когда хозяйки только начинают разводить огонь в печах, уже громыхал по булыжной мостовой города.

Он всегда развозил воду по одному и тому же маршруту, от одного постоянного покупателя к другому. Ему не приходилось даже править лошадкой, та давно выучила дорогу и сама останавливалась у нужной калитки.

Улицы Курува составляли отдельные домики, отгородившиеся от чужих взоров забором и палисадником, большие каменные дома были только на центральной площади.

Подъехав к первой калитке, Тевье привычно провел кнутом по штакетнику, это был его сигнал, хорошо знакомый хозяевам. Прошло несколько минут, но калитка не отворилась.

«Спят они, что ли, – подумал Тевье. – Или уехали куда?»

Он повторил сигнал, но с тем же результатом. Из трубы серой струйкой поднимался дым, пахло стряпней, хозяева явно были дома. Не поняв, в чем дело, Тевье двинулся дальше.

Но ворота не отворились ни во втором доме, ни в третьем, ни в четвертом. Только спустя час кто-то из доброхотных поляков объяснил ему, с чем связан столь внезапный отказ от его воды. Четверть часа Тевье сидел, опустив руки, не зная, что делать. Со случившимся невозможно было ни бороться, ни спорить.

Ему было обидно, обидно до слез. Как могли люди, столько лет его знавшие, перекидывавшиеся с ним шуточками, поздравлявшие с еврейскими праздниками и принимавшими поздравления со

своими, как они могли с такой легкостью поверить, будто он слуга дьявола? Бегать по Куруву и показывать, что у него нет рогов и хвоста? Смешно!

Не смешно, а горько! Добрые соседи, старые покупатели, разом оставили его без заработка, а себя без воды. Интересно, а как же они обходятся без услуг водовоза?

Загадка разрешилась очень скоро. Тевье буквально нос к носу столкнулся с Янеком, с довольной ухмылкой развозящего на телеге с огромной бочкой воду его постоянным покупателям.

– Ты что делаешь? – возмутился Тевье. – Я почти двадцать лет тут работаю, это мои покупатели, а не твои!

– Пошел вон, жид пархатый, дерьмом напхатый, – сатанински ощеряясь, заорал Янек. Он щелкнул кнутом и поехал дальше, оставив Тевье наедине с бедой. Делать было нечего, надо было соображать, как жить дальше.

На следующий день ксэндза посетил сам пан Анджей Моравский. Первый раз, до сих пор недосуг было владельцу Курува и окрестностей встретиться с духовным пастырем. Ксэндз давно ждал этого визита, отношения со всемогущим паном, к тому же известным самодуром, во многом определяли успех его миссии. Или неуспех. Поэтому он загодя приготовил целую речь, проиграл в уме возможные возражения со стороны Моравского, и решил держаться твердо, но сердечно, как и подобает духовному наставнику, наблюдающему за страстями мирян с высоты церкви.

После вежливого обмана приветствиями и заверениями во взаимном уважении пан, не церемонясь, взял быка за рога.

– Отче, хм-гм, как бы это точнее выразиться, – Моравский сделал вид, будто замялся. Но актер из него был никудышный и было видно, что он прет к намеченной цели как тот самый бык, за рога которого он ухватился.

– Не мне указывать представителям святой церкви, что и как говорить прихожанам во время воскресной мессы, – пан пытался говорить спокойно, однако в его голосе явно слышалось раздражение. – Но все же я бы попросил вас, отче, осторожнее относиться к еврейской теме. Упаси Боже, я никоим образом не намерен диктовать вам темы проповедей, но мне, как владельцу Курува, не нужны в городе беспорядки, побои, убийства и еще черт знает что. До сих пор все было тихо, вот я и хочу, чтобы и дальше так продолжалось.

– Дорогой пан Анджей, – ксендз прошел хорошую школу у воспитателей иезуитов, поэтому его голос звучал мягко, и даже вкрадчиво. – Нас, служителей церкви, вдохновляет только Езус, и он вкладывает в сердца и уста священников то, о чем хочет поведать пастве. Вы так давно живете в Куруве, так привыкли к сложившемуся порядку вещей, что перестали обращать внимание...

– Ладно, ладно, – бесцеремонно прервал ксендза Моравский. – Ваш предшественник, отче Михал, прожил тут не меньше моего, и тоже, по-вашему, ничего не замечал? Уж не эта ли близорукость помогла ему стать епископом? А вы, дорогой отче Вацлав, похоже, приехали сюда, дабы вскрыть допущенные епископом ошибки и выставить их на всеобщее обозрение?

Такого оборота ксендз не ожидал. Вся заготовленная им речь оказалась ни при чем. С паном, в принципе, можно поспорить и даже повздорить, пан, хоть и всесильный, еще не Господь Бог, и даже не епископ. Не раз и не два бывало, как указ епископа ставил на место зарвавшегося шляхтича. Но епископом-то в данном случае был никто иной, как сам отче Михал, так что рассчитывать на его поддержку не приходилось. Кроме того, начинать свое пребывание в Куруве с конфликта ... нет, никакие жида этого не стоили.

– Я рад, – торжественно произнес ксендз, – что нашел в вашем лице не просто богатого землевладельца, но истинного отца своим поданным, причем всем, независимо от вероисповедания. Мне очень по душе ваш порыв, дорогой пан Анджей, и я не могу не считаться со столь ярким проявлением истинно христианского милосердия, прощающего даже самого заклятого врага.

Беседа завершилась обменом любезностями, в дальнейшем ксендз резко сбавил тон и столь пламенно о евреях больше не высказывался. Однако Тевье остался без годами накатанной работы, и без скудных, медных, мокрых, но все-таки денег! И с этим что-то надо было делать.

Причем очень быстро, ведь старшая дочь Тевье уже обручилась. Обещания были даны, обязательства приняты, но во время обручения о предстоящей проповеди ксендза никто не мог догадаться. А сейчас... сейчас свадебные расходы были безработному Тевье уже не по карману.

И что прикажите со всем этим делать? Разрывать помолвку из-за денег, рушить счастье любимой дочери?

Поговорив с женой, он оставил Курув и перебрался в Казимеж, еврейский район Кракова. Разумеется, золотых гор там ему никто не сулил, но человек, готовый работать с утра до вечера за гроши, всегда найдет себе место.

Как он прожил полгода лучше не спрашивать. И так понятно, плохо прожил. Без семьи, в чужом городе, собирая грошик к грошику, экономя на всем, что можно и нельзя. От тоски Тевье спасался работой. Вваливал на себя еще и еще, уходя из дешевой конурки под самой крышей до рассвета, а возвращаясь к полуночи. Сил хватало только заползти по крутой лестнице, раздеться, произнести благословения и рухнуть в постель.

Тяжелее всего приходилось по субботам. Некуда было деться от беспокойных раздумий, лица жены и детей постоянно маячили перед мысленным взором. Тевье узнал, где какие уроки по субботам и бегал из одной синагоги в другую, лишь бы не оставаться наедине с самим собой.

Но даже под мерный голос раввина, толкующего сложный комментарий, ему приходилось обеими руками выталкивать из своего сердца тоску а из головы тревожные мысли. Плохо, плохо быть бедным и одиноким. Особенно, когда целую жизнь прожил в своем домике, окруженный близкими людьми, зарабатывая на пропитание пусть тяжелым, но честным трудом. Бессмысленный вихрь злобы, дьявольское наваждение одним махом разрушило созданный им мир, растоптало его без всякой разумной причины, без какой-либо вины со стороны Тевье.

Медленно, скрипя и раздирая до крови ноги в стоптанных сапогах, прошли полгода. Одним вечером Тевье извлек из укромного места торбочку с монетами, пересчитал, не поверив, пересчитал еще раз и, убедившись, что счет правильный, шепотом произнес:

– Все! Хватит!

Следующим утром он спокойно помолился не в самом первом миньяне, обошел своих работодателей и вежливо распрощался. Его упрашивали погодить, обещали увеличить жалованье, сулили золотые горы, лишь бы он остался. Еще бы, найти добросовестного работника, за сущие гроши тянувшего без слова жалобы такую лямку, было совсем непросто, а вернее, практически невозможно.

Но Тевье был непреклонен. Его хлопали по плечу, благодарно жали руку, дарили на прощание монеты, золотые и серебряные, вместо медных, которыми с ним расплачивались эти длинные месяцы в Казимеже.

Покончив с делами, он отправился искать балагулу до Курува. Путь не близкий, двести семьдесят верст, даже на повозке получается несколько дней в дороге. Тевье бы пошел пешком, чтобы сэкономить плату за проезд, но идти одному с торбочкой, плотно набитой монетами, было рискованно. Хоть дорога от Кракова в Казимеж вполне безопасна, даже в безопасной местности иногда попадаются сомнительные личности. А подвергать опасности с таким трудом заработанные деньги Тевье не хотел.

И послал ему Бог удачу. Прямо на Широкой, центральной улице Казимежа, он нос к носу столкнулся с Лейзером из Курува. Не то, чтобы они были дружны, или приятельствовали, но, как говорится, на чужой сторонushке рад своей воронushке.

– Так ты в Курув собрался! – вскричал Лейзер, выслушав короткий рассказ Тевье. – И я туда же, везу полную телегу кошерного вина. Вот, как раз ищу, кто бы присмотрел за бочками. Не хочешь? Проезд бесплатный.

– Конечно, хочу! – радостно воскликнул Тевье.

Он был уверен, что Всевышний так воздает ему за усердное посещение субботних уроков, или за страстные молитвы, или за строгое соблюдение законов кашрута. Хотя, честно говоря, их совсем несложно было соблюдать, питаясь сухим хлебом и чаем. На самом деле Лейзер изрядно на нем сэкономил, ведь по условиям поставки кошерного вина он был обязан нанять специального сопровождающего.

И потянулись, поплыли справа и слева холмы и поля Галиции. Четыре лошади медленно тянули тяжело груженую большую телегу. Бочки с вином были аккуратно уложены, крепко привязаны и закрыты серой дерюгой. Со стороны трудно было угадать, что скрывается под тканью, как и требовалось по правилам доставки кошерного вина. Коляска с Лейзером следовала за телегой, и вся процессия двигалась со скоростью похоронных дрог.

Тевье сидел рядом с возчиком. Работы никакой, знай себе смотри, да мотай на ус. А чего смотреть, возчик-поляк дело свое знал, лошади тоже, и под мерное покачивание телеги оставалось

только дремать. Возчик то и дело раскуривал короткую трубочку, обдавая Тевье клубами горьковатого дыма, и напевал себе под нос:

Слыш молитвы
Як же просимы
Дай на свеще
Збожний прыбэт
По живоце
Райский побыт

Дорога, по которой двигалась телега, то плавно поднималась к вершине приземистого холма, то медленно опускалась в очередную плоскую долину. Долины Галиции выглядели по-разному: одни поросли лесом, в других топорщилась луговая трава, третьи были тщательно и аккуратно распаханы. Со всех сторон горизонта ершились покрытые плотной шапкой лесов невысокие взгорья.

Обширная, дремотная Галиция: поля, болота, пахотные угодья, зеленые и желтые перелески под низким, покрытым кучерявыми облаками небом. Оно так близко, что, кажется, подними руку, и пальцы погрузятся в тучу. Не зря, ох не зря столько цадиков выбрали именно Галицию местом своего постоянного пребывания.

Но Тевье думал не о цадиках. В полудреме ему представлялось, будто он беседует со своими бывшими покупателями, причем сразу со всеми.

– Вот посмотрите на разницу между нами, – упрекал он поляков. – Вино, к которому вы прикасаетесь, нам нельзя пить. Но мы же не говорим, что из-за ваших пальцев оно стало ядовитым или вредным. То же самое вино, с тем же вкусом, крепостью и запахом, так же полезное для пищеварения и здоровья. Просто ваше касание переводит его из разрешенного в запрещенное. А это значит, что пропадает тонкая духовная субстанция, называемая святостью.

А вы, почему вы обвиняете нас в отравлении колодцев, переносе заразных болезней, убийствах ваших детей и еще дьявол знает в чем? Почти двадцать лет я возил вам воду. Каждый день, по разу, а то и по два. Кто-нибудь из вас отравился? Кому-нибудь стало плохо? Хоть один из ваших детей пропал? За что же вы оставили меня без заработка? Чем я провинился перед вами?

Молчали светлые поля, молчали тихие рощи, молчало низкое небо Галиции. Только колеса без усталости скрипели вечную песнь дороги.

Из-за всяких проволочек выехали из Кракова в среду, и субботу пришлось провести на постоялом дворе возле еврейского местечка. Прибыли загодя, Лейзер потребовал у корчмаря отдельный сарай с замком, чтобы ни одна живая душа не оказалась возле бочек и не испортила вино.

Запирал ворота в сарай Тевье. Очень хорошо получилось, ведь к деньгам в субботу прикасаться нельзя, а держать их в комнате – рискованно. Отдавать кошелек на хранение корчмарю он не хотел, мало ли...

Поэтому он спрятал между бочками свой кошелек, тщательно запер большой висячий замок, а ключ отдал Лейзеру.

Сходили в баню, окунулись в микву, чуть-чуть перекусили перед синагогой, чтобы во время молитвы не думать об ужине. Лейзер выпил два стаканчика водки и Тевье уговорил.

В синагогу не шли, а летели, точно ангелы. Все вокруг было прекрасным, и рдеющее вечернее небо с фиолетовыми полосами заката, и теплые окна домов, освещенные изнутри желтыми огоньками субботних свечей.

И поплыл, величаво двинулся с места день седьмой, знак вечного союза с Владыкой неба и земли, день покоя, умиротворения, простых радостей вкусной еды, долгого сна и неспешной, сосредоточенной молитвы.

Ключ все это время был заперт под подушкой у Лейзера. Но беспокойно было на сердце у Тевье, непонятно почему, а вот беспокойно. Ему чудилось, будто вор забрался в сарай, отыскал кошелек и утащил деньги. Тевье гнал от себя назойливое видение, повторяя, что сарай заперт, а кошелек заперт глубоко между бочек, но оно возвращалось и возвращалось.

Несколько раз Тевье выходил на двор и как бы ненароком прогуливался мимо сарая, проверяя, все ли в порядке с замком. Тот красовался на своем месте, новый, в массивном бронзовом корпусе. Один раз, не выдержав, Тевье даже подергал блестящую стальную дужку, проверяя, вдруг он взломан и висит лишь для вида.

Как только закончилась суббота, сразу после авдалы, Тевье взял ключ и, с трудом удерживаясь от бега, поспешил в сарай. Замок был в целости и сохранности, трогая при свете луны его холодный, прочный металл, Тевье немного успокоился. Подойдя к

телеге, он отвернул дерюгу, засунул руку между бочками и сразу нащупал кошелек.

Ох, слава Тебе, Господи, какое облегчение!

Он стал вытаскивать кошелек и задрожал от ужаса. Тот был легким, слишком легким, невозможно легким и на ощупь пустым. Выскочив из сарая, Тевье поднес его к глазам и сразу понял, что предчувствия его не обманывали.

В кошельке ничего не было. Дрожащие пальцы нащупали на дне несколько медных монеток, пропущенных вором или словно в насмешку, оставленных, как подавание нищему. Полгода тяжелой, каторжной работы пошли насмарку, полгода голодного существования в разлуке с семьей, одиноких, холодных ночей на жесткой чужой койке. И главное, что будет с его дочкой, его любимицей, ради которой он собирал эти деньги? Спасайте, ограбили, зарезали!

От обиды, несправедливости и отчаяния Тевье бил озноб. Но он постарался взять себя в руки и подумать, как такое могло произойти. Ведь вчера он лично проверил сарай и не обнаружил ни одной лазейки, ни одной возможности попасть внутрь, кроме ворот. Именно поэтому он решился оставить кошелек в телеге. Ворота надежно охранял массивный замок, а ключ лежал под подушкой у Лейзера. И тот все время был с ним, всю субботу...

Стоп! Тевье с беспощадной ясностью вспомнил, как вернувшись из бани, он сел читать псалмы перед тем, как отправиться в синагогу, а Лейзер вышел куда-то на четверть часа и вернулся с очень довольным видом.

– Это он! – прошептал Тевье. – Только он, больше никому. Но какое дьявольское злодейство, украсть у человека деньги, разорить, пустить по миру и всю субботу молиться вместе с ним, сидеть за одним столом, распевать субботние песни. До каких же глубин низости может опуститься душа?

Он запер сарай и пошел к Лейзеру. Предстоял тяжелый, нервный разговор.

Лейзер сидел в большом зале корчмы и по обычаю праведников сладостно вкушал трапезу исхода субботы. Хрустел, фыркал, восторженно охал, и даже сморкался от восторга.

– Надо поговорить, – наконец сумел вклиниться в этот праздник Тевье.

– Так говори, – Лейзер поднес ко рту мозговую косточку и принялся с хлопанием и свистом высасывать из нее содержимое.

– Хочу наедине, с глазу на глаз.

– Наедине, – зычно рыгнул Лейзер. – А зачем? Разве тут плохо?

– Плохо, – мрачно подтвердил Тевье.

– Хорошо, вот только доем, – согласился Лейзер и подал корчмарю знак нести следующее блюдо. Он доедал почти час, смачно, трубно, бесцеремонно. Сметя все, что было на тарелках, он омыл руки, и четверть часа вдумчиво произносил послеобеденные благословения. И чем дольше Тевье ждал, тем больше убеждался, что Лейзер намеренно тянул время.

Наконец они оказались вдвоем в пустой комнате. Лейзер, ковыряя в зубах щепкой, снисходительно поглядел на Тевье и буркнул:

– Ну, выкладывай, что там у тебя.

– Я прошу тебя, нет, я умоляю, – сдавленным голосом начал Тевье. – Я полгода копил каждый грош, не ел, не спал. Дочка ждет, замуж выйти, пожалей.

– Ты о чем? – удивился Лейзер. – А, деньги на свадьбу, конечно, что за вопрос, заповедь из Торы, помощь бедным невестам. Вот, – он вытащил из кармана золотую монету и протянул Тевье. – Только зачем весь этот пуримшпиль, наедине, с глазу на глаз.

– Да не о том я, Лейзер, не о том. Перед началом субботы я спрятал между бочками свой кошелек. Все отложенное на свадьбу дочери, накопленное, по грошику собранное. Сейчас пошел забирать, а он пуст, все исчезло. Умоляю, пожалей меня, пожалей мою дочь! Никто никогда не узнает, пожалуйста, верни деньги!

– Что? – Лейзер от изумления уронил щепку и задохнулся от возмущения. – Да как ты смеешь! Как ты мог такое подумать! Как тебе вообще в голову пришло будто я, богатый, солидный человек, позарюсь на твои жалкие медяки? Иноверец забрался в сарай посреди субботы, пока мы были в синагоге, и утащил деньги, а ты обвиняешь кошерного еврея?!

Сколько ни взывал Тевье к его сердцу, сколько ни просил – ничего не помогло, все просьбы соскальзывали с Лейзера, как дротик соскальзывает с обмазанного жиром щита. Так и не отдал. Да еще с криком, с возмущением! По его словам выходило, будто оскорбленный и обиженный не Тевье, а он, Лейзер, на честь и достоинство которого посмели покушаться.

– Ты порочишь мое доброе имя!– гремел Лейзер. – Это тебе, нищebroду и растяпе, все равно, что думают люди, а для купца доброе имя многого стоит.

– Так зачем же тебе его лишаться? – спросил Тевье, с трудом прервав гневный монолог виноторговца. – Если ты не вернешь деньги, я все расскажу.

– Да кто тебе поверит? – усмехнулся Лейзер. – И что ты расскажешь? Что, как полный идиот, положил свой кошелек на рога оленя, а тот возьми да сбегит? Нет, голубчик, никто тебе не виновен, в своем головотяпстве ты можешь винить лишь самого себя. Но! – тут он назидательно поднял вверх указательный палец. – Мне сдается, что ты всю эту историю придумал с одной единственной целью, испугать меня и выудить деньги. Но не на таких напал, бессовестный негодяй, на мне где сядешь, там и слезешь!

До утра Тевье не сомкнул глаз, расхаживая взад и вперед по комнате.

«Если не получилось по-хорошему, – думал он, – криком тем более не выйдет. Предположим я пойду в суд и обвиню его в краже, да только он откажется, подлец, отпрется. Доказать я ничего не могу, никто не видел, как я прятал деньги, никто не видел, как доставал пустой кошелек».

Вернувшись в Курув, Тевье, не заходя домой, побежал к ребе Михлу.

– Да, судя по всему, деньги у Лейзера, – сказал раввин, выслушав сбивчивый рассказ Тевье. – Но голыми руками его не возьмешь.

– Что же делать, ребе, – вскричал бывший водовоз, – что делать?

– Предоставь это мне. Только одно условие – полное молчание. Никому ни слова, ни полслова. Сейчас иди домой, отдохни, порадай жену и детей. Соскучился ведь?

– Еще как, – тяжело вздохнул Тевье. – Только вот порадовать мне их нечем.

– Если жена спросит о деньгах для свадьбы, – продолжил ребе Михл, – ответь, что в ближайшие дни все решится. А пока возьми вот это, – он протянул Тевье мешочек с серебряными монетами. – Отдашь, когда сможешь.

– Но когда я смогу?! – горестно вскричал Тевье.

– Скоро, очень скоро, – ответил ребе Михл, завершая разговор.

Ободренный Тевье поспешил домой. Будущее уже не представлялось ему столь беспросветно мрачным.

Лейзер пришел к ребе Михлу на следующий день за бумагой, подтверждающей кошерность вина. Он это делал не в первый и не в пятый раз, и не сомневался ни секунды, что все должно пройти гладко. Но к его величайшему изумлению раввин развел руками.

– Извини, Лейзер, у меня есть основания сомневаться в кошерности привезенного тобою вина.

– Какие еще основания, ребе? – взревел Лейзер. – Покупал я вино в том же самом погребе, вез с тем же самым возчиком, на субботу запер в сарае, ключ лежал у меня под подушкой. Да еще специального сопровождающего нанял, чтоб ни-ни-ни!

– Вот он-то меня и посвятил в суть проблемы, – ответил раввин. – Ты же знаешь, что у него пропали деньги из кошелька, запрятого между бочек.

– Ребе подозревает меня? – Лейзер начал багроветь на глазах, но ребе жестом руки успокоил его.

– Упаси Боже, ни в коем случае!

Лейзер шумно выпустил воздух.

– Но давай порассуждаем вместе, – продолжил ребе Михл. – Тевье сам свои деньги не украл, так ведь?

– Не знаю, не знаю, – многозначительно произнес Лейзер.

– Твое подозрение допустимо, но маловероятно. Ты, понимаешь, тоже денег не брал?

– Разумеется, – подтвердил Лейзер.

– Хозяин постоянного двора?

– Вряд ли. Он дал мне новый замок с единственным ключом, и я его знаю много лет. Честнейший человек. Вряд ли.

– Хорошо, значит остается единственная возможность, что кто-то из иноверцев ночью или днем, пока вы были на молитве, забрался в сарай и нашел деньги.

– Скорее всего, так и было, – ответил Лейзер.

– А теперь скажи, мог ли иноверец, оказавшись в пустом сарае возле бочек с вином удержаться и не попробовать. Из одной, из второй, из третьей. У тебя ведь там не один сорт вина?

– Не один, – ответил Лейзер, покрываясь смертельной бледностью. Он, наконец, понял, к чему клонил раввин.

– Теперь ты сам видишь, почему я не могу подтвердить кошерность этого вина, – снова развел руками раввин.

Лейзер помолчал с минуту. На его лбу проступил крупные капли пота. Если вино не объявят кошерным, он не получит и трети ожидаемой прибыли.

– Ребе, я должен сделать признание, – наконец вымолвил он. – Да, это я взял деньги. Не сдержался, дьявол попутал. Немедленно, прямо сейчас возвращаю все, до последнего гроша.

Он полез за кошельком, но ребе Михл остановил его.

– Я не могу принять твое признание, Лейзер. Ведь ты лицо заинтересованное, а убыток в десятки раз превосходит собранные бедным водоносом деньги. Поэтому тебе, несомненно, выгоднее, признаться в краже, которой ты не совершал, чем потерять столь внушительную сумму.

– Честное слово, – вскричал Лейзер. – Я клянусь, ребе Михл, это, я вор, я и никто другой! Поверьте, поверьте мне, я взял деньги Тевье!

– Ситуация довольно непростая, – ответил раввин. – Ты поставил меня перед сложной галахической проблемой, и я должен подумать, как ее решить.

Раввин достал с полки несколько книг и принялся их сосредоточенно изучать. Он открывал то одну, то другую, сверялся в третьей, рассматривал маленькие буквы примечания в четвертой и снова возвращался к первой. Это продолжалось три четверти часа. Лейзер терпеливо ждал, пока раввин закончит расследование. Наконец ребе Михл поднял голову и произнес:

– Чтобы доказать серьезность своих слов, искренность намерений и чистосердечное желание исправить проступок, ты должен взять Тевье компаньоном на продажу этой партии вина и все доходы поделить один к трем. Три части прибыли тебе, одну ему.

– Но ребе, – вскричал Лейзер, – это же большие деньги! А для нищего водовоза просто огромные. Он их ничем не заработал, почему я должен ему их дарить?

– Совсе не дарить. Это компенсация за духовный ущерб, нанесенный Тевье твоим поступком. Но, впрочем, я не навязываю тебе свое решение, а только предлагаю.

Раввин встал, давая понять, что разговор завершен, и Лейзер тут же бросился на попятный.

– Ну что вы, ребе, я же только спросил. Как скажете, так я поступлю. Кому как не вам знать, что я всегда слушался раввинов и законоучителей!

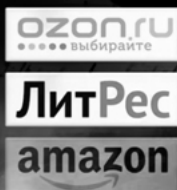
– Знаю, знаю, как ты их слушался, – ответил ребе Михл.

БРИНС АРНАТ

Новый исторический роман
Марии Шенбрунн-Амор,
автора бестселлера «Железные франки»,
лауреата золотой премии Terra Incognita,
посвященный борьбе Иерусалимского королевства
с исламским миром
в продаже в бумажном и электронном виде

На сайте книги
ridero.ru/books/brins_arnat/
отзывы,
видеотрейлер,
сведения об авторе,
о героях, их исторических прототипах
и многое другое

спрашивайте во всех
интернет магазинах страны



ПОЭЗИЯ

Елена Игнатова

СУДЬБА ХОРОША

* * *

Век можно провести, читая Геродота:
то скифы персов бьют, то персы жгут кого-то...
Но выцветает кровь. В истории твоей –
оливы шум, крестьянский запах пота.

Мельчает греков грубая семья,
спешит ладья военная в Египет.
Мы горечи чужой не можем выпить,
нам только имена, как стерни от жнивья,
а посох в те края на камне выбит.

И где она, земля лидийских гордецов,
золотоносных рек и золотых полотен,
где мир в зародыше, где он еще так плотен,
где в небе ходит кровь сожженных городов,
где человек жесток и наг и беззаботен...

* * *

М. Г.

Сизый ангел, приведший в Иерусалим,
и такое прозрачное небо над ним,
а крылья его перепончатые.
Что мне с ним передать воспаленной земле,
где мужают ростки на крови и золе?
Нету писем для северной почты.

Разве это расскажешь? Судьба хороша
тем, что мне не должны ни любви, ни гроша
все, с кем в нежити бились, как в неводе,
чешую обдирая, пробились – и ах! –
здесь мужчины в таких пожилых пиджаках
припадают к портрету Хомейни.

Мы стоим у “Машбира”*. Дырявый жилет
прикрывает крыло его. Прошлого нет,
все, что прожито – грубо и начерно.
Но усмешка его, словно оклик впотьмах,
словно он прозревает в кривых небесах
что нам дальше судьбою назначено.

* *Машбир – универмаг в центре Иерусалима.*

* * *

Это почти из романа: ставни скрипят,
и уголь подходит к концу в затяжную зиму,
и лечу я соринкой – во тьме, слепоте, наугад
по заснеженному Иерусалиму.

Это почти из Диккенса: Новый Свет,
семейный очаг, любовь подростка, смятение...
Между землей и небом – лучшей из скреп
золотая наука смирения,

когда даруется зрение шире и чище – снег,
и смирение учит, баюкает, утешая,
и хрусталою и камню твоим во сне
“Иерусалим, – я шепчу, – Иерушалаим...”

* * *

Все отнимается, все, чем душа жила,
дружья и города уже почти не снятся,
и как вернуться мне и чем мне оправдаться?
Чужую жизнь прожив, перегорев дотла,
несчастною рукой к их стенам прикасаться.

Мы подымались в ночь из глубины.
Тяжелый свет всходил по вертикали
к высотам города, где нас почти не ждали,
и были голоса едва слышны:
“О, помнят ли о нас или, как мы, устали?”

И я входила в дом, в печальное тепло,
и в долгую любовь, где все непоправимо...
Но мой Господь достиг Иерусалима!
Я видела, как горизонтом шло,
гремело облако серебряного дыма.

* * *

Прекрасен ты в раннем тумане
сияющий Иерусалим,
врачующий наши раны
чистым теплом своим.
Одним ты – древней короной,
мне – чашею золотой,
под месяцем мусульманским,
Давидовым небосклоном,
и Вифлеемской звездой.
Месяц меркнет, звезда разгорается ярче,
юнеет, мужает пылающий небосвод.
Каплями крови светятся жизни наши
на дне этой нерукотворной чаши –
Иерусалим утешает и душу жжет.

ЖЕНА ЛОТА

– Ты обернешься?
– Нет.
– Ты обернешься.
– Нет.
– И в городе своем
увидишь яркий свет,
почуешь едкий дым –
пылает отчий дом.

О горе вам, сады –
Гоморра и Содом!

– Не обернусь. Святым
дано соблазн бороться.

По рекам золотым
несет меня Господь.

– По рекам золотым
несет тебя Господь,
а там орёт сквозь дым
обугленная плоть.

– О чем ручки поют?

– Там пепел и зола.
Над ангелом встают
два огненных крыла.

– Они виновны.

– Так.

– Они преступны!

– Так.

На грешной наготе
огня расправлен знак,
ребенок на бегу –
багровая звезда...

Ты плачешь?

– Не могу...

Всем поворотом:

– Да.

Светлана Бломберг

БЕДЫ, КОТОРЫЕ ПЕРЕШАГНЕМ

Ковчег бумажный еле на плаву –
Не тягостны заботы и сомненья,
Но тяжек сон – янтарную смолу
Он льет в пробоины убогого строения.
В тюрьме плавучей, в четырех стенах,
Мы спим, не различая голос шторма,
Из века в век скитаясь на ветрах
Безропотно, смиренно и покорно.
Бумажный голубь не покинет клетки,
Не бросит остролистой ветки...
И радуги не видя над собой,
Не ведаем, как тяжек наш покой.
Когда ты уйдешь – я пойду за тобой
В заветные страны.
И если в том мире ты станешь рекой –
Я лодкою стану.

Скрижали спят в скинии золотой
В Ковчеге Завета...
И если в том мире ты станешь сосной,
То я стану – ветром.

А беды, которые перешагнем,
Забудутся прочно...
И если в том мире ты станешь огнем,
То я стану – ночью.

* * *

Тропинка вдоль заброшенного сада.
Кусты обрызганы парным дождем.
Старуха-яблоня задушена плющом:
Три яблока – вот вся ее отрада.
Но где же этих мест извечные враги –
Мальчишки из домов окрестных?
Состарились и в землю полегли,
И в красных яблоках опять воскресли.
Походкой тяжелой к яблоне придет
Беременная женщина босая
И яблоки с собою унесет,
К груди их, как младенцев, прижимая.

* * *

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ТРАМВАЙ.

Город шелком закатным прошит.
Чуть покачиваясь на путях,
Мимо шустро трамвай прошуршит,
Словно праздник, в ярких огнях.
Звезды важные, как на парад.
Ветер, теплый пушистый щенок,
В ноги броситься каждому рад,
Тем особенно, кто одинок.

* * *

Девочка провожает кошачьим взглядом
спящий меж машин велосипед
парень едет
небрежно прижимая большое зеркало локтем
как уверенно сидит он в седле
как настойчиво крутит педали
перебегают зеркало
два манекена в витрине
старушка с палочкой
семейство с детской коляской

мальчишка на роликах.
девушка на шпильках
потерянный шекель
собака
пара хасидов в черных шляпах
старый и молодой
воробы успевая биться насмерть за муху
мужские трусы на веревке

усмехается кто-то,
покусывая перышко из своего крыла

* * *

ЯФФО В СУМЕРКАХ

Море по привычке приласкает
Яффо, как законную жену.
Смуглый мальчик камешки бросает
в жестяную ржавую луну.
В звездном коммунальном коридоре
меж земель и небом –
одинок,
он босой ногой пихает море
в надоедливый тяжелый бок.
Тени, словно рваные пожитки,
брошенные в спешке на песке.
Город белой шоколадной плиткой
Оплывая, тает вдалеке.

* * *

Сумерками полна лесная опушка.
Малина млеет на кустах в придорожной канаве.
Не ешь этих ягод: в них яд шоссейных дорог.
Того и гляди, поймаешь попутку и помчишь
Куда глядят глаза.

* * *

почему бы не выпить на балтийском вокзале
почему бы не выпить средь рельсов фонарей суеты
почему бы не выпить
там в уголке за пригородной кассой
из бутылки хлебнуть ну ты помнишь
с тремя топорами на этикетке.
хлебнуть а потом
посмотреть вслед уходящему в ночь
ленинградскому поезду.
почему бы не выпить на балтийском вокзале
ленинградский поезд ушел навсегда
и не выпить
из бутылки пустой

Книга Эдуарда Бормашенко “СУХОЙ ОСТАТОК”

Возможна ли философия в современном мире?
Как сложить мозаику, включающую узор заповедей
и паутину уравнений современной физики?
Как сопрягаются воля к истине и воля к смыслу?
Автор, не возводя 1001-ю философскую систему,
предлагает записать своего духовного опыта
и размышления о текстах,
сформировавших его внутренний мир.
Книгу открывают автобиографические зарисовки.
Издательство Москва-Иерусалим, 2014 год, 308 страниц.
Цена книги с пересылкой – 75 шекелей.
Для заказа чеки на имя Эдуарда Бормашенко
пересылать по адресу:
Ariel, 40700, P.B. 2369, Avner str. 17, apt. 2, Israel.
Электронный адрес автора: edward@ariel.ac.il

Ирина Маулер

НОВЫЙ ГОД

Идешь по дороге – навстречу тебе Новый год –
Может слагбаумом, а может дедом Морозом –
Проходи, говорит, год старый уйдет в срок –
не важно – Шварцман ты, или Морозов.
Что у тебя в рюкзаке за твоей спиной,
Что переносишь – совесть, стихи, надежды?
Таможня здесь в 60 секунд шириной
Старым и Новым годом между.
Годы срываются прямо на мокрый асфальт,
Яблоком-паданкой – их поднимай смело,
Можно варенье из них варить, пить чай,
Можно считать, что их никогда не было.
Можно нарезать и сделать из них сок,
Это полезно, написано во всех книгах,
Можно таблеткой их принимать в срок
или летать на них в космос, или же в Ригу.
Можно передохнуть в пути,
Задумчиво опустить глаза в небо,
Или писать слово "прости"
Простым карандашом на бумаге белой.
Можно... А можешь летать во сне,
Или кружить розовым шаром над вечером?
Можешь ,не зря же стоит в окне
Маленький принц – и смотрит в глаза доверчиво.

СЛОВО ИЕРУСАЛИМА

Тут колокольчики, кактус укольчиком,
Небо над городом странным,

Камень исхоженный, лица уложены
В мысли о вечном и главном.
Разные стороны, черные вороны,
Как воробьи на скамейке
Чинные, важные, в пейзажах наглаженных
На языке арамейском.

Рядом простуженно облако тужится –
Вместо дождя прямо в душу –
Солнце запальчиво тыкает пальчиком
И все сомнения рушит.
Кошки встревоженно ждут замороженно
Мышек из Храма Господня.
Лики пречистые, мысли нечистые
Сохнут на ближнем балконе.

Были ли, не были, вера на ветках тут
Разная тянется к небу,
Точно, не точно ли, время песочное
Медленно движется в Лету,

Каждому лично ты, веруем, личное
Слово подаришь отныне
Присно во веки веков и пречистое,
Самое верное, самое близкое
Слово Иерусалима.

РОДИНА

Стрекочет кузнечик, искрится вода-
Нет, не Карибские острова – что-то попроще,
А я выбираю себе города, в которых от шума
Не болит голова – с березовой рощей.

А я выбираю от "а" и до "я",
так, чтобы утиное крыло – не шум электрички.
И ночи прохладу дают и уют,

Хотя, знаю, меня там не ждут –
Но это их дело, личное.

А я заявляю сейчас у реки,
Где дятел по дереву что-то стучит – я вторю,
Что мне не пустыни горячий песок,
Что не претендую на слово пророк
По Торе.

Мне эта рябина родная до пят,
Я здесь родилась и пусть мне говорят – чет-нечет,
Решаю сама, чем дышать и когда,
Не нравится – ваша печаль, господа, – до встречи.

* * *

Дубы, березы, ясени,
А сколько лет напраслины –
Не тянем на родню,
Хотя глаза и волосы,
И чисто русским голосом
в Россию влюблены.

Не в мрачную, отсталую –
Направо дом оставленный,
Налево – первый круг,
Где детство и отрочество,
Когда не надо отчества
И все твое вокруг.

И время, и желание,
И места нет желаннее,
И соловьи поют.
Ведь наша кровь настояща
На этих травах, Родина...
Ведь так тебя зовут?

Да, есть другая, пряная,
Восточная, упрямая,

Прямая по судьбе.
Да, Родина законная...
А я в нее закованная –
Скучаю по тебе.

* * *

Ласточки летают в облаках,
Небо высоко и пахнет липа
Так, что будь пчелой, я бы прилипла
К ней, так и жила б в ее цветах.

Сладко-горький запах на крыльцо –
Разве может быть подарок лучше –
Только если этот дуб могучий,
Желуди кидающий в лицо.

Только если к озеру камыш,
Лебеди и гадкие утята,
Что законно в зарослях толпятся,
И по коже – северная тишь.

Журавлиный клекот, чаек крик,
Дятла перестук, дыханье леса...
Ничего не помогает вместо,
Даже если кажется – привык.

ПРАЧКА-МУЗЫКА

Прилетали соловей, бабочка, гагарка,
Выводили трели и грелись у окна,
У того, где музыка прачкой и кухаркой
Напоила досыта, вымыла до дна.

Интересно, почему воздух пахнет липой,
И зачем висит над домом белая луна –
Неужели оттого, что музыкой политы,
И мелодия течет, как в реке вода.

Платья скромного фасон, локоны и руки,
Черный смокинг, волос под крашенную медь,
Неприметные совсем, а слагают звуки
Так, что даже соловью хочется запеть.

Просто так, из ничего ноты стали чудом,
И мелодия шаром полетела вверх.
Мы поднялись высоко, а потом оттуда
Летним выпали дождем – на сухую твердь.

Ирина Маулер
“БЛИЖНЕВОСТОЧНОЕ ВРЕМЯ”

Издательство “Время”, Москва, 2012
Серия: Поэтическая библиотека

Ирина Маулер - самобытный, необычный художник слова. Краски у нее обязательно сливаются со звуками, и возникает тончайшая, проникновенная поэтическая цветомузыка. Рождаются поразительно одухотворенные стихи - отринув вечное верчение тяжких жерновов жизни, они парят над повседневностью. Творчество это очень светлое и буквально заряжено солнечным талантом автора. Книгу можно приобрести, обратившись по электронному адресу : mauler13@mail.ru

Валентина Бендерская

ТЕЛЬ-АВИВСКИЕ ВАРИАЦИИ

1

Люблю тебя, мой Тель-Авив!
Гулять по улочкам пустым,
Когда в душе любви прилив,
И перезревших чувств отлив,
И шторм в подкожной бухте...

Люблю ночной твой мягкий бриз,
Прохладу в дом несущий,
Плеск тихий волн и кипарис,
Уснувший в лоне лунных риз,
Закутанный, как в юхте.

Люблю прибой, толкущий берег,
В лицо – плевки солёных волн,
Скитальцев моря, как абрек,
Неустрасимых... Их набег
На пирс, разлёт на кнехте...

Мой Тель-Авив, уже родной!
Трепещет сердце в платье,
Когда лечу к себе, домой,
В шум окунаюсь с головой, –
Он день и ночь на вахте!

2. УЛИЦА БУГРАШОВ

К морю шагаю по линии Буграшов.
Пятидесятый размер –
Шорты на мне, наизнанку шов
Майки в полоску... Сер,

Вида невнятного и неопрятного –
Брусчатый гобелен...
Да неприглядна для глаза залётного
Старость потёртых стен.

А я шагаю свободно, и дорог мне
В меру горбатый наст,
Стави из прошлого, прошлая жизнь в окне –
Невозвратимый пласт...

Тянутся к небу, собою любуются,
Чтя городской кряж,
Новые башни, держа фасон улицы,
Носом уткнувшейся в пляж.

Видные домики – чистые, гладкие,
Только совсем другой
Стиль оголяется: нищий загадками
И, к сожаленью, немой...

Владимир Ханан

ВСПОМИНАЯ ВОСПОМИНАНИЯ

* * *

Вот так – хранителем ворот
От зимней матросни –
Не ко дворцу, наоборот,
Но к площади усни.
На зов, где вздыблен мотылёк
И осенён в крестах,
И где ладонь под козырёк
Нам праздник приберёг.

Где неги под ногой торец
Покачивает плетъ,
Пожатье плеч во весь дворец
И синей школы медь.
Усни не враз, качни кивком,
Перемешай огни,
И валидол под языком
На память застегни.

Всё то, что плечи книзу гнёт,
Всё то, что вяжет рот,
Легко торец перевернёт
И в память перевёрт.
Не нашим перьям перешить
Уснувшей школы медь,
Но надо помнить, надо жить,
И надо петь уметь.

Лети на фоне кирпича,
Не знающий удил!
Ты много нефти накачал
И желчью расцвел,
Чтоб я, у ворота ворот
Терпя небес плевков,
Примерил множество гаррот,
Но горло уберёг.

* * *

Сергею Гандлевскому

*Светлой памяти
Александра Сопровского*

В первый день по приезде в Нью-Йорк я попал на приём
К знаменитому мэтру – он знал обо мне почему-то –
И под традиционное «выпьем и снова нальём»
Я впервые попробовал, щедро плеснув, Абсолюта.
Вскоре там появились художник, известный весьма,
Этуаль МосКино, что отважно избрала свободу
И богатого мужа. В полста этажей терема,
Что виднелись из окон, свой ответ бросали на воду
Где-то рядом внизу протекавшей свинцовой реки.
У красавиц подошвы мели по блестящему полу.
Тут я снова налил – с гостевой неизбежной тоски
В высоченный бокал Абсолюта, добавивши колу.
Между прочим, светлело. Красотки вокруг – выбирай!
Мой «эмерикен инглиш» уверенно рос с каждым часом.
Дальше ангел случился с машиной, и начался рай
В двухэтажном апартаменте с километровым матрасом.
Что же до Абсолюта – он был для меня слабоват,
Я его подкрепил чудодейственной дозой разлуки
С коммунальной квартирой под лампочкой в минимум ватт,
Ноздреватым асфальтом страны, где заламывал руки,
Заклиная неврозы и комплексы, депрессняки,
Голубую любовь к себе власти и электората,

Поддаваться которым мне было совсем не с руки:
Не любил я, признаться, Большого Курносого Брата.
Вспоминая пролёт сквозь зелёный ирландский ландшафт
И приёмник Канады с огромным, как зал, туалетом,
Я представил другие, в которых кишат и шуршат
Соотечественники, невольно споткнувшись на этом.
Так с друзьями московскими, помнится, что *с похмела*,
На троих (одного уже нет) в привокзальном сортире,
Сдав билет и портвейна купив, мы его *из горла*
Тут же употребили, как у Мецената на пире.
То, что этот забойный напиток годился скорей
Для хозяйственных нужд, например, чтоб травить тараканов,
Нас отнюдь не смущало. Пристроившись возле дверей
Мы подняли бутылки, легко обойдясь без стаканов.
А сегодня я б отдал весь долбаный тот Абсолют,
Все мартини и виски, что выпил за долгие годы,
Самый лучший коньяк, если мне его даже нальют,
За тот райский коктейль из поддельной лозы и невзгоды.
От вина шло тепло, но зима предъявляла права,
И пупырышками покрывалась продрогшая кожа,
Когда мы в привокзальном сортире – я, Саша, Серёжа –
Дружно пили портвейн, а вокруг грохотала Москва.

* * *

Кавказ подо мною
А.С.Пушкин

Я видел картину не хуже – однажды, когда
Кавказец, сосед по купе, пригласил меня в гости.
Был сказочный август, в то время на юг поезда
Слетались, как пчёлы на запах раздавленной грозди.

Так я оказался в просторной радушной семье.
Муж был краснодарским грузином, жена – украинка,
Невестка – абхазка. На длинной семейной скамье
Я выглядел явно чужим, как в мацони чаинка.

Ел острый шашлык, виноградным вином запивал.
Хозяин о глупых мингрелах рассказывал байки
Одну за другой. Над террасою хохот стоял
Такой, что хохлатки сбивались в пугливые стайки.

Потом на охоте, куда меня взяли с собой
(сначала не очень хотели, но всё-таки взяли),
Мне дали двустволку, и я, как заправский ковбой,
Навскидку палил, но мишени мои улетали.

Кавказ подо мною пылал в предзакатном огне,
В безоблачном небе парили могучие птицы.
Я был там впервые – и всё это нравилось мне,
Туристу из северной, плоской, как поле, столицы.

Дела и заботы на завтрашний день отложив,
Я тратил мгновенья как то и пристало поэтам,
На каждом шагу упираясь то в греческий миф,
То в русскую классику, не удивляясь при этом.

Смеркалось. На хОлмы ложилась, как водится, мгла.
В Колхиде вовсю шуrowали ребята Язона.
Курортный Кавказ предвкушал окончанье сезона.
Я ехал на север – и осень навстречу плыла.

* * *

Кутить, геройствовать. Бывать за океаном,
Есть устриц и рокфор, пить скотч и Абсолют.
Общаться запросто с изгнанником – титаном
Поэзии. Нигде не ждать когда нальют.

Работать на износ за жалкую зарплату,
Мечтать о пенсии, глотать валокордин,
Не позволять себе сверхплановую трату,
Меж съёмных и чужих скитаться до седин.

Похоже, Время спит, и только мы проходим.
Где детство в Угличе? Рай Царского Села?

Не замедляя шаг, меж двух несхожих родин
Так жизнь моя пройдёт или уже прошла.

Там бедный воздух сер, а здесь горяч и древен.
Там прожил пасынком – и здесь не ко двору.
Засохшей веткой на своём фамильном древе
Я здесь – не важно, где: в Хевроне, Беэр-Шеве –
Когда-нибудь умру

Усталым, видимо, и вряд ли слишком смелым,
Уже не издали глядящим за порог,
Где ждёт нас всех она – костлявая, вся в белом,
Всему на свете знающая срок –

Героисту, кутежам, смиряющей работе,
Диковинному сну, где вместе ад и рай,
Холон, Бат-Ям, Кацрин, Хермон в крутом полёте,
Седой Ям а-Тихон в полуденной дремоте,
Цфат, Иерусалим – и солнце через край!

ЛЕТО 53-го

Пионерлагерь имени Петра
Апостола располагался в церкви,
Закрытой властным росчерком пера.
Внутри и вне бузила детвора
Военных лет. На этом фоне меркли
Особенности здешнего двора.

А здешний двор – он был не просто двор,
А сельское просторное кладбище
Одно на пять окрестных деревень.
И будь ты работага или вор,
Живи богато, средне или нище –
А в срок бушлат берёзовый надень.

Тогдашний «мёртвый час» дневного сна,
Когда башибузуки мирно спали,

Был отведён для скорых похорон.
Пока внутри царила тишина,
Снаружи опускали, засыпали,
И двор наш прирастал со всех сторон.

Полусирот разболтанную рать –
Отцы в комплекте были у немногих –
Не так-то просто было напугать.
Мы всё умели: драться, воровать.
Быт пионерский правил был нестрогих.
Но кой о чём придётся рассказать.

Была одна курьёзная деталь:
Еды детишкам было впрямь не жаль,
Но требовалось взять в соображение
Природный, так сказать, круговорот:
И то, что детям попадало в рот,
Предполагало также продолжение.

В высоком смысле церковь – целый мир,
Божественным присутствием пропитан.
Но если по-простому, без затей,
То в этой был всего один сортир,
Который был, понятно, не рассчитан
На сотню с лишним взрослых и детей.

Но сколь проблема эта ни сложна,
Была она блестяще решена,
Лишь стоило властям напрячь умище.
И к одному сортиру, что внутри,
Добавили ещё аж целых три
Снаружи, то есть прямо на кладбище.

А вот теперь представьте: ночь, луна,
Кладбищенская (вправду!) тишина,
Блеснёт оградка, ветер тронет ветки,
А куст во тьме страшней, чем крокодил,
Поэтому не каждый доходил
До цели. Что с них спросишь? – Малолетки!

.....
Пусть в прошлое мой взгляд размыт слезой,
А детство далеко, как мезозой,
Я вижу все детали пасторали:
Зелёный рай под сенью тёплых звёзд,
Наш лагерь: церковь а вокруг погост,
Который мы безжалостно засрали.

* * *

В Петергофе однажды, в году девяносто четвёртом,
В ночь под Новый по старому стилю, под водку и грог,
Я случайно увидел на фото, довольно затёртом,
Старика в филактериях, дувшего в выгнутый рог.

«Прадед где-то в Литве, до войны, – объяснился хозяин,-
То ли Каунас, то ли...» Я эти истории знал.
Даже немцы придти не успели, их местные взяли,
Увели – и убили. Обычный в то время финал.

Этот старый еврей дул в шофар, Новый Год отмечая,
В тёплый месяц тишрей, не похожий совсем на январь.
Тщетно звал я на помощь семейную память, смущая
Тени предков погибших, сквозь дым продираясь и гарь.

Не такая уж длинная, думал я, эта дорога –
От тогдашних слепых до сегодняшних зрячих времён.
У живых нет ответа, спросить бы у Господа Бога:
Если всё по Закону – зачем этот страшный Закон?

...Был обычный январь. Снегопад барабанил по крыше,
По стеклу пробегали пунктиры автобусных фар.
Город медленно спал, и единственный звук, что был слышен –
Мёртвый старый еврей дул в шофар,
дул в шофар,
дул в шофар.

Борис Лихтенфельд
БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ

Олегу Охапкину

Петербургских крыш полифония,
Контрапунктом – купол синагоги...
Уж не ты ли это, Ниневия –
Пепельный мираж в чухонском смоге?

Замер я, к окну прильнув, и внемлю
Памяти твоей о Божьем гневe.
Кит – один из тех, что держат землю –
Приютил меня в урчащем чреве.

Шевелятся, чувствую спросонья,
Вскормленные немотой глаголы;
Во грехе, во мраке беззаконья
Зреют для пророческой крамолы.

Сам дрожу пред их растущей силой,
Трушу их утробного азарта.
Лучше бы им, думаю, могилой
Стала эта нищая мансарда.

О виденье с музыкой, потухни, –
Заклинаю, – поглотись клоакой
Коммуналки с галдежом на кухне
И всегда голодную собакой!

Но вотще: налипло на ресницы,
Ширится моей помимо воли.

Твердь катастрофически кренится,
Ошалелый кит мычит от боли...

Господи! Уйми глаголы, стисни
Горло. Отродясь косноязычен,
Я хочу неброской тихой жизни.
Не хочу плевков и зуботычин

Твоего сплоченного народа.
Отодвинь назначенные сроки!
Эта темень, эта несвобода
Мне милее, чем удел высокий.

Но не слышит небосвод беззвездный
Вздых мой робкий: только не сегодня!
Встань, иди – доносится из бездны.
И не скрыться от лица Господня.

* * *

Украл я право жить у тех
миллионов, что могли бы тоже,
и не бегу простых утех.
Прости мя, Боже!

Я в это дорогое здесь
проник по-воровски украдкой
и в робости подобен весь
той букве краткой,

что в одиночку не звучит,
платочком над собою машет...
Мой крестный опыт нарочит
и даром нажит.

Ничто не чувствуя чужим,
хватал я всё подряд. Неужто
татьялой до гроба одержим?
Ничто не чуждо.

Богатым этим языком,
чтоб стать великим и могучим,
я овладел тишком, ползком
и ныне мучим

стыдом без памяти – магнат
из фильма Орсона Уэллса,
забывший, как вдруг стал богат,
когда заелся.

Я на платочке узелок
не завязал – теперь не вспомню,
как я камену уволок
в каменоломню

сознания темного – и вот
мы промышляем вместе с нею:
цитат кружится хоровод,
и вновь краснею.

Стать притчей на устах у всех
мне так же светит в языке том,
рифмующем с грехом успех,
как стать аскетом.

Лукавлю: буду нем и наг
перед Тобой, и тут-то, Боже,
Ты мягкий подаёшь мне знак...
Мороз по коже.

ЛЮТЕРАНСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Здесь, за последней чертою осесть
склепы и камни чужие
блудную душу прельщают, а лесть
дарит порой миражи ей.

Полуразрушены и заросли
чертополохом, бурьяном...
Господи, всем здесь лежащим пошли
мир и покой лютеранам!

Вдруг своё имя, dahin устремлён,
метафизически-скорбен,
вижу среди полустёртых имён;
ниже: geboren... gestorben...

Светлое поле... Неспешной толпой,
как после жатвы селяне,
мысли, вдохнувшие вечный покой,
тянутся к Ясной поляне.

Мальчик наказан и пишет диктант.
В памяти выбиты строки.
Дядька – сапожник, солдат, фабрикант –
учит о худшем пороке.

Неблагодарность... die Un-dank-bar-keit...
В рокоте речитатива
партия Совести – ангельский альт –
трепетна, благочестива.

Светлое поле... Элизий теней...
Вот куда путь пролагала
жизнь моя, смерть неотступно при ней
Здесь не Шеол, а Валгалла.

Так произносится, что, разносясь,
литер готических стая
сеет свою полувнятную вязь,
в новый контекст прорастая.

Так, сокровенные струны задев,
странная музыка эта –
страшная песня воинственных дев –
зовом звучит с того света.

Всё написанное будто на что-то похоже,
иногда – чуть-чуть, а иногда – точь-в-точь.
до того, что подумаешь даже: одно и то же, –
но потом присмотревшись: да нет – день и ночь.

Что-то уши подслушали, да не то уловили.
Из подобных разночтений и соткана
вся словесность: старушенок лущить чем попало или
их считать, вываливающихся из окна.

Несусветное что-то загнул или просто выгнул
странным образом шеи любопытных слов,
а потом и вовсе из гнёзд их взаеи выгнал –
и нежданный осмысливаешь улов.

На восток и запад расколот мозг. Сплеча лишь
разрубается узел антиномии сей.
По дороге в Индию к Америке вдруг причалишь –
ты свободен, о диссидент Одиссей!

Параллелей пленник, от встречного ветра и штиля
издевательств немало ты претерпел.
Что твой опыт? Мираж в бесконечных поисках стиля.
Не рвануть из моря возможностей за предел...

Ах, великая наша! Обманут её любовью
к человеку маленькому, лишнему и вообще
ко всему под ярмом и плетью страждущему поголовью,
сам хорош персонаж: борода в борще!

А она, свои средства сулившая на дорогу,
днесь наложницей на ложе лжи возлежит.
Ты блуждания эти сам предпочёл острогу,
хитроумный грек, то бишь вечный жид.

Но с другой стороны, что всему и всегда чужая,
воздух-синтаксис легко принимает в себя

словопад щебечущий – и душа дрожит, подражая,
вторя всякому веянию и любя.

НА ДАЛЬНИХ ПОЕЗДАХ

Владимиру Лапенкову

Как Гоголь назидал своих друзей,
проездили когда-то я по всей,
проводником работая почтовым,
и, вроде, удовлетворил сполна
страсть к странствиям. Отхлынула волна.
Порассказал бы многое, да что вам?

Когда состав мой полз через Урал,
когда, сжимаясь, отступал Арал,
караем богом Солнца разъярённым
за то, что все окликал его,
не токмо взором проникал я во
град Китеж – духом, ею покорённым.

Влёт философский камень Алатырь
то в лес его, то в степь – в тот монастырь,
где наш Грааль, не тронутый Перуном,
хранит в веках, как жертвенную кровь,
всю мудрость мира, вторя вновь и вновь
славянской вязью скандинавским рунам.

Протяжный зов бухарского муллы
сквозь аромат цветущей мушмулы
манил чужим укладом и ландшафтом.
Тамбовский волк, отбив двенадцать лет,
через меня передавал привет
сибирским пихтам, заполярным шахтам.

Соль проступала, и, простором сим
пленён, язвим, солим и русолим,

я ощущал в крови своей брожение.
Под стук колёс немолчный, в полусне
вбирал я всеми порадами извне
языков вавилонское смешенье.

И древний лад, как неизвестный яд,
по всем распространялся жилам вздутым,
и понимал я: где-то наверху там,
среди облачных она бытует гряд,
невидимо гиперборея над
гремучим железнородным спрутом.

Ах, жизнь моя! Как била ты ключом!
Всея Земли тебя питала сила.
Свои, мечталось, корни извлечём
из недр Тибета, из долины Нила...
Припомнить бы, о чём она бубнила,
шаманила и шамбала о чём.

ХОРОШЕЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

Владимиру Алексееву

Приснилось хорошее слово.
Не знаю, к чему приложить –
да чтобы без умысла злого
его существо обнажить;

да чтобы без всякой обиды
звучало, при этом открыв
уму всевозможные виды
на сей семантический взрыв.

Пуškai ни к чему не прицепят
его как враждебный ярлык!
О, неименуемый трепет!
Кой смысл ему равновелик?

То так прилагаю, то эдак,
горюю, как немощно-сир,
как тёмн, скажу напоследок,
мой *жидобязненный* мир!

КОНЕЦ ЮДОЦЕНТРИЗМА

Похоже, соль земли уже не солон...
Смените болевой регистр, умерьте
амбиции: всё глуше соло на
иерихонском инструменте!

Всё переменится – звенит в тиши *дзин-дзин*
тибетский колокольчик, и от моря
до моря завывает муэдзин,
приливам и отливам вторя.

Магической души отколотый кристалл
отныне костоломку на татами
пусть преломляет, пусть концы креста
загнёт и вертит под тамтамы!

Афразия и без несякнущей мощны
своё алмазно-золотое время
в рост пустит: ей подачи не нужны
постевропейского еврея.

Вернём же ей долгов несметных бумеранг
с процентом – те цифири на бумаге,
что в бум преобразились, в *Sturm und Drang*...
Вновь будем немощны и наги.

Остынет жертвенник – неужто каменеть,
оглядываясь на святые камни?
Там, где клокочет под песками нефть,
порхать неужто мотыльками?

Другой эон нас без остатка растворит,
и явится языкам бог Зиянье,
и некий новый будет фаворит
обучен хватке обезьянней.

На сцену выведет он лунного слона,
впряжёт его в чужую мутотему –
и понесёт, растя свой смысл, она
дань инородному тотему.

Столкнётся будущее с прошлым – взрыв и крах
бесстрашно за кулисами обсудим
и, роль благоразумно проиграв,
значение обретём в абсурде.

И вновь подыщет поражённый интеллект
зиянью трансцендентному синоним,
чтоб изъяснилось из руин тех лет,
коль славен наш Господь в Сионе.

ИНФОРМАЦИЯ

Там льётся кровь – там холод, мрак, разор
врываются в уютную обитель...
Пустеющей корзины потребитель
встречает Новый год, вперяя взор
в томительно мелькающий узор
для ткани: Тель-Авив и сектор Газа
для канитель, а вивисектор газа
в междуславянский вклинился зазор,
и глядь – в мозгу бессмысленный обзор...
Геката ложесна свои разверзнет –
и глядь: ни узелков, ни контроверз нет
на мягком ложе сна. Один позор.

* * *

Рассеянный ум лоботряс с Бассейной
(не той, что Некрасова ныне, а той,
у парка Победы) был притчей семейной.
Как парк разрастался сюжет нелинейный
над слепками с грёз и могильной плитой,
Рассеей на ум навалившейся, чтобы
рассеянных мыслей народец собрать
в небесный Петрополь, в заказник особый,
когда ветхих слов приоткроются гробы
и добропобедную выпустят рать.

Рассеянье – это условие встречи
когда-нибудь где-нибудь... Определим
точнее тот миг в категориях речи –
и Александрия забрезжит далече,
град Китеж, небесный Иерусалим,
где снова сойдёмся мы, как в Петербурге.
Все нити сюжетные сходятся там.
Сыграем с судьбой в города или в жмурки,
на ощупь на слове друг друга и юркий
ловя её смысл, предназначенный нам.

Борис Камянов

НАВСТРЕЧУ БОЖЬИМ ЧУДЕСАМ

* * *

Воздух птичий, воздух ранний,
Чистотой он душу ранит.
Мир – экран. И на экране
Титрами – стрижи.
Кашляет петух охрипший,
Кот слоняется по крыше,
И щенок из будки вышел,
Чтобы жить.

Как слезящаяся свечка,
Бабка тает на крылечке.
Кадр сменяется, конечно,
Каждый миг.
Голос мой за кадром тонок –
Бормочу стихи спросонок.
Солнце, заспанный ребенок,
Вышло в мир.

Фильм талантлив и опасен:
Он своею правдой красен.
Дураку, наверно, ясен,
Странен – мудрецу...
Небом взят в полон, как птица,
Я смеюсь, и мне грустится,
Светлую слезой катится
Счастье по лицу.

ПИВНОЙ БАР

Публика в баре самая разная.
Реже – спешащая,
Чаще – праздная.
Реже – тверезая,
Чаще – похмельная.
Если уж баба,
То чаще – панельная.

Публика в баре самая разная.
Реже – счастливая,
Чаще – несчастная.
Реже – богатая,
Чаще – безгрошя.
Реже – хреновая,
Чаще – хорошая.

Эта пивная – модель мироздания:
Непонимание –
И лобызания.
Пьяные драки –
И проблески разума.
Призрак Толстого –
И тень Стеньки Разина...

Рядом – бессмысленное и великое.
Пьянство российское – многоликое.

Здесь, на границе греха и безгрешности,
Я и живу, полный горя и нежности.

ПЕРВОЕ МАЯ

Тихие пьяницы и драчуны,
В сквер выползающие на рассвете, –
Дети великой Советской страны,
И, несомненно, – счастливые дети.

Да хоть возьмите, к примеру, меня:
Стоит лишь утречком опохмелиться –
Рвется душа в поднебесье, звеня,
Словно из пепла восставшая птица.

А на планете царит Первомай,
Мирные выстрелы почек зеленых...
Выше, товарищ, стакан поднимай
В наших веселых рабочих колоннах!

Праздничный вечер. Роскошный салют,
Словно корабль, выплывает из мрака.
Слышу: кого-то поблизости бьют.
Вижу: и вправду – отличная драка!

Славно с разбегу врезаться в толпу,
Славно быть толстым и густобородым
Сильным евреем, связавшим судьбу
С братским великим российским народом!..

Утром, опухший, очухаюсь я.
Долго ли мне колобродить на свете...
Господи, бедная дочка моя!
Господи, Господи, бедные дети!

* * *

Демократичны русские пивные.
Бухие старикашки-домовые
Соседствуют с майором КГБ.
Художник, заскочивший на минутку,
Квартальную притиснул проститутку
С креветочным ошметком на губе.

У каждого есть склонность к разговору:
Поэт читает эпиграммы вору,
А участковый с диссидентом пьет.
Свершается загадочное действо:
Интеллигент нисходит до плебейства,
И мысли изрекает идиот.

Пронизанный миазмами маразма,
Табачный дым живет как протоплазма,
И нас почти не видно в том дыму.
Лишь зыбко пляшут профили косые...
Иного нет пути понять Россию,
Как только с нею спиться самому.

РОДИНА

Я шел по российской деревне,
Сбежав от вселенского зла.
И в образе бабушки древней
Навстречу мне Родина шла.

Сейчас она взглянет нестрога,
Укажет дорогу в миру,
Промолвит единое слово
И душу научит добру...

Иду я навстречу, усталый,
Готов на колени пред ней...
Но с ужасом вижу: у старой –
Провалы на месте ноздрей,

Озлобленно бегает глазки,
Два пальца скрестила рука...
Ну, словно из давешней сказки
Внезапно явилась Яга!

– Ах, мама, родимая мама!
Я – сын твой, российский еврей.
Я, может, любимая, самый
Несчастный из всех сыновей.

Родная! В смятении духа
Тебе посылаю привет!
Клюкой погрозила старуха
И плюнула злобно вослед.

СТАРЫЙ ИЕРУСАЛИМ

Войдешь в зловоние Востока –
И задохнешься от восторга!

Курилен тайных дурь и чад,
Бессмыслица людского хора,
Вой одичалых арабчат
И человеческий крик хамора¹.

В тупой покорности судьбе
Плетется, замшевый, замшелый,
И взор печально по тебе
Скользнет, больной и ошалелый.

Тут – иностранцев толчея
У лавок древностей фальшивых,
И у помойного ручья –
Баталия котов паршивых.

До этой страшной высоты
Как доползла такая проза?
Язычники свои кресты
Несут по виа Долороза.

Степенно шествуют попы,
Снуют проворные монашки...
Дымятся красные супы,
Кровоточат бараньи ляжки.

Туристы всяческих пород
Столпотворят язык базарный,
И кто-то в медный тазик бьет,
Как будто в колокол пожарный.

За поворотом поворот,
Уж гомон за спиной, и вот

¹ Хамор – осел.

Перед тобою – панорама:
В горячей солнечной пыли,
За светлой площадью, вдали –
Стена разрушенного Храма.

Вот ты и дома. Не спеши.
Следи, как в глубине души
Растет прорезавшийся трепет.
Польются слезы, как стихи:
Господь простил тебе грехи
И вновь тебя из праха лепит.

К стене ты приложишь щекой
И слушай, как журчит покой,
К сухой душе пробив дорогу.
Ты вновь – у вечного ручья,
Ты вновь – в начале бытия.
Ты снова дома, слава Богу.

МЕРТВОЕ МОРЕ

Илье Войтовецкому

На Святой земле светает.
За Моавом пышет жар:
Это топку разжигает
В преисподней кочегар.

Под землей огонь пирует,
Воет рыжая пурга,
И все яростней шурует
Кочегара кочерга.

Полыхает зло людское,
И из переплавки той
Выплывает над грядой
Край монеты золотой.

И все выше, выше, выше
Воспаряет красный круг.
Море, полное кровищи,
Он высвечивает вдруг.

Постепенно различимы
Моря Мертвого окрест
Лики, лица и личины
Старожилов этих мест:

Гор Моава и Амона,
Над Эйн-Геди серых скал,
Там, где Лот во время оно
Дочерей своих ласкал.

...Полдень. Солнышко в зените –
Абсолютное добро.
Рассыпает нам – ловите! –
Свое злато-серебро.

А в котельной подземельной
Копится людское зло.
Дрыхнет кочегар похмельный:
Работягу развезло.

Сонный вечер в вечность канет,
День займется молодой...

Никогда живым не станет
Море с мертвою водой.

СЧИТАЛКА

Раз-два-три-четыре-пять,
Больше нечего искать.

Все растратил, что нашел,
Налегке к концу пришел.

Раз-два-три-четыре,
Погулял я в этом мире.

Раз-два-три, зажился здесь.
Ныне знать пора и честь.

Что поделаешь, раз-два –
Наша доля такова.

Слышу: бьет последний час:
Раз.

РОЗА ЛЯСТ “ИМПЕРАТОРЫ И ЕВРЕИ”

Главный сюжет книги – евреи в политике римских императоров. Суть ее – защита императорами еврейских религиозных традиций, что не мешало грабить евреев налогами и нещадно давить еврейских повстанцев. Книга состоит из научно-популярных очерков, основанных на документах и новейшей научной литературе. Каждый очерк – увлекательный рассказ из древней еврейской истории.

Издательство “Москва-Иерусалим”, 2013, 210 страниц.

Цена 40 шек.

Обращаться к автору.

Тел. 054-7231203

E-mail: isidore@post.tau.ac.il

Максим Жуков

КОНТЕМПОРАРИ-АРТ

Заболев, я думал о коте, –
С кем он будет, ежели умру?
О его кошачьей доброте,
Красоте; и прочую муру

Думал я и спрашивал: ну вот,
В душной предрассветной тишине
Так же, как ко мне подходит кот, –
Подойдут ли ангелы ко мне?

И пока расплавленный чугунок,
Застывая, сдавливает грудь,
Будь бобтейл он или же мейн-кун,
Без проблем забрал бы кто-нибудь.

Вьюгой завывает месяц март,
Провожая зимушку-зиму,
В подворотне найденный бастард
Нужен ли окажется кому?

Если доживу до декабря,
Буду делать выводы зимой:
Те ли повстречались мне друзья?
Те ли были женщины со мной?

Никого ни в чём не обвиню.
И, когда обрадованный кот
На кровать запрыгнет, – прогоню:
Он не гордый, он ещё придёт.

Без обид на свете не прожить;
Но, когда настанет мой черёд,
Сможет ли Господь меня простить
Так же, как меня прощает кот?

* * *

Отделилась Малая, отделилась Белая,
Занялась Великая глупой суетой.
Зарядив Калашников, с парой однокашников
Вышел в степь донецкую парень молодой.

Не за долю малую, вызволяя Малую, –
Из сердечной склонности, танковой дугой, –
Изничтожить ватников, с группой соратников,
Им навстречу двинулся паренёк другой.

Никому не нужные люди безоружные
В этот раз не кинулись скопом на броню.
Сколько их ни выяви, – добровольцев в Киеве
Явно недостаточно дать отпор Кремлю.

Веруя в красивости, с жаждой справедливости,
Многие по трезвости, кто-то под хмельком,
Кучно, со товарищи, резко, угрожающе
В чистом поле встретились парень с пареньком.

Было то под Горловкой или под Дебальцево,
Может, под Широкино... Было! – ну и что ж? –
Ничего хорошего – продали задёшево
Паренька из Киева и другого тож.

Там на шахте угольной воздух перерубленный,
Техника горящая, крошево и жесть.
Злого, непостижного, возлюбите ближнего!
Украинца, русского – всех что ни на есть.

Оба, в общем, славные, парни православные,
Как ложится вместе вам во поле вдвоём?

Спят курганы тёмные, солнцем опалённые,
Тишина над Киевом, тихо над Кремлём.

* * *

Голос, словно в церкви – просветлённый,
Затянул под окнами куплет:
«Голуби летят над нашей зоной,
Голубям нигде преграды нет».

Под благоухание черёмух
Не звучит гитарный перезвон;
Во дворе на лавочках укромных
Заиграет, разве что, смартфон.

То ли это времени апоноэ
Перед тем как перейти на бег,
То ли всё пацанское, блатное
Изживает ХХI век.

Превратились в бабушек, дедусей
Все мочалки наши и кенты.
Благорастворение воздушей
Перед наступленьем темноты.

За окном уснула спортплощадка,
Вместо муравы – Canada Green.
Из подъезда, будто бы с устатка,
Выхожу, как Лермонтов, – один.

На меня наставлен сумрак ночи;
Прислонясь к дверному косяку,
Размышляю, как бы покороче
Подойти к ближайшему ларьку,

Где я тусовался с разной сранью,
Где сидел и думал, как в огне, –
Заливая голову баранью, –
Что скачу на розовом коне.

Воздух, как в невидимых пираньях,
Весь в новорождённых комарах.
Я теперь скупее стал в желаньях,
Только не за совесть, а за страх.

В забубённой жизни и отпетой
Как я не пропал – наверняка?
Не пойду!.. Ведь знаю: в стороне той
Нет давным-давно того ларька.

* * *

Идут по вип-персонной –
По жизни центровой –
Сережка с Малой Бронной
И Витька с Моховой.
Практически – Европа.
Гражданская толпа.
Услуги барбершопа,
Веган-кафе и спа.

У всех живущих в Центре –
Особый кругозор:
И BMW, и Bentley –
Заставлен каждый двор.
И прочно – пусть нелепо! –
Роднит одна земля
С агентами Госдепа
Прислужников Кремля.

Стритрейсер по наклонной
Летит как чумовой –
Сережка с Малой Бронной
Иль Витька с Моховой?
В хоромы эксклюзивных
Который год подряд,
Наевшись седативных,
Их матери не спят.

Сплошные биеннале.
Хотя не тот задор,
Кураторы в подвале
Ведут привычный спор:
Почти во всякой фразе –
«Контемпорари-арт».
Как лох – так ашкенази,
Как гений – так сефард.

Но если кто из местных,
То ты за них не сцы!
Сидят в высоких креслах
Их деды и отцы:
Фанаты рок-н-ролла,
Любители травы.
Одни – из комсомола,
Другие – из братвы.

Но всем с периферии
Девчонкам, что ни есть,
За столики пивные
Возможность есть подсесть –
С улыбкою нескромной
И с целью деловой
К Сережке с Малой Бронной
И к Витьке с Моховой.

И, влезшие счастливо
В шикарные авто,
Под крафтовое пиво
О тех не вспомнят, кто
За этот кайф бездонный,
За праздничный настрой
В полях за Вислой сонной
Лежат в земле сырой.

* * *

Бессонница. Гомер. Украдено бабло
В родной стране, где всяк с рожденья обворован.

Уснуло всё вокруг, уснул ПТХЛ,
В чужой карман давно не лезущий – за словом.

Загнали за Можай ИП и ПБОЮЛ,
На головах царей божественная пена.
Уснуло всё вокруг. И Кремль давно уснул.
Во прахе и крови скользят его колена.

Прости, развратный Рим, – прости, о край родной! –
Кого же слушать мне? – Пока народы спали,
И множество надежд под солнцем и луной,
И братскую любовь, и веру – всё украли.

Украли всё: огонь и проблески ума,
Которые всегда в стране родной некстати;
Украли ряд идей; повсюду тишина,
Какая может быть лишь в обнесенной хате.

Имперская парча заношена до дыр –
Классический пин-ап для воровского пула.
О нравственность и честь, где ваш ориентир?
Ответственность и стыд, и совесть – всё уснуло.

Уснуло всё: менты и бывшая фарца,
И нынешняя власть в своем авторитете;
Как горек русский хлеб! Не слаще и маца.
Кого же слушать мне? – воруют те и эти.

Повсюду тишина. Заношена до дыр
Имперская парча. Покуда спят народы,
Не так ли ты – И Ты!!!! – о европейский мир,
Крадешь свои в боях добытые свободы?

Воруют все: друзья, враги, учителя,
Пророки и вожди, свидетели и судьи.
Придурки всех мастей, крутые кренделя
Воруют там и сям, в толпе и на безлюдье.

Бессонница. Гомер. Что наше воровство?
Кого не обвинишь в ораторском запале!
И, может быть, я сам страдаю от того,
Что воровать меня сегодня не позвали.

* * *

Страдал одним, а умер от другого
Средь медсестер, напоминавших бикс.
Вначале, может быть, и было Слово,
Но в тишине пересекают Стикс.

Конечно, потрясение и горе,
Но если чистой правды не скрывать, –
Когда пришли прощаться в крематорий,
Над гробом было нечего сказать.

Любил, бухал, да так, что чуть однажды
Не сел в тюрьму... опять: любил, бухал.
Писал стишки, но без духовной жажды,
А значит, зря и плохо их писал.

Над гробом только те, кто знали лично, –
Собрались, чтобы головы склонить,
Всего пять человек – симптоматично –
Хотя, чего теперь судить-рядить.

С цветов снимали долго упаковку,
Но места мало заняли цветы...
И потому всем сделалось неловко,
Когда сажали крышку на болты.

Перед закрытой этой домовиной,
Пред тем как гроб опустится в подвал,
Немыслимый и несопоставимый –
Я наш союз в деталях вспоминал.

Как мы гуляли ночи до рассвета,
Как бабами менялись невзначай...

Он подарил мне как-то томик Фета
И надписал: «Читай и не скучай».

Он спорил о стихах со мной упрямо,
Вооруженный зреньем узких ос.
Но Фет не доставлял, а Мандельштама
В ту пору мне прочесть не довелось.

Я даже не врубился, как сумел он,
И не заметил даже – ну и ну! –
Как он легко и как бы между делом,
Увёл мою законную жену.

Страдал одним, а умер от другого,–
Не вынес скачки бешеной Пегас.
Вначале – я уверен – было Слово,
Но это Слово было не о нас.

Он прожил жизнь легко и контркультурно,
Местами жмот, местами вертопрах.
Еще чуть-чуть и дальше – только урна,
С каким-нибудь: «Покойся, милый прах...»

Мы за ворота выбрались сутуло,
Но кто-то оглянулся, посмотрел, –
Как будто сталью сердце полоснуло:
Там человек сгорел.

* * *

Который год в тюрьме моей темно
И море на отшибе колобродит;

И, может, лучше, что ко мне давно,
Как к Евтушенко, старый друг не ходит.

А постоянно ходят – oh my God! –
Лишь те, что называются «с приветом»...

В моей тюрьме темно который год,
Как в келье с отключённым Интернетом.

И женщина, которая – акме,
Давно со мной не делит страсть и негу.

Который год темно в моей тюрьме,
Да так, что лень готовиться к побегу.

* * *

Уходят ребята в иные края:
И жизнь дрянновата, и смерть как змея.
Кто тёмн, кто светел – в душе и с лица –
Отряд не заметил потери бойца.

Была кривовата земная стезя,
Уходят ребята, враги и друзья.
И жизнь, как засада, и смерть, как резня:
Ну что тебе надо ещё от меня?

Такое причтётся, что не отопрусь, –
Откуда у хлопца испанская грусть? –
Из третьего ряда, спою, не тая:
Гренада, Гренада, Гренада моя.

Из третьего ряда? Кто знает, в каком
Ряду до упада мы хором поём?
На грани распада и день ото дня –
Ну что тебе надо ещё от меня?

Сказала: «Доколе!» Спросила: «Ответь,
Мы хором, как в школе, обязаны петь?»
– Никто не обязан, – отвечу не в лад, –
Но всё-таки связан с отрядом отряд.

Уходят ребята, враги и друзья,
За ними когда-то отправлюсь и я;
Мне в памяти смутной, дырявой, как сеть,
Тогда поминутно не запечатлеть, –

Как в чём-то испанском, мантилье подстать,
На Старом Хованском ты будешь стоять.
Чугунна ограда. Улыбка темна.
Гренада, Гренада, Гренада, Грена...

Вышла новая книга

Феликс РАХЛИН – "Афулей Первый и Шлёма Иванов".

Лирика, юмор, сатира.

Издательство "Достояние", Израиль, 2014.

С фотографией и автопортретом автора. Художественное оформление обложки Нинель Шаховой (Афула)

Автор книги - лауреат израильской литературной премии имени Виктора Некрасова (2014). Живёт в г. Афула.

Цена книги - 25 шекелей (включая стоимость пересылки).

Обращаться к автору по тел. в Израиле 04-6528488,
из-за рубежа - +972-4-6528488.

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»:

Стихи и проза Тани ГРИНФЕЛЬД

«КВЕСТ»

«ЭСКИЗ»

«ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ПЕРЕПИСКА»

«КРУГИ ВРЕМЕН»

«ЗОЛОТИСТЫЙ МЕАНДР»

«В ТЕНИ СТЕБЛЕЙ»

ЗАКАЗАТЬ КНИГИ (БУМАЖНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ)

МОЖНО ПО АДРЕСУ:

<http://litgraf.com/shop.html?shop=1>

Виктор Голков

* * *

Какой бы дорогой ты ни шел сюда,
Время размыкает твои провода,
Когда-то смутно брезживший день суда
Превращает в реальное дело.

Ты скажешь нет или скажешь да,
Не будет значения иметь тогда.
Никакого капитала,никакого труда
Не хватит, чтоб купить тебе новое тело.

Неважно,что будет – пятница или среда,
Не узнают друзья, разойдясь кто куда,
Хоть над крышей про это поют провода,
Что я отбыл без Господа к беспределу.

* * *

От банальности не скрыться
никогда , нигде,никак,
но едва ли стоит биться
головой о косяк.

Ты – конструкция земная ,
выполняющая план,
как мгновенная , стальная
истина – аэроплан.

Где подогнаны все части
энтропии вопреки,
и находятся во власти
человеческой руки.

Только в темном переулке,
где акация в цвету,
не препятствует прогулке
привкус горечи во рту.

На ионы не дробится
в сумасшедшей маете,
вечность ласково клубится
в каждом крошечном листе.

* * *

Банальный возрастной синдром,
назад пронзительная тяга,
в мозги кидается как брага.
Какой-нибудь аэродром,

и совершается рывок
вразброд, к квартирному вопросу,
калитке, вывихнутой косо,
на милый детства островок.

Где горлопанит воронье,
и мокрые желтеют пятна,
и поджидает, вероятно,
жидовство клятое твое.

Я бы мог остаться там,
где родился. Это случай,
вывих совести дремучей,
никому не нужный хлам.

Остается лишь дышать
Смесью воздуха и света,
Бестолковый век поэта
До конца опустошать.

* * *

Итак лишившийся свободы
Во эмиграции своей,
Я в черные ныряю воды
Сменяющих друг друга дней.

Минуты, как помада липки,
Сползают, больше не нужны.
И где-то вдалеке слышны
Пассажи плоховатой скрипки.

* * *

Года построились, как числа,
Но стройность ложная во всем.
Последние остатки смысла
Мы теоремой не спасем.

Так осыпается песчаник
Под башмаками на ходу,
И муке музыки изгнанник
Внимает, как Орфей в аду.

* * *

Слова выплевывать из глотки —
Смешной мартышкин труд.
С годами накопил ты шмотки,
Но близок Страшный суд.

Плотней усталости завеса,
Бессмыслицы налет.
Как неоконченная пьеса
Про черный самолет.

* * *

Так видят по-другому вещи
с годами, как лежат на дне,
и пустота страшней и резче,
чем надпись кровью на стене.

Душа себя преодоляет
в холодной комнате с утра,
и изжитая жизнь шагает
из опустевшего двора.

АННА ФАЙН
«ХРОНИКИ ТРЕТЬЕЙ АВТОПАДЫ»

Шокирующая, бьющая по нервам проза израильской писательницы Анны Файн не оставит читателя равнодушным.

Файн из тех авторов, кто верит, что сегодня нельзя шептать читателю на ухо. Нужно кричать, срывая голос, на грани истерики, не боясь показаться сумасшедшей.

“Хроники третьей автопады” - автобус, упавший в пропасть, семья, сгоревшая вместе с компьютером.

Отчаяние и надежда маленькой страны, где так много солнца и боли.

Леонид Колганов

ЖЕНЩИНА В ИЮЛЕ

Шальная пуля, как шалунья,
Подобно женщине шальной,
Как залихватская певунья,
Играла весело со мной!
Летя навстречу, песню пела,
Припасть желая мне на грудь,
И песня на лету звенела,
Ко мне указывая путь!
К моей груди она прижалась,
И тут же я сгорел дотла,
Шальная пуля приласкалась,
И – словно женщина, сожгла!
О, нет, сожгла меня не пуля,
Другим путём она плыла...
Спалили женщина в июле,
Ты – этой женщиной была!

ГЛАВНЫЙ ГРЕХ

Все чувства, как обуши, изнасились,
И сам уже пошёл я наизнос,
И до нуля желанья докатились,
Колёса жизни катят под откос!
И сам себя я, други, не помиловал,
Когда пошёл с душою на разрыв,
И – как маньяк – её я изнасиловал,
И вместе с телом – глубоко зарыл!
Земля накрыла, словно чернь крутая,

И в чернозёме я смердел, как смерд,
Вот так медведь добычу зарывает,
И сторожит, – покуда всю не съест!
Из-под земли, как тень глухонемая,
Я восставал – почти что невесом,
И на меня судьба моя слепая
Накатывала Красным Колесом!*

Накатывала, как Средневековые,
Пытая как подвыпивший палач,
Но – главный грех, хоть прочих очень много:
Был в жизни хладен... Лишь в стихах горяч!
С любимыми я часто расставался
И уходил от сладостных утех,
И – как скопец, безгрешным оставался,
И этот грех – страшней, чем свальный грех!
О, лишь бы путь мой снова стал беспутен,
Как мысли хульные и хульные грехи,
И кажется: мне чёрт «святой» Распутин
Нашёптывает грешные стихи!
Милы хлыстов мне банные причуды,
Где грех один – берут на душу все...
Со мной «Святой» Григорий – чудо-юдо,
И я забыл о Красном Колесе!

* Имеется в виду Великая Эпопея Александра Солженицына
«Красное Колесо».

ШИРОТА И ДОЛГОТА

Великие цари и полководцы,
Вы шли, считая всё, как Божья рать,
И только бабьего лукавого народца
Не удалось сломить и обломать!
Вы плыли, словно мудрые дельфины,
Как синие огромные киты...
А ночью растворялись исполины
Средь бабьей широты и долготы!

Средь этой широты и долготы –
И полководцы – лишь слепые черви,
Какие-то подземные кроты,
В них растворился даже Питер Первый!
Никто народец сей не обломал,
Такой сладимый и такой порочный...
О, бедный Гамлет, ты сошёл с ума,
И – не на датской, а – на женской почве!

ПАДШИЙ СВЕТ

Памяти Лермонтова, Верлена и Рембо

Метал нам пригоршнями звёзды
С небес неведомый гигант,
Они несли свой отсвет грозный,
И верной гибели талант!
И падали той смертной ночью
На тело Матери-Земли,
И гасли, словно одиночки,
Но вновь бессмертье обрели!
И – на груди Земли дремавшей
Метался – словно лунный конь,
Тот отблеск ангелов отпавших,
Как падшей женщины огонь!
И – может – до иной Планеты
С земли – небесный нёс прибой-
Все песни ангелов отпетых,
Отброшенных земной судьбой?!
Огонь небесный нам дарящих,
Как Прометеи и волхвы...
И вновь взметнулся свет пропащий
С Земли до самой синевы!
И – кажется – той ночью звёздной,
Из плоти Матери-Земли,
Как будто огненные зёрна,
В – высь – песни ангелов взошли!

Тень в тени

Теневая культовая личность,
Словно в тине, в собственной тени,
Проживал на жалкую наличность,
Прозябал в тоске часы и дни!
Но – в ночи, отбросив все вериги,
Находил на ощупь тайный пульт,
И – Миры он, словно пешки, двигал,
Но – не знал про свой Всесильный культ!
Окрылённый ночью: среди каналов –
Над Невой сомнамбулой витал,
Не срывал шинели с генералов,
Шапку Мономаха он срывал!
Хоть с царя срывал, хоть с президента,
Этого никак не прозревал,
Не постигнув Высшего момента,
Вновь в дневной валился он провал!
И ночная Высшая Реальность
Обходила стороной его...
И себя он отвергал, печалась,
Бог Всесильный мрака своего!

Велвл Чернин

ЕВРЕЙСКО-СЛАВЯНСКОЕ

Обычно я пишу стихи справа налево, но так получилось, что эти написал в разные годы слева направо.

ПИСЬМО В БОЛЬШОЙ МИР

Друзья мои, живущие на воле...

Самуил Галкин

Пишу тебе на языке чужом,
Завистливым, до боли нам знакомом,
Который неизбежен, как погром,
В стране, что притворилась нашим домом:

Здесь увядшие души лежат на земле,
Здесь прозрение, как месть настигает,
Здесь Мессии призыв заблудился во мгле
И свечой одинокою тает.

Здесь в дыму сигарет тонет вечный огонь,
Открываются двери без стука,
Аромат всех цветов обращается в вонь
Здесь, где встречи страшней, чем разлука.

Здесь умерший язык помогает дышать
Тем, кто жив, но обманут с рожденья,
Прорастая былинкой опять и опять
Среди копоты, пыли и тленья.

Я здесь был или не был – не все ли равно?
– Спичка вспыхнет на миг – и погасла.
Ничего не зажжется, забыта давно
Маккавейская сказка про масло.

Здесь, где все, что мое, здесь, где нет ничего,
Где дрожит пустота под ногами,
Кто-то добрый и глупый, презрев статус-кво,
Силу копит для битвы с богами.

ЗЕЛОТЫ

Ерусалим, ты смертельно ранен.
Горло сжимает агонии хрип.
Ты тонешь, как чёлн в грозовом океане,
Но тот, кто дерется еще, еще не погиб!
Из улиц-жил, перерезанных Римом,
Кровь стекает под ноги нам.
Мы вместе умрем с Ерусалимом
Прежде, чем обрушится Храм.

Святая гора на плечах костлявых
Покуда несет обреченный Храм.
Как хочется верить, о, Боже правый,
Что новое чудо свершится там!
Из улиц-жил, перерезанных Римом,
Кровь стекает под ноги нам.
Мы вместе умрем с Ерусалимом
Прежде, чем обрушится Храм.

Из-под ног навсегда уходит
Родная земля, издавая хрип.
И наша мечта исполняется вроде,
Кто умер вовремя, тот не погиб.
И пусть пронзает мечом незримым
Сердце мое Ангел смерти сам.
Я умираю с Ерусалимом
Прежде, чем обрушился Храм.

ШОССЕ КАЛЬКИЛИЯ – ШХЕМ

Раздавленный, униженный, согбенный,
С немой молитвой на устах, я вдруг увидел
В мелькнувших у дорогих мутных окнах
Надежду и внезапно ощутил,
Что нет счастливее меня на свете,
Что я силен и жить еще способен,
Что я люблю печальный теплый свет
И силуэты гор, покрытых мраком,
И этот мир, в который незаметно
Раскрылась дверь и входит Геула.

ШПИОНЫ

Ночь, улица, фонарь...
Александр Блок

Неспешный разговор двух личностей помятых
Про жизнь на улице без фонаря.
Один сказал: «Я скоро еду в Штаты».
Другой сказал спустя минуту: «Зря!

Какие Штаты? Ну, какие Штаты
Тебе дадут их грёбанный green-card?
И что ты там забыл, такой помятый?»
Через минуту – первый: «Новый старт».

И, помолчав, добавил неохотно:
«Мне все обрыдло. Я хочу домой.
На улице прохладно и вольготно,
Но я уже устал бороться с тьмой».

И промолчал второй посланец света,
А только понимающе кивнул.
Он не нашел вербального ответа,
Забыл английский. It's at home so cool.

О ТАКА МОЛЫТВА

*А мы пьём да пьём да мы гуляем,
Ун мир тринкен яин азой ви маим,
Ун мир зогн алэ цузамэн лехаим¹,
Ве-ато тишма мин го-шомаим
Из хасидской песни*

Мы вси звэртаемся до Бога,
Паны, холопы та жида,
Бо Вин це я, бо Вин це ты,
Бо Вин – Илья, бо Вин – Эльогу.
И кривды наши застарили
Ликуе Вин, бо Вин – любов.
Мы вси щаслыви аль-пи-ров,
Хоч видчуваемо биль в тили.
Ва-йоймер Мандельштам, як звисно:
«Дано мне тело. Чёрт из ным,
Таким красивым и дурным!
Хиба ж воно мэни корысно?»
Отак уси – пытаются Бога
И кажут самы що и як,
Бо кожный мае власный смак,
Хоч вин Илья, хоч вин Эльогу.

БРЕЙШИС

Велькый натовп хмарочосив
Стойить мов велэтэнський лис
На тли беззоряного нэба
И тилькы искоркы викон
На кшталт лихтарыкив риздвяных
Як на ялынах майорять.
А де ций натовп, невидомо,
Одначе ж вин, ймовирно е,

¹ И мы пьем вино как воду, и мы все вместе говорим "лехаим"!

Бо як инакше зрозумити
Слова первынни «вайги ойр»?
Сказав – и вмыть – вогни у викнах.

КОНЕЦ НИСАНА

Подумай о правде. Увидишь, не все так уж плохо.
Сквозь тернии к звездам ведет незамеченный путь.
И тот, кто пойдет, не будет, наверное, лохом,
И именно в этом, подумав о правде, вся суть.
Подумай о правде. Она многозначна как слово.
Она непонятна порой. Да, есть ли взаправду она?
Она словно Бог. И нет у нас бога второго.
Но значит ли это, что правда всегда лишь одна?

АВОЙДАС ГА-ЛЕЙВ

Прийшов сёгодня в сынагогу
И бачу: е на майрев миньен
Без мэнэ навить. А нехай!
Не то, що скаржусь я на Бога,
Але...
Я помолывся без кавоны,
Автоматычно, яось сухо,
Байдуже майже, бэ-аль-пэ.
Ни, поважаю я законы,
Але...

Бо так прыемно зайн ин центер²
Для чогось буты необходимым,
Важлывым, навить аф а цайт³,
Хоч бы ин миньен зайн дер центер⁴,
Але...

² быть в центре - идиш

³ на время – идиш

⁴ в миньяне – быть десятым – идиш

И о така души тортур
Терзае мэнэ. Намагаюсь
Трыматись из останних сыл.
Пэрэмогты – дос из майн номэн⁵,
Але...

«ВЕДЬМА НА ИОРДАНЕ»

такого вы еще не читали

Израильский прозаик Яков Шехтер уверенно вошел в еврейскую литературу в конце XX века, заняв место рядом с Ш.-Й. Агноном и Исааком Башевисом Зингером.

На страницах книг Шехтера герои талмудических дискуссий встречаются с «инкарни-рованными» персонажами Набокова, Бунина, Умберто Эко и других.

Подчас это создает удивительные столкновения, параллели и конфликты, ранее не ведомые еврейской литературе.

В рассказах и повестях сборника «Ведьма на Иордане», выпущенного издательством «Книжники», обыденное и житейское нередко пронизано гротеском и соседствует с мистикой каббалы.

Поистине новаторским является стремление писателя решить теологическую задачу - увидеть Высшее присутствие в столкновении и переплетении человеческих судеб.

Книгу можно заказать на сайте издательства, в разделе «Проза еврейской жизни»

⁵ это мое имя – идиш

«Ни словом унять, ни платком утереть»

Памяти Иры Бузько

Два месяца назад внезапно оборвалась жизнь Иры Бузько, многолетнего веб-мастера нашего журнала, автора, друга. Упреки бессмысленны, жалоба мимолетна, сожаления преходящи. Мы собрали несколько воспоминаний об Ире и отыскиали два ее текста, из множества разбросанных в Сети. Маленький цветной мазок на плывущей картине мира.

Анна Файн

ЛЕДИ ЕХИДА И ЦИЛЯ ЦУГУНДЕР

Странно писать воспоминания о человеке, с которым никогда не встречался. Но Ира Бузько занимала в моей жизни важное место, и я не сразу вспомнила, что за прошедшие с момента нашего знакомства годы ни разу не была в Одессе, не пила с ней чай в ее странной квартире (пятиугольной, кажется) и не вела "беседы под луной".

Если кто помнит, в девяностые годы русский язык сошел с ума. Он пережил мутацию – но не ту, о которой писала Татьяна Толстая в романе "Кысь". Просто русский язык отказался строить прозаические фразы, и многие его носители вдруг заговорили стихами. Гениальных поэтов, вероятно, не было вовсе, зато, откуда ни возьми, грибами поперли хорошие. Хороших народилось сотни, а тех, в чьих стихах "что-то было" – тысячи, плохих же – миллионы. Остальное население страдало немотой или гугниво мычало нечто невразумительное, вроде "лизинг.. маркетинг.. форс-мажорные обстоятельства.. стрелка.. разборки".

Экономика России переживала такой, простите за выражение, форс-мажор, что издаваться стало трудно даже гениальным поэтам. Часть хороших и очень хороших уехала в Израиль и Америку,

где их стихи были востребованы лишь в среде им подобных испуганных, но стойких интеллигентов. Зато к концу десятилетия появился интернет. И тогда все хорошие и не очень получили возможность самиздата и доступа к неограниченному множеству читателей.

Но как могли читатели докопаться до настоящей поэзии, когда все вокруг говорят стихами? И вот одесситка Ирина Бузько, выпускница математического факультета ОГУ, создала портал "MoonParnasse". Этот самый лунный Парнас стал местом сбора поэтов хороших и тех, в чьих стихах "что-то было". Откровенных графоманов Ира не пускала на порог. Она была прекрасно образована, хотя ругая ругала советскую школу, и обладала литературным вкусом.

К тому времени, когда лунный Парнас расцвел и разросся, Ира успела побывать в роли одной из зачинательниц знаменитой одесской Юморины, и победить на сетевом конкурсе Тенета-Ринет в номинации "юмор". Она участвовала в КВНах, и там же, на КВНе, познакомилась со своим мужем. На Тенетах она победила, кажется, под псевдонимом Старый Филин. Затем пошла черед прозвищ, "ников" – Хенна, Леди Ехида (ударение на последнем слоге, "ехида" на иврите – высшее состояние души), Циля Цугундер, Левконоя... Она считала себя профессиональным читателем. Постоянно возиться с начинающими авторами, редактировать, элементарно исправлять ошибки правописания – немалый труд, бесплатный, увы.

Все это происходило в древние времена, когда еще не было Фейсбука и прочих социальных сетей. Спорщики встречались на форумах или в гостевых книгах сайтов. Как правило, они прятались за личинами – разного рода черные рыцари, демоны, мартышки, чучмеки и прочие. Однако все, кто достаточно долго интересовался сетевой литературой, знал, кто такая Леди Ехида, она же Хенна, она же Просто Филин. У Иры был узнаваемый стиль. Сколько бы прозвищ она себе ни придумывала, все равно так и не стала "анонимусом". Ее называли "матриархом всея Сети". Фактически, Ира строила Рунет. Для тех, кто искал в Сети поэзию, Ира Бузько была фигурой не менее культовой, чем для остальных – знаменитый Антон Носик. Сегодня нет уже ни Антона, ни Иры, и вместе с ними умерла целая эпоха.

В нулевые русский язык очнулся, и вернулась проза. Помимо Луны, в жизни Иры возшло Солнце – сайт "Солнечный остров", который она возделывала вместе с его владельцем – израильянином Мишей Барамом, известным также в качестве Редактора и Дона Карлеоне. Прозаики Острова делились на несколько подвидов. К первому относились любители, прожившие интересную жизнь. Им было, что рассказать, но они не знали, как. Миша и Ира возились с ними, выправляя тексты, помогая, что-то советуя. В итоге на Солнечном Острове ты мог найти интересный "мумуар" – так Ира называла этот жанр. Ко второму подвиду принадлежали филологи. Эти писали красивые и стильные тексты ни о чем. Ира собирала их, как алмазы, не вправленные в украшения и оттого бесполезные. Наконец, на Солнечном острове жили профессиональные авторы, например, Яков Шехтер. Была еще и небольшая кучка начинающих писак, постепенно перешедших от баловства к более осознанному творчеству.

Вокруг каждого писаки-самоучки составлялся кружок из критиков и болельщиков. Слово "тролль" тогда не употреблялось в его нынешнем значении, не было и платного троллинга. Критики набрасывались на начинающих авторов из любви к искусству, точнее, из нелюбви к самодеятельной прозе, даже если в ней "что-то было". Им отвечали болельщики, и завязывались драки, часто запутанные из-за технического несовершенства тогдашних дискуссионных платформ. Ира защищала своих найденышей – бросалась на критиков со всего маха. Язык у нее был острый, и слишком злые читатели уползали, зализывая раны. Ира при этом писала очень хорошо, но относилась к своему творчеству несерьезно. Раскидывала его по разным ячейкам Сети, так что найти Ирины тексты сегодня могут только морские следопыты. Ей было интереснее возиться с чужим материалом, чем кроить камзолы из своего. Наверное, в этом проявлялся ее альтруизм – поистине редкое качество в человеке.

Прошло время, и сгинула сетевая литература. Кто-то стал профессиональным писателем, кто-то, уже будучи профессионалом, добился успеха. Многочисленные программисты, писавшие рассказы, когда затыкалась недоделанная "прога", совсем пропали из вида. Иногда я думаю: а где Семен Каплан, написавший про-

зительный рассказ о разносчике кофе на рынке Кармель, оказавшемся Машиахом и убитым за это торговцами? Где знаменитая Молли Блум – глава лимеричного движения? Где Анна Маршик, писавшая тонкую психологическую прозу, лишенную знаков препинания, (Ира с Мишей терпеливо их расставляли)? Где ироничная Рыба Пумбрия? Где они все? Электронный ветер разметал сайты, остались лишь рваные и бессвязные страницы, ведущие в никуда. Однако Миша Барам выделил часть территории своего Острова сайту Тель-Авивского клуба литераторов (и его больше нет), а также журналам "22" и "Артикль". И после того, как Солнечный Остров скрылся в туман, Ира оставалась бессменным вебмастером этих журналов.

В конце нулевых и в десятые годы Левконой (так теперь звали Иру) перестала коллекционировать рассказы и стихи. Теперь она публиковала картины, сложенные в "Кладовке Левконой" в Живом Журнале. Картины были тихие, уютные. На них шел дождь, падали багряные кленовые листья, краснели мокрые черепичные крыши, светились чайного цвета окна вечерних дач. Такой же уютный и добрый мир Ира построила в "Сказках старой жабы", опубликованных в ЖЖ. Очень узнаваемые жаба Гвендолен и крыса Грызельда радовали мягким юмором и неожиданными словесными находками.

Когда Левконой не стало... Не стало вместе с ней и острой на язык Леди Ехиды, и Цили Цугундер – борца с антисемитами, и мечтательной Хенны.. Когда все они умерли из-за преступной неряшливости одесской медицины и слишком позднего вмешательства американской, я принялась искать в интернете написанные Ирой тексты. Нашла немного. Помогли верный Дон Карлеоне и поэтесса Мири Яникова. Отыскался смешной Живой Журнал Герцена с комментариями Огарева, ранние рассказы, несколько стихотворений и, конечно, "мумуар" – повесть о городе Бельцы, которую Ира написала вместе с мамой – Изольдой Фоминой. В ней голос матери перемежается диалогами с дочерью и голосом самой Иры – этот единственный текст она опубликовала под своим настоящим именем.

Пусть же ее голос будет услышан, а память о ней не пропадет в бесконечном море информации.

Ирина Морозовская

ПЕЧКА ИРА

Я долго ждала какого-то знака от Иры, неколебимо уверенная, что он будет. И дождалась во сне.

Сон был о том, будто я себя достраивала, как дом, другими людьми. Кто-то был окнами в мир, дверями наружу, балконом или лестницей. Ира Бузько была печью. Такой вот большой русской печкой посредине избы, которая и для тепла, и для готовки, и опора всему. И после пожара остаётся нерушимо посреди пепелища.

За жизнь я трижды, не меньше, отстраивала себя из личного пепелища заново вокруг этой печи. Ира всегда была теплом и опорой и огнём внутри. И вообще внутри – больше, чем снаружи. Что для социума, что для меня лично.

Я всё ещё не поняла, как мне жить дальше без неё. Проще думать, что она уехала далеко и надолго – как и вправду за полгода до смерти уехала к сыну на другой континент. Мне, собственно, почти всё равно было, где она находится технически, лишь бы ей было уютно и спокойно. Я и теперь думаю, что она опять переехала – куда-то ещё дальше.

С Ириной Бузько мы были знакомы большую часть нашей жизни – она попала в группу мехмата университета, куда массово пошли мои одноклассники из нашего маткласса. Ира была единственной, кто понимала цитаты из "Волшебного двурога", любимой математической книги ранней юности. Сдружились уже позже – когда эти самые наши, близкие каждой по отдельности общие друзья, переменили страны обитания – кто куда. У нас, похоже, и выбора особого не осталось, как сблизиться.

Получились много лет близкой дружбы. У меня остались подарки – и полезные – утварь, посуда, пледы (сама помню, как вы-

бирала ей в подарок на ДР лучшую кастрюлю на Новом Рынке), и для красоты, и для радости – просто радости, которую мы друг для дружки творили и умножали. Мне теперь кажется, Ира была в этом искуснее меня. Я разве что лягушек отовсюду и всяких-разных привозила. До сих пор тянется рука к очередной – и падает....

Ира в нашей жизни удалась таким человеком, на которого можно было положиться полностью и абсолютно, безоговорочно. Даже просить не надо было – мыслимое и немыслимое делалось само. В 2006, когда я разломала руку вдребезги, Ира приходила купать меня и расчёсывать, приговаривая ворчливо, что потеряла навык, потому что собственные её дети давным-давно в этом самостоятельны. Дети её действительно оказались прекрасно самостоятельны, а она поддерживала их и в этом и во всём прочем, как я видела.

Ира была невероятно талантлива и меня, тщеславную, удивляло, что прятала это за множеством псевдонимов (Левконое, Жабa в Манжетах, Букет Левкоев, может и ещё какие). Она писала очень точно, смешно и едко. Пародийно и трогательно. Она редактировала журнал "22" и альманах "Артикль" до последнего. Много чего успела сделать. Не могу передать жалость от того, что всё это – в прошедшем времени.

Когда Ира уезжала, кошка Клякса отправилась жить ко мне, на историческую родину. Лет 12 назад, младенцем-котёнком Ира взяла её у меня. Кошка Клякса поначалу вела себя, как кошка на передержке. Бывают у нас и такие. Но одним утром не поскреблась, как обычно, ко мне в дверь, а попросилась мяуканьем. А в комнате начала играть с кем-то незримым – ну как обычно кошки играют. Я вдруг сообразила-сосчитала, что сегодня – девятый день от Ириного ухода. И выпалила в воздух:

– Ир, если это ты пришла прощаться, то смотри, кошка в порядке. А ты не прощайся насовсем, заходи иногда.

Вот и сегодня кошка Клякса опять разговаривала и играла с той, которую я не вижу, а Клякса – видит. Ей легче, наверное.

Мне эгоистично и непоправимо недостаёт Иры Бузько, Левконой – печки моего личного дома и моего мира. Холодно...

Изольда ФОМИНА, Ирина БУЗЬКО

МАЙН ШТЕЙТЕЛЕ БЭЛЦ

Отрывок из повести.

Опубликовано в журнале Мигдаль Таймс, №73-74

*Кто может писать мемуары?
Всякий. Потому что никто
не обязан их читать.*

А.И. Герцен, «Былое и думы»

*Бэлц, майн штейтеле Бэлц –
Эр цейл мир, алтер,
Эр цейл мир гешвинд,
Вайл их вил висн
Алес а кинд: Ви зет ойс дос штибл,
Вос гот а мол гегланцт,
Ци блит нох дос беймэлэ,
Вос их об фарфланцт?
Мой городок Бельцы –
Расскажи мне, старик,
Расскажи мне скорей,
Так как я хочу знать
Все о детстве:
Как выглядит домишко,
Который когда-то сверкал,
Цветет ли еще деревце,
Которое я выхаживал (лелеял)?*



И я, и дочка – мы выросли в небольшом городке Бельцы в Бессарабии. Мать вывезла меня, еще маленькую, в местечко Чинишеуцы в 1940 году, когда Бессарабию у Румынии отобрали и присоединили к России по какому-то там соглашению, о чем я тогда, конечно, не знала и не подозревала. Но не в этом дело.

В 1944-м, как только Бессарабию освободили, мы туда вернулись из эвакуации. Но теперь уже в городок Бельцы, тоже на севере Бессарабии.

Бельцы – небольшой еврейский городок, о котором поют песню сестры Берри: «майн штейтеле Бэлц» – так звучит его название на румынском и идиш.

Население трехязычное: домашние языки – русский и идиш, официальный – при румынах – румынский, который советские велели именовать молдавским и писать на нем кириллицей. Так я до сих пор на нем и пишу, если приходится.

Школа русская, а молдавский как второй иностранный в школе – в жизни он требовался только на базаре.

Это все присказка, а сказка впереди. Одноэтажный дом, в котором мы жили, окнами выходил на центральную улицу, которая, как вы сами можете догадаться, называлась улицей Ленина. Двор – каре из таких же бывших частных домов.

Соседи по коридору – мадам Векслер (бабушка) и мадам Нейман с детьми Борей и Ритой. Во дворе – мадам Лесник, мадам Ба-

рышник, мадам... забыла... аaaa! Мадам Богомольник! И их дочка, Адэла и их зять Фима, рыжий такой (жили особняком, в глубине двора). Глава семьи Богомольник – известный дамский портной, шил пальто всему бельцкому бомонду.

– Кто вам шил пальто? Богомольник? – спрашивала какая-нибудь дама свою знакомую. Это был комплимент, который означал, что пальто сшито очень хорошо.

А напротив – просто Бетя Львовна и Броня: эти – не мадам, потому что они были приезжие, «советские», и их называть «мадам» не полагалось. Они считались евреями второго сорта, так как были заражены вирусом советскости, скандалили между собой, а сын и внук – Ника – мог оборвать абрикосы с чужого дерева или просунуть палку в дырку сарая и перебить все баночки, припасенные для «закруток».

Этого Нику они били, а в еврейских семьях бить детей совершенно неприемлемо.

Евреи как-то умеют воспитывать детей без наказаний и битья, и дети у них раскованные, свободомыслящие, с чувством юмора, родителей любят и почитают. Может, им и делают внушения и выговоры – да наверняка! – но так, чтобы посторонние не слышали: нельзя унижать детей.

В еврейских семьях мужчина – молчаливый кормилец, добытчик, к нему со всем почтением, но всем остальным заправляют женщины и всякими пустяками его не отягощают. Он молчалив, но слово его весомо и обжалованию не подлежит. И посему во всех эпизодах у меня действующие лица – в основном, женщины.

Одно из моих окон выходит на центральную улицу. Я еще сплю или только просыпаюсь – стук в окно. Не отвечаю, неохота вставать.

– Изольдочка, открой, я знаю, ты дома... Я странный сон видела, хочу тебе рассказать... (Молчу).

– Индюка видела, к чему бы это?

Придется открыть, так как индюк, по ее мнению – это к сердитому мужчине. Это моя приятельница Лиза Сирота, учительница и детская поэтесса, у нее вышло уже два сборника детских стихов в молдавском издательстве. Украинка, женщина приветливая, ласковая и незлобивая. Иногда звонит мне:

– Какое определение мне придумать к слову «паутины»? Вот лето, жара и паутинки среди деревьев лица касаются... каких пау-тин?

– Шершавых, – говорю, чтобы отвязаться.

– Ой, верно! Здорово! Именно шершавых! – Вешает трубку.

А теперь вот индюк приснился, надо толковать. Открываю.

Под моим окном м-м Барышник караулит молдаванок, которые идут на рынок продавать «курей» и уток. Они несут их за ноги связками, вниз головой, крылья растопыренно висят, птицы в каталепсии.

– Кыт дай? (сколько тебе дать) – спрашивает их м-м Барышник и тянет утку к себе.

– Чинч (пять)! – отвечает та, отнимая утку. Утка: крррряя!

– Доу (два)! – Утка оглушительно крикает.

– Патру! (4) – отвечает хозяйка и тянет утку к себе. Кррряя! – орет утка.

– Доу ши жумэатате! (2 с половиной)! Кррряя!

Сходятся на трех, но я уже не сплю.

Перед Песахом старая м-м Векслер-бабушка стучалась ко мне и через дверь спрашивала с неподражаемым акцентом:

– Зельда, вам мацу заказывать?

И получала утвердительный ответ.

Потом стучалась м-м Лесник:

– Изольда, там живые карпы, вам брать?

– Да я их чистить не люблю, – отвечала я...

– Ну, я вам почищу...

– Тогда брать! – с готовностью соглашалась я.

Я – сова. Встаю поздно, и когда выбираюсь, м-м Векслер, окна которой выходят на солнечную сторону (+35. в тени), стонет:

– Ой, вэйз мир, такая жара... Ну, где ваш байковый халат?

– Совсем не жарко, – отвечаю я.

– Эта ночь нашли двое замерзших... – иронизирует соседка.

– А в Израиле еще жарче, – говорю, – вы бы поехали в Израиль?

– Поехала?! Я поползла бы по шпалам! – отвечает м-м Векслер (на дворе 1965 год).

– Бабушка! – раздается из их квартиры голос Бори. – Рита уже час надевает чулки!

– Рита! – кричит, не открывая дверь, бабушка. – Такая старая девка не может надеть чулки!

– Бабушка, Боря кладет мне на голову селедку! – отвечает из-за двери детский голос.

– Боря! – кричит бабушка. – Перестань класть Рите на голову селедку! Ой, вэйз мир, вэйз мир, эти дети сведут меня с ума! Чтоб я уже была там, где ваш дедушка... Боооря! Перестань купаться в моей крови!!!

Но это все так, без злости, нормальный мирный разговор с беззлобно балующимися детьми, с которыми живут исключительно мирно. Она даже не заглядывает в квартиру – знает, что ничего страшного там не происходит и не произойдет.

– Вы слышали? – спрашивает меня соседка. – Утром Броня скандалила с мужем (это советские), и Бетя Львовна (теща) что-то кричала на зятя... и она разбила стекло в двери и махала рукой и кричала, что ее убивают...

– Нет, не слышала, – отвечаю я.

– Ой, Гот... – вздыхает соседка.

У местных такого не бывает.

– Соня, вин гейст? – доносится со двора.

– Эээ, иду искать мэциес...

Во дворе жили три кота: Солдат, Васька и Лизка, который вначале считался кошкой, а впоследствии оказался котом. Имя так и осталось. А у меня был рыженький Ицик.

Иногда я выливала перед нашим входом во дворе на асфальт валерьянки, и все дворовые коты лизали ее и потом валялись, вытирая спинами облизанное место. Шатались, дрались, пели песни, – словом, вели себя, как заправские пьянчуги. Кроме Ицика. Он сидел чуть поодаль и с презрением смотрел на этих плебеев. М-м Векслер однажды не вытерпела:

– А почему вы назвали своего кота Ицик?

– А он же непьющий, – ответила я, и подозрения о моем антисемитизме у м-м Векслер отпали.

Я работаю в школе. Наш химик – мой хороший приятель, Александр Миронович Перкис, лысоватый такой. И вдруг замечаем, что лысина как-то стала меньше.

– Саш, – спрашиваю его, – что ты делаешь, у тебя волосы стали поуще?

– Есть такое средство, – на полном серьезе отвечает он, – «цы-гинэ бэбкес».

Так назывались козьи орешки, или козьи говешки, но это я узнала позже...

– Пойдешь не в аптеку, а в магазин медицинских товаров, что на Ленинградской, там и спроси.

Ну, я и спросила...

– Кто вам сказал?

– Александр Миронович...

– А-а-а! Гейт аран руз...

Сашка был очень доволен.

– А гейт аран руз, – спрашиваю у него на другой день, – это что такое?

– А это, – говорит, – значит «приходите завтра».

И хохочет, гад...

Позже, когда он приехал к нам в гости в Ленинград, он как-то между прочим сказал, что он – прямой потомок царя Соломона.

Я опешила.

– Откуда ты знаешь?

– По фамилии, – спокойно ответил он... Но объяснить ничего не захотел. Не знаю – правда или иносказательно, или пошутил. Кто его знает... Все может быть – ему виднее. А вот мы своих предков, кроме деда да бабки, и не знаем...

ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ –

проходила раньше похоронная процессия – и дальше, дальше, с Шопеном...

Религиозно-национальные похороны, видимо, не разрешались, никогда я не видела черного покрывала с Маген Довид. Перемена декораций совершалась уже там, на еврейском кладбище, а пока что, на ул. Ленина, нельзя было определить национальность усопшего.

М-м Векслер первая подходила к воротам и спрашивала у участника медленно идущей процессии, кого хоронят. Если кого-нибудь из еврейской семьи – все соседи долго выясняли, кем и кому приходится усопший, пусть ему земля будет пухом, хороший человек был, и медленно, печально расходились по своим кухням, сокрушенно покачивая головами и скорбно вздыхая.

На церемонию похорон нееврея – гоя – реагировали короче: тут же возвращались в свои кухни чистить рыбу и начинать шейку. Это был другой мир, который их не касался.

– Что ты помнишь из эпизодов про бельцких обывателей, вообще про Бельцы? Напомни...

– Подумать надо...

Ээээ... Да так, вообще-то ничего конкретного. Ну, Александр Семенович Мейлихзон – этого ты и сама помнишь... Его можно дооолго описывать... Как-то я сказала при нем что-то про А.К. Толстого, он и загремел: «Бунт в Ватикане!» (зачитал полстиха) – и трубно захохотал, потом зачел «Казаки и поляки...» из «Истории государства Российского» и тоже хохотал... Любую оперу мог «напеть», языков кучу знал – несомненно, знал и иврит, и в иешиве учился. Но не рассказывал. Время было не то.

Про него отдельно писать нужно. Гекзаметром...

Вот он что-то вспоминает из своей разнообразной жизни, и вдруг вмешивается его жена, его дорогая Сонечка:

– Ася, ну что ты. Это же было еще до Первой мировой!

Мы просто столбенели от этого.

И очень я довольна, что успела принести ему почитать только что вышедшего тогда «Мастера и Маргариту» и приволокла магнитофон с бобиной Jesus Christ Superstar. Он оценил и то и другое вполне!

Вообще это был человек того же типа, что Тимофеев-Ресовский. Зубр. Учился он в Ясском университете, и на каком-то курсе был один!

Один студент был, и ему читали лекции по полной программе... Только советская власть ему хода не дала: чуждый элемент, 5 графа, сиди и не высывайся. Правда, Сонечка его считала, что не советская власть, а преферанс...

А еще вот что помню: Яков Наумыч, историк – как же фамилия, еще сын у него был, дочка красавица-умница (Чара, а-а! Ну как же, Линденбойм!) – кажется, жена у него была какая-то его родственница... Ага-а!.. Значит, что? Значит, они были правоверные все! Иначе зачем на родственнице жениться? Значит, они хупу делали?

А они все ее делали! Мы ничего не знали! И песни пели промез себя – «Ойфн припечек», фрейлекс. Без нас... Параллельной жизнью. Имена у всех были еврейские (это я знала). Только не

надо злобиться – вот, мол, какие обособленные. Ну и что? Почему они обязаны пускать кого-то в свой еврейский мир? Плохого они нам не делали, это точно. А что хотели жить там, внутри, со своей Торой, ребе, хахамом и шойхетом – это их дело... Ведь надо признать, что были у них основания для... эээ... мягко говоря, неудовольствия на гоев (коммуняк). И преследовали за исполнение религиозных ритуалов тоже ого-го!

А я – насколько равнодушна к православным ритуалам (а официальное сексотское и зажратое православие так просто терпеть не могу!), настолько уважаю еврейско-иудейские ритуалы и заповеди как УНИКАЛЬНОЕ (и, как оказалось – действенное) средство сохранения нации в суперэкстремальных условиях в течение двух ТЫСЯЧ лет!

Так вернемся к бельцким аидам. Вот хотя б тот же Яков Наумович Линденбойм. Он был узником какого-то Бухенвальда или Аушвица. Точно не знаю. Человек такое прошел!.. Его просто сжечь не успели – печи были перегружены.

И что? Может быть, ему платили пенсию повышенную и пр.? Щас. Спасибо, что не сослали... Бабушка мне рассказывала, что он раз за разом подавал в партию (веяние времени – или завучем хотел стать?.. это для Гоголя ситуация, да...) – и его каждый раз не принимали, говоря: а почему ты, еврей, выжил в лагере? Подозрительно!..

Подозрительно... (Хотя если уж подозрительно, то как раз то, что не сослали наши...) Он должен был быть молодым тогда, в лагере – он, мне кажется, моложе бабушки был: сын его был мой ровесник, а Чара всего на лет 5-7 старше меня.

Меня это тогда ужасно травмировало. Жалко было Яшку Намыча. А говорила это на собраниях Зинаида. Директриса-змея. Помнишь ее? Бабушку третировала всяко. У нее еще сестра была, Саша-портниха, беззлобная тихая библиотечарша. Фамилию ихнюю не припомню, а отчество у них – Анфимьяновны, редкое.

– Фамилия Дитятины, а муж у Зинаиды был Маслов, наш физкультурник. Он Зинаиду бил.

Бабушка еще дома насмешливо рассуждала:

– Не понимаю, как это может быть, чтобы беспартийный бил члена партии?

Они, хоть и не еврейки, но напишу. Рассказывала ли, не помню... Дело было лет уже 7 назад. Мистика: гуляли мы по Одессе

и нашли букет тюльпанов, новый, свежий букет. Мы его и взяли. А оказалось, что там четное число цветов, и было это в поминальное воскресенье (когда водку на кладбище жрут). Ну, то есть покойнику кто-то нес, да не донес. А покойничье брать нельзя, ну да я же материалистка-атеистка несгибаемая, как рэпс. И что ты думаешь, в тот же день являются ко мне две мойры с того света, страшнющие, древние, сморщенные – пером не описать... Кто? Та Саша Анфимьяновна и Ольга Гончарова (вот фамилия досталась карге!) – пришли бабушку помянуть!

Елы, грубо говоря, палы, я просто осатанела от них, а главное, еле отбилась: немедленно хотели идти на кладбище! Сидели три часа, рассказывали мне какие-то мумийные сушеные «новости»... Одно мне понравилось: про Зинаиду, что у нее сенилия, ни черта не соображает совсем. Саша (бедная!) слезилась: ну за что ей такое, ведь такая была святая, никому зла не сделала, ни-ко-му...

Я смолчала про плакавшую от ее придинок бабушку, не стала напоминать альбом, который завела Зинаида в школе, и ей туда учителя должны были элоги и оды писать: «Вы – эталон!»

Это Яшка Наумич написал про эталон, но бдительность ее все равно не победил, кажется... Гоголь – нет, Гоголь не осилит... как выживал еврей.

Есть специальная молитва такая – Коль Нидрей, «Все обеты»: в Йом Кипур снимаются с еврея все обеты, данные по принуждению и для спасения жизни...

А потом, когда эти эринии ушли и я на голову себе холодной воды полила, я поняла: это же тот покойник, сквалыга, чьи цветы, нажаловался ТАМ бабушке... И она наслала мне гарпий этих. Вот и не верь. До сих пор, как вспомню их, оторопь берет, до чего жуткие старухи...

Помню старинную кирпичную школу, где директорствовала Зинаида в пору своего расцвета. Здание осталось от румынской гимназии – мраморные полы с черной полосой посередине, высокие окна, чистота и чинность. Во время урока – тишина мертвая... Директрисы все боялись до судорог. Школа была образцово-показушная, передовая, а это значило, что там терроризировали учеников ношением формы и оголтело бросались на все модные педагогические веяния и методы. Которые очень скоро, конечно, оказывались пшиком.

– Да, так про евреев. Ну, про Векслер и Розу ты и сама помнишь. Мадам Лесник (толстая) и мадам Барышник (худая). У мадам Барышник еще бабка была жива – ее мать или кто, но древняя и сушеная, как лист. Летом Барышник ее выводила, сажала в кресло возле дома во дворе. Старушка сидела в кресле молча, но, кажется, соображала. Что-то в этом было трогательное, вечное...

Мадам Барышник заботилась, разговаривала с ней. На идиш говорили. Жалко, сочный такой был язык.

На юге летние ночи теплые, черные, звездные: луна светит как сумасшедшая, жары нет, все дела сделаны... Во двор выносятся маленькие скамеечки, и женщины усаживаются каждая у своего входа. Идет неспешный разговор, и то и дело слышится: а хосн из шейн..., а ингалэ шейн..., а мэйдалэ шейн...

– А сын ыв институте учится на все пятерки, профессор его так любит и после окончания оставляет у себя на кафедре...

– А мой зять – он же занимает такой большой поост – он же главный технолог ыв завод...

– А мне завтра надо провести золовку, она что-то болеет... наверно сэрдце... Вчера у нее было два сердечных приступа: один запорный, другой поносный (на полном серьезе, с большим сочувствием!)...

Все родные красивые, все умные...

Соседка Надя интересуется:

– А почему называется «синагога», в честь кого?

– Наверно, в честь синего Гоги, – отвечает мадам Векслер, чтобы отвязаться.

Когда мы впервые привезли катушку (магнитофоны тогда были катушечные) с песнями сестер Берри, позвали слушать всех соседей. Они слушали все молча, но с таким чувством...

Когда катушка закончилась, м-м Лесник сказала:

– Если бы я вас не стеснялась, я бы плакала...

Городок Бельцы находится на севере Бессарабии, по-румынски он произносится Бэлц, название образовано от румынского слова «балта» – болото, мн. ч. «бэлц» – болота. Городок возник в низине на очень болотистой, сырой почве. Рассказывают, что когда-то в осенние дожди здесь тонули даже всадники.

Есть версия, что в песне имеется в виду станция Белз во Львовской области. Но название этой станции никогда не звучало как БЭЛЦ. Вопрос спорный. Мы, бельчане, считаем песню своей – кому это мешает?

Ирина Бузько

САГА О ПИТЕРСКОМ ДЯДЕ САШЕ И О ПРИВОЗЕ

Недавно обсуждали радости одесского Привоза – фантастические изобилие, характерных тетушек и так далее. И я не могла не вспомнить большого любителя Привоза – питерского дядю Сашу.

Дядей он никому не был, а был он вторым мужем моей маменьки. История их союза заслуживает рассказа. Встретились они по обмену: маменька хотела меняться в полном раздвиге после тяжелого развода с моим отцом и желала избавиться от всех воспоминаний, а дядя Саша был совершенно потерян: он похоронил маму и тоже хотел поскорее все изменить и как-то жить по-новому...

Дядя Саша был блокадным ребенком – они выжили, потому что его матушка нашла у себя в кладовой большую забытую банку гусяного жира с жареным луком. Вот от чего зависела жизнь... но лук он всю жизнь не мог ни есть, ни нюхать, мы готовили ему без лука. Они выжили – но война догнала его уже после победы. Группка детей нарвалась в лесочке на мину... Саша остался жив, но потерял зрение и левую кисть. Он не сдался – и школу закончил по Брайлю, и поступил в университет. И наверное там была героическая мама... Тут медицина вернула ему часть зрения – в толстеннейших очках, но он видел. Закончил университет и пошел в аспирантуру по философии. Затем работал в РАН философом (звучит, конечно, интересно), его статьи печатали, идеи были плодотворны, темой исследований была философия науки. ему поручали проводить какие-то симпозиумы, и у него получалось. Так он дожил до 40 лет. Но без мамы ему стало тяжело и плохо.

Итак, он пришел посмотреть квартиру по обмену. Маменька моя напоила его чаем, а он за чаем читал ей Пастернака и Цветаеву. Пастернак и Цветаева сразили маменьку не хуже стрел Амура. Хотя внешне, в отличие от статного красавца моего отца, дядя Саша был похож на игрушечного бегемотика в толстых очках. Но он остался у нее в тот вечер..

Утром она ушла на службу, а вечером обнаружила его у себя с вещами. Оказалось, что он как порядочный человек совершенно не мыслил и вообразить не мог другого исхода, кроме женитьбы – "после того, что между ними было". Маменька удивилась, умилилась, и... согласилась.

В результате они сменяли обе своих однушки на хорошую квартиру в центре – в тихом сквере возле Суворовского проспекта. И они прожили 25 лет. Она перепечатывала его труды, сначала на машинке, потом на компьютере – у маменьки было замечательное свойство, она никогда не говорила "ой, я это не умею", она говорила "а ну покажи, как!" и освоила компьютер и почту в достаточном объеме для хранения его трудов. Перепечатывая его статьи, она постоянно изумлялась: "вот все слова вроде знакомые. А вместе – ну ни х не понять!" Ее это восхищало, как все умное.

Союз благотворно повлиял на маменьку – она перестала орать и кидаться на людей, и только если кто-то обижал (или ей казалось, что обижал) дядю Сашу – она взмывала на метле и пикировала на обидчика. Вся эта культура, Ахматова и Бродский и вот это вот все, ей жутко импонировала. А говорить с ним было действительно интересно – он много знал, много читал и про войну говорил спокойно, без пафоса и без истерик...

Дядя Саша радикально исправил ее мнение о питерских интеллигентах. Дело в том, что маменька понаехала в Питер из Бессарабии, где еще встречались люди с высшим румынским образованием. Это означало безукоризненные манеры, 5-6 живых языков и еще сколько-то мертвых, римское право и так далее. А в Питере она пошла работать инженером на фабрику не то красные зори не то светлая жизнь, часы там делали. Часы тикали, отмеряли жизнь. И все инженеры были, конечно, с высшим. Маменька была просто потрясена их невежеством и невоспитанностью. Один коллега и начальник считал, что летучие мыши это сказка, вроде русалок. Он же не верил, что в разных местах рассвет и закат про-

исходят в разное время. Как же ты диплом получил? – поражалась маменька. Как все, через ресторан, безмятежно отвечал тот. Она побывала у них на дачах в дивном дремучем сосновом лесу, и нигде не находила домика с косой крышей во дворе. А куда ж тово?.. – поражалась маменька. Так вон же лес рядом, – удивлялись интеллигенты.

Так что дядя Саша репутацию питерских буквально спас!

Ну и летом они приезжали в Одессу. Правда, дядю Сашу смущали наши одесские вопли, ведь одесситы вопят и галдят, совершенно без агрессии, и он немного пугался. И тут же шел на Привоз. Он был неплохо обеспечен – зарплата "академика", плюс инвалидная пенсия, по российским меркам ничего особенного, но для нашей южной нищеты это было солидно... а в сочетании с ценами на Привозе – сражало питерских наповал.

Как блокадник, дядя Саша совершенно не мог вынести, если в морозилке было свободное место: он забивал морозилку мясом с плотностью нейтронной звезды. Но Привоз очаровывал не мясом, главный экстаз – ароматное копченое сало, грудинка, почеревок... Толстые пласты нежнейшего розового сала с прослойками мяса, дядя Саша тут же приобретал "своих" тетюшек, которые, заведя его, сиренами звали "иди ко мне, солнце, попробуй" (эта манера обращения несказанно изумляла его питерскую чопорность). Вторым экстазом была соленая козья брынза, которую надо было "ложить" на свежую белую булку, намазанную домашним маслом – "пробуйте мое масло", желтое и душистое.

Об овощах и фруктах я уже и не говорю. Когда дядя Саша впервые попробовал степной помидор – он возопил: он же сладкий! Степные помидоры растут горячими, они действительно сладкие, и если вы их не пробовали, то вы не ели помидор...

Ходить на Привоз был не просто поход за продуктами, это был экзотический момент счастья от изобилия (особенно если сравнивать с питерскими ценами), и чудесное общение с ласковыми титоньками в белом накрахмаленном, которые его сразу полюблили, узнавали и привечали с южным радушием и непосредственностью. А копченая скумбрия совершенно золотого цвета, с икрой внутри! А гефилте фиш "как у мамы" – и это была правда, а фаршированная шейка, нежная как облачко... Домашние колбасы колечками с упоительным ароматом копчения и чеснока!... их просто хотелось

схватить и рвать зубами! Никто не резал эту колбасу пошлыми кружочками — завладев колечком, счастливец впивался в него!

Были еще соленья — бочки белоснежной капустки с хреном, розовой украшенной клюквой, всех видов и сортов квашенные помидоры, от которых попробовавший покупатель издавал стон, и огурчики разных засолов, и бочки с мочеными арбузами, и домашнее молодое вино "изабелла" — не описать и не перечислить!

Уезжая, они увозили в Питер кусман копченого сала величиной с кирпич, и там всю зиму смаковали тонкими ломтиками. И брынзу, упакованную в бумагу (считалось, что бумага хорошо хранит холод).

Шли годы. Но однажды астма схватила маменьку за горло, и скорая не успела. Без нее дядя Саша прожил два года, стремительно превращаясь в овощ. И тихо угас. Врачи сказали, что его мозг пострадал давным-давно, еще от того взрыва 60 лет назад. Оставался только маленький участок. С ним он и жил. Вот такое вам колесо Сансары. Не знаю, зачем я это пишу, но я последняя их помню...

Яков Шехтер

«ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ КУМРАНСКОГО УЧИТЕЛЯ»

*Роман в трех частях. Книга первая «Поцелуй Большого Змея».
Издательство «Время» Москва.*

В руки писателя при экстраординарных обстоятельствах попадает старинный дневник. За дневником охотится некая тайная организация. Но остро-детективную интригу наших дней совершенно затмевают те события, что произошли, по всей видимости, два тысячелетия тому назад. Герой романа, автор дневника, юноша необычайных способностей, приходит в обитель кудесников, живущих в подземельях на берегу Мертвого моря. Похоже, что он - тот, кто впоследствии станет основателем одной из главных религий мира...

«Книга Якова Шехтера — это Гарри Поттер для взрослых».
Алексей Самойлов

СТРЕЛЯЛИ?

Рустам Ибрагимбеков отвечает на вопросы
Якова Шехтера и Михаила Юдсона

ЯМ. Стреляли?

РИ. Стреляли. Стреляют. И будут стрелять. Но как этому противостоять, не утратив человечности? Вот в чём вопрос.

ЯМ. Главным из искусств, для нас, разумеется, является кино. Оглядываясь назад, можно с уверенностью утверждать, что великий советский кинематограф все-таки существовал?

РИ. Конечно, существовал. И интерес к нему с каждым годом растёт; я имею в виду фильмы, создававшиеся вопреки государственным идеологическим установкам.

ЯМ. В потоке продукции киностудий Советского Союза была ли слышна азербайджанская нота? Можно ли назвать фильм «Допрос» произведением азербайджанского национального кино? Или бакинского? Или, все-таки, советского?

РИ. Национальная нотка в азербайджанском кино в основном была слышна на территории Азербайджана. Как правило, то, что нравится азербайджанскому зрителю, не находит отклика за пределами страны. А фильм «Допрос» азербайджанским был только по месту действия.

ЯМ. Шестидесятые годы в Баку, что они значили для братьев Ибрагимбековых? Как эти годы повлияли на бакинскую культуру?

РИ. В шестидесятые годы национальная мозаика, в течение ста лет создаваемая в Баку трудом истории, приобрела законченность: число азербайджанцев достигло 60-65%, и в городе сформировалась среда, комфортная бакинцам всех национальностей. А поскольку в Азербайджане по сей день нет сильной переводческой

школы (даже мировая классика существует в переводах с русского), русскоязычные бакинцы выполняли роль живого канала взаимодействия с общемировыми культурными и научными тенденциями.

ЯМ. Что для вас, автора удивительной пьесы «Дом на песке», означает аббревиатура РДТ? Как получилось, что вас, автора десятков пьес, нескольких книг прозы, в том числе фантастики, и кинорежиссера, все-таки в первую очередь считают киносценаристом? Какая из этих шинелей (гоголевских!) вам больше всего по плечу?

РИ. В лучшие годы своего существования РДТ знакомил зрителя с мировым театральным репертуаром, пока не самоизолировался от внешнего мира. Пьеса "Дом на песке" была поставлена мною в РДТ уже после того как довольно широко шла за пределами Азербайджана, а несколько фильмов по моим сценариям, имевшие зрительский успех, сделали мне «имя». Фраза «все мы вышли из гоголевской шинели» обычно подразумевает творческое и мировоззренческое влияние. Для меня в этом смысле, в каком бы жанре я ни работал, «шинелью» является моя жизнь. К счастью, она продолжает возбуждать во мне желание писать и сама определяет как лучше реализовать замысел: в кино, театре или прозе...

ЯМ. Как свержение советской власти повлияло на культуру Азербайджана и Баку 90-х годов?

РИ. Как и везде на территории бывшего СССР обретение свободы от цензуры быстро обесмыслилось отсутствием господдержки и плохим вкусом частных инвесторов. А с начала двухтысячных из года в год набирала силу законодательно необъявленная цензура. В литературе ситуация лучше, чем в театре и кино. Но существенно сократилось число читателей на всех языках.

ЯМ. Кинофестиваль Восток-Запад, что он значил для вас? Какие картины вам запомнились?

РИ. Потребность в кинофестивале «Восток-Запад» возникла в середине девяностых годов как сопротивление «смещению» Баку в сторону Востока. Опираясь на всё существующую в Баку многонациональную среду девиз фестиваля «Восток есть Восток, Запад есть Запад и встречаются они в Баку», как бы опровергал утверждение Киплинга о несовместимости Востока и Запада. Бакинцам

удалось посмотреть на фестивале фильмы, которые никогда бы не увидели. И воспринимали эту возможность с восторженной благодарностью. А я был счастлив. Пока власти не прикрыли мою затею.

ЯМ. Простите за личное любопытство, как сложилась ваша дружба с великим Занусси? Мы понимаем, что подобное притягивает подобное, но все-таки?

РИ. С Занусси я познакомился в 1968 году, когда приехал в Варшаву в составе делегации сценаристов, состоящей из двух человек – начинающего сценариста Р. Ибрагимбекова и автора сценария фильма «Война и Мир», опытного профессионала Василия Ивановича Соловьёва. Повышенный интерес к руководителю делегации, тогдашнему главному редактору Мосфильма, подарил мне несколько дней общения с лучшими режиссёрами польского кино. Кшиштоф начинал тогда работу над фильмом «Структура кристалла» и очень надеялся, что замысел заинтересует Мосфильм. Я прочитал заявку вместо Соловьёва и порекомендовал её ему. Но времена были такие, что даже главному редактору самой большой киностудии СССР не позволялось проявлять инициативу, не одобренную самым высоким кинематографическим начальством из Госкино. И надежда Занусси создать советско-польскую картину не удалась. Но положила начало нашему очень регулярному многолетнему общению. Он несколько раз приезжал в Баку. Были попытки совместной работы, но, увы, не реализовались не по нашей вине. Не могу похвастаться тем, что мы близкие друзья. Скорее это профессиональное и человеческое доверие друг к другу, проверенное пятьюдесятью годами общения.

ЯМ. Как по-вашему, интернет, дающий любому пишущему возможность «выложить» свой текст – это благо или беда?

РИ. Интернет как огонь, вода, еда, ветер и другие природные явления хорош в меру. Без огня не прожить, а когда его много – пожар. Много воды – потоп, много еды – обжорство. А много интернета – информационная катастрофа, разрушающая одно из основных достижений человечества – право на приватную жизнь. Всё чаще и чаще он нарушает этические нормы и выставляет напоказ самые интимные стороны жизни людей. И вместе с тем интернет великое достижение человеческого интеллекта, дарящее нам новые возможности и делающее его столь же необходимым, как огонь, вода и еда...

ЯМ. Литературные журналы, в том виде как мы их знали – отжили своё? А когда-то цвела же «Дружба народов», или, помнится, питерская «Аврора» была отдушиной, привечала и печатала. Расскажите немного о том писательском времени.

РИ. Время литературных журналов прошло в том смысле, что они потеряли своего массового читателя. Сегодня они помогают тем, кто сохранил им верность, вылавливать настоящую литературу в мутном потоке книжного вала. В годы, когда я начинал писать, напечататься во всесоюзном журнале было знаком качества твоего сочинения. Я помню как радовался появлению своих повестей и рассказов в «Юности», «Дружбе народов», «Авроре». В «Новом мире» довольно долго лежал мой рассказ «В командировке», одобренный отделом прозы. Но у Твардовского были свои приоритеты и рассказ не напечатали. В «Юности» к первой странице моей повести «Забытый август» была приколотая записка (я увидел её уже после того, как повесть была принята) на имя Бориса Полевого, тогдашнего главного редактора: "мы так затягиваем свои решения, что автор, молодой прозаик из Баку, переходит через двор и отдаёт свои рукописи в «Дружбу народов», где их охотно печатают". Записка была написана заведующим отделом прозы Мери Лазаревной Озеровой, в своё время «открывшей» В. Аксёнова, А. Гладилина и др. Полевой учёл её рекомендацию и в тот раз я не успел перейти двор Ростовых, в служебных флигелях которого напротив друг друга размещались обе редакции.

ЯМ. Кто вам нынче литературно близок? Какую прозу вы читаете? Чью поэзию привечаете? Какие пьесы привлекают ваше внимание?

РИ. Читаю я много и по-прежнему бессистемно; чаще то, что «пропустил», в молодые годы. Круг литературно близких авторов довольно большой. В прозе высоко ценю Камю и Голдинга, в драматургии Чехова и Пинтера. Из «наших» с удовольствием читаю Улицкую, Слаповского, Иванова, Сальникова, из израильтян Меира Шалева.

ЯМ. Музыка и живопись – важны в вашей жизни?

РИ. Музыка и живопись люблю на дилетантском уровне. Когда был моложе, уделял им значительно больше времени для общего развития.

ЯМ. Простите, но вы человек верующий, или, скажем так, соблюдающий?

РИ. Я верю в существование Создателя, а все религии считаю дорогами, ведущими человека к обретению смысла жизни за пределами материальных устремлений. Есть люди от рождения обладающие тем, что мы условно называем духовностью. Но большинство из нас нуждается в помощи извне. Это как система Станиславского в театре – она не нужна подлинно талантливым актёрам, но необходима тем, чьи способности необходимо развить до приемлемого уровня.

Человек самое низменное и одновременно самое духовное существо на свете. И каждый день в нём происходит борьба между этими двумя противоположностями его натуры. Назначения религий (конечно же и искусства, и литературы) помогать человеку в этой каждодневной борьбе. Несколько упрощая восприятие мира и места человека в нём, меня можно считать пантеистом. По техническим параметрам я мусульманин, но ведь и иудеи обрезаны?

ЯМ. Что у вас сегодня на рабочем столе? Как вам пишется-издается, ставится в театрах?

РИ. Пишу прозу, основанную на событиях моей жизни, под названием "Успешное поражение". Написал несколько новых пьес, одну из них ставлю сам.

ЯМ. И напослед, пожелайте, пожалуйста, что-нибудь читателям.

РИ. Создатель определяет "улицу", по которой мы движемся в течение нашей жизни, но у нас остаётся право выбора "тротуара", по которому мы осуществляем это движение. Желаю всем и каждому выбрать счастливый "тротуар".

ВЫ ТОЖЕ ПЛАЧЕТЕ, КОГДА ПИШЕТЕ?

Зеев Вагнер беседует с Мариной-Ариэлой Меламед

ЗВ. Марина, насколько я помню, вы из Харькова? Когда вы приехали в Израиль?

ММ. Да. Приехала в 1990 году.

ЗВ. А что было в Харькове?

ММ. Была жизнь, была музыка, которая началась чуть ли не в яслях. Я окончила музыкальную школу. Пошла в училище на 2-й курс, причем, я не была вундеркиндом. Оно как-то само получалось, потому что я сочиняла музыку. Что-то исполняла в филармонии. Я играла на виолончели, у меня была потрясающая учитель Елена Семеновна Шапиро, которая училась в своё время у Ростроповича. Стихи я тогда не писала. Я пела под гитару и преподавала гитару, окончив музучилище по классу виолончели.

Если переходить к подробностям, то они следующие: после моей дивной учительницы в музыкальной школе, когда мне всё удавалось, я попала к учительнице, которая для меня всё повернула в обратную сторону, но теперь я могу ей быть только благодарна ...

ЗВ. Вы, столкнувшись с нею, тогда узнали, что такое антисемитизм?

ММ. Нет, я сталкивалась с мелкими проявлениями и раньше. Когда, например, меня отвели к завучу, они говорили обо мне: «Эта самая ученица Шапиро, о которой так много говорят?» – «Да, она». А меня как будто нет. Такая лягушка сидит в углу, при ней всё обсуждается. Они меня пообсуждали-пообсуждали, я вдохнула-выдохнула: «Моей ноги не будет в этом заведении, и учиться я буду в другом месте у других людей». И фить!

ЗВ. Это 70-е?

ММ. Это 70-80-е. Я окончила музучилище в 1983. У меня было такое отторжение, что хотела уйти из этого училища, но не ушла. Не, ну не потому, всё вместе было... К тому же я в те времена уже учила иврит. Играла на гитаре, пела бардовские песни.

ЗВ. Учили иврит, потому что было настроение на отъезд?

ММ. Для себя учила, лет с 16. У меня был знакомый, замечательный человек, который живет теперь в Израиле. Теперь он раввин, а тогда был просто знакомым мальчиком, ему было 19 лет. Он уже тогда знал Тору. Многие тексты знал наизусть. Он научил меня читать и писать на иврите, когда мне было 16 лет. А дальше я сама пошла. Были люди, которые преподавали иврит в Харькове.

ЗВ. А идиш?

У меня дедушка был из Польши, говорил на идише. Он уехал в Польшу, а потом – в Израиль, из Израиля приходили письма. Он нас пытался всех вытащить, но бабушка была очень больна ...

ЗВ. Вы дедушку не знали?

ММ. Я знала. Но как? – жил в Харькове. В его доме пелись песни на идише. Я до сих пор помню, что при звуках идиша я начинала плакать, никто не знает: было ли это связано с дедушкой. Я была маленькой, когда он уехал. А потом мы к нему ездили. Когда мне было 5 лет, мы с мамой были в Польше. Я помню, что мы ходили по всяким еврейским местам и видели здание, на котором было написано «Театр жидовский». Я остолбенела. Всё увиденное тогда отложилось в памяти. Потом я дедушку здесь знала, когда приехала, то мы встречались, дружились.

ЗВ. Это был мамин дедушка?

ММ. Это был ее отчим. Бабушка была из местечка в Белоруссии, потом переехала в Харьков. Там вышла замуж за замечательного монтера Эпштейна. Влюбилась. Родила девочку, мою маму. И вскоре его посадили. Потом все разъяснилось (папин папа работал в прокуратуре бухгалтером следствия по уголовным делам). Мой папа там бывал и нашел анонимки, которые писались на эту семью. Первым делом посадили моего дедушку Реувена Григорьевича. Выяснилось, что он простой монтер, его отпустили ненадолго, но запретили селиться в определенных местах. Дедушка пришел, чтобы повидаться с маленькой дочкой – маме было три года. Соседи сразу же донесли и его арестовали и расстреляли. После этого прошли годы и ничего не происходило, соседи квартиру эту не получили – бабушка продолжала там жить. На нее папа тоже нашел анонимку о том, что она секретарь Троцкого ни больше, ни меньше. И она попала в лагерь. А там она бы погибла, если бы там не нашелся еврей из Польши Мордехай Ротман,

отчим моей мамы, которого я помню как дедушку потому, что его я знала. И он бабушку спас в лагере от голода.

ЗВ. Идиш у вас из дома?

ММ. Идиш был фоном. От дедушки я помню польско-литовский идиш, а у бабушки – русско-украинский. Через многие годы я осознала, что слышала и то, и это. Я просто слышала и гит и гут, а потом, когда пришла к учителю, то она сказала: «Мы будем учить литературный идиш, а диалекты может быть когда-нибудь потом». У меня была такая истерика! Мне хотелось говорить, как бабушка. Потом поняла, что это мне не светит, надо брать то, что есть, и учить, ничего не сделаешь – учитель прав.

ЗВ. К идишу мы вернёмся через какое-то время. Итак, образование у вас музыкальное?

ММ. Я училась в университете на филфаке. Учебу не закончила, потому что уехала в Израиль, а в Израиле я окончила театральную школу в Иерусалиме. Так что образование у меня разностороннее. Знаете, ходят по фейсбуку такие опросники: кто вы? Кем вы работали? Люди перечисляют по годам...

ЗВ. Так вы?

ММ. Я музыкант. Не потому что я окончила музучилище, я всегда была учителем гитары. Потом я еще стала учителем развития голоса, потом я еще вела театральную студию. Я учитель гитары! Еще я пишу тексты, пишу книги. Сейчас мы провели фестиваль. Идиш – это тоже одно из моих направлений деятельности.

ЗВ. Что вы раньше стали учить – иврит или идиш?

ММ. Идиш, в Харькове были курсы. Мне было грустно, потому что пришлось их оставить. Там был очень славный дедушка, который все это вел. Я читать-писать научилась моментально. Но совпало то, что бабушка в это время уходила. И я даже помню, как я сидела, а в голове крутились какие-то слова на идише. И я поняла, что бабушки не стало. И тут открылись курсы иврита, и я моментально пошла туда. Туда привозили книги и учебники из Израйля.

ЗВ. Вы бывали в Харькове в синагоге?

ММ. Я туда ездила, смотрела. Но были такие времена, что как-то тут в музучилище надо ездить и экзамены сдавать на другой конец города ... то есть с религией у меня были свои отношения. Во-первых, я зажигала свечи, потому что начиталась Шолом-Алейхема ... а также Фейхтвангера... Все почерпнутое оттуда у меня оседало.

ЗВ. В каком возрасте началось?

ММ. Где-то после 10 лет. Фейхтвангера я у папы нарыла в библиотеке. Папа жил отдельно. Сначала моё чтение было как у всех нормальных советских детей – Александра Бруштейн со своей «Дорога уходит вдаль». А потом читала Фейхтвангера и, отлавливая слова, искала перевод. Потом я заметила, что в пятницу – молюсь. Потом стала зажигать свечи. Потом, когда оказалась в Израиле, я обходила помещения на съём и обращала внимание на присутствие или отсутствие мезузы. Мне важно было убедиться, что мезузы установлены.

ЗВ. А у вас была мезуза в Харькове? Вы знали, что это такое?

ММ. Нет, не было. Но я знала, как она выглядит. Я раскрутила в Неве-Яакове мезузу, потому что поняла, что в доме всё плохо и надо что-то менять, а мужчин в доме не было. Мы с моим товарищем раскрутили ее и обнаружили внутри странные «левые» бумажки. А мы дружили с равом Григорием Бергманом, он из Одессы, мы ходили к нему на кидуш. Я пошла советоваться. Он мне объяснил, и теперь я покупаю мезузы в «ортодоксальном магазине» и втихаря меняю в тех местах, где работаю.

Ати Цитрон, абсолютно не религиозный работавший в «Бейт сефер лэ театрон хазути» человек, а то, что он левый, даже не обсуждается.

ЗВ. Как и вся культура наша...

ММ. Я совершенно не оглядывалась и ничего в этом не понимала Как будто бы ходишь и лепишь что-то своё из глины... Я играла там. Это был такой странный театр, о котором мечтал Мейерхольд – что каждый будет режиссер сам себе, что у каждого будет своё настроение. Такой театр, где голые стенки и нет там ничего.... И как-то у меня из чувства протеста то ли самосознание выиграло, но из меня вылез рассказчик – традиционный, нормально одетый еврейский мальчик из Шолом-Алейхема. И в это же время я решила для себя, что буду молиться перед репетицией.

ЗВ. Чтобы войти в образ?

ММ. Ну да! И вокруг меня начали появляться мезузы. Я просто прихожу в репетиционную комнату, а на ней висит мезуза. Захожу в зал театра через чёрный ход – тоже! Вообще у меня были прекрасные учителя – первый был Адаса Фрад, кукол меня научил делать. Кукольники говорили, что, судя по такой экспрессии, у меня

мог быть только один учитель – Адаса Фрад. А Ати был потом. Следующим директором школы был режиссер. Сейчас он в Хайфе ведет курс для клоунов, которые работают в больницах с детьми. Я была счастлива об этом узнать. Я же занимаюсь арт-терапией и с детьми, и со стариками.

Так вот про мезузы. Ати. Я вообще подозревала, что это он. Но он не признался, он не религиозный. А спектакль этот был про идиш и назывался «Джаз в стиле идиш». И он понимал, что я делаю. Я спрашивала: «Ади, как ты понимаешь? Может ты знаешь идиш?» – «Конечно я знаю». И тут же начинал выдавать пачками какие-то слова. Он в Америке сделал докторат по театру. И я спрашивала: «А ты где учил?» – «Он меня учил», – и показывал пальцем на небо. Больше никаких объяснений от него получить не удавалось. И вот тогда во всех местах появились большие, как положено, мезузы, такие же, как я покупаю сама.

ЗВ. В Америке есть то, чего нет в Израиле. Вы можете увидеть абсолютно светских людей, которые говорят на идише. Не дома, но говорят.

ММ. Светский есть не только в Америке. Сейчас же есть много фестивалей для молодых людей, где говорят на идише. Не в Израиле – в Канаде, в Германии. Там есть немцы даже, жутко увлеченные.

ЗВ. Ну это некая мода. В Нью-Йорке в Арбайтен Лиге совершенно левой светской организации, бундовской.

ММ. И на каком они идише говорят?

ЗВ. На литовском.

ММ. Ой, я с октября работаю в хостеле и организовала там небольшой клуб любителей идиша. И ко мне начали приходить бабушки разных лет, посмотреть, что я понимаю и поговорить. Для них это абсолютное счастье подойти и сказать тебе утром «Майн тайре, воз эртах » и это абсолютное счастье, при этом они совершенно не хотели общаться друг с другом из-за того, что идиш разный. Потом это как-то сгладилось, и я стала приносить тексты им, написанные на разном идише – этой на таком, а той – на таком.

ЗВ. Расскажите, как вы пришли к идишу?

ММ. Я слышала бабушку. Но она не хотела, чтобы я его учила, говорила: «Это французский». Потом я вопреки ее воле пошла на курс к этому дедушке и перестала ходить, когда бабушки не стало.

И у меня осталось с той поры несколько песен, которые я пела много лет под гитару. Потом случилось вдруг – Дима Киммельфельд, мой старый товарищ. Мы с ним много разных проектов прокрутили. В свое время он мне открыл дорогу в школу театра, которую я закончила. Дима много со мной работал, он многим открыл эту технику. Дима все время пел в ансамбле «Фрейлахс», пел он на идише, пел со своим братом. Эти спектакли велись и на русском, и на идише, при том, что они очень похожи с братом. Это потрясающий момент. Я еще была маленькая тогда и ничего не понимала. И вдруг несколько лет назад Дима говорит: «Слушай, тут такой проект, еврейские учителя соберутся в Прибалтике, а мы будем петь». Я говорю: «Далеко. Мама. Не знаю, может поехали». И там был еще какой-то человек Ицик. И как-то это все повисло. И говорит: «Идиш, а что, будем что-нибудь делать для начала. Надо же с чего-то начинать. А открой-ка группу в фейсбуке». Я открыла, все сбежались, все начали общаться. Начали что-то обсуждать. Потом какие-то вопросы, я сказала, что на идише читать могу, а говорить нет. Он ответил, а я вас научу. «А как? – я ответила, – Не поеду, времени нет». – «Ничего, – по скайпу!». Раз в неделю, иногда раз в две недели. А я к этому моменту была не просто готова, я перевела уже пару рассказов с идиша на русский просто потому, что мне это было безумно интересно. Я еще в школе делала спектакль этот «Джаз в стиле идиш», он был частично историей, которая была на самом деле, когда в гетто играл джаз. Это была реальная история. Для меня это было связано с еврейскими мудрецами и с потрясающей логикой абсурда и всего. И я это переводила с иврита, рассказ уже был переведен на иврит. И эти рассказы я с большим удовольствием везде рассказывала с припевом, кто понимает идиш? Я тоже понимала очень слабо. Мой отец всегда хотел, чтобы я красиво говорила по-русски. А потом я решила, почему бы не почитать оригинал? Я в фейсбуке кинула клич: «Где находятся короткие рассказы на идише?» Мне в фейсбуке кто-то ответил, дал ссылку, я нашла эти тексты. И первый рассказ я долго переводила со словарем, каких-то дедушек я напрягала и к нему я уже пришла готовой. Он не учил меня азам, мы просто пошли по текстам этой книжки дальше вперед. Я в итоге уже несколько рассказов опубликовала. Я видела один из опубликованных переводов, он один, он детский. И этот абсолютно фан-

тастический идишский юмор там даже не ночевал. Он иногда ночевал в переводах на иврит, и то всё упрощалось. Даже тот рассказ, который я читала про ангела, в переводе на иврит там уже было два мешочка – с умниками и с дураками, с которыми ангел летел и засеивал землю. Но это было не так. Мешочков было три, и это был мешочек с самыми мудрыми.

Кстати, когда я со спектаклем «Джаз в стиле идиш», закончив школу, летела в Польшу, где мы, несколько израильтян, участвовали в театральном фестивале, рядом со мной сидел поляк родом из города Хелма. Я сейчас рассказываю и у меня озноб, потому что это Хелм, и спектакль об этом... и я с ним стала об этом говорить. «Какие евреи? У нас никогда не было евреев». Потому, что всех евреев там убили.

Так вот, сейчас в хостеле, где я начала работать, в Маале-Адумим мама директора этого хостеля Сары-Бэллы Цал, родом из Хелма. Вот. И круг замкнулся.

ЗВ. А знаете, в Москве есть бардовский дуэт «Мастер Гриша».

ММ. Мы с ними дружны.

ЗВ. У него идиш из дома.

ММ. У кого? У Кинера? Вау!

ЗВ. Я его спросил один раз. Дедушка с бабушкой с ним говорили.

ММ. Его брат, живущий в Париже, тоже говорит. У Димы Киммельфельда идиш с детства.

ЗВ. Откуда он?

ММ. Дима? Из Киева. Но при этом он читать и писать не умеет. Есть разница в том, что люди или говорят, или читают и пишут на языке. Далеко не все и то, и другое...

ЗВ. Кроме Хелм вы что-то еще переводили?

ММ. На русский? – я переводила только Хелм. Но я стала переводить почему-то на идиш. Вот меня прямо тянет. И никаких тут нет амбиций, просто мне ужасно хочется. И есть несколько таких вещей, я все равно в итоге прихожу к Шломо и он редактирует их мне. Например, марш «Прощание Славянки».

А еще у меня была песенка на стихи Кима, там и музыка еврейская, в моем переводе она появилась как «Песенка клейзмера», хотя он написал «Песенку актера». Я поняла, если перевести ее на идиш, она обретет нечто и станет тем, чем должна быть.

И еще три сказочки. Я пишу сказочки про драконов и принцесс, они как бы не хулиганские, а литературные. у меня вышла книга этих сказок для взрослых.

Потом, мы иногда с бабушками, когда что-то обсуждаем, стали петь что-то вроде «Крейсер Аврора» на идише.

ЗВ. Это уже хулиганство...

ММ. Да – чистой воды! А «Славянка» не хулиганство?

ЗВ. Нет.

ММ. Есть же теория, что ее написал еврейский человек. Мы со Шломо написали об этом статью на идише и послали ее Сандлеру в Нью-Йорк. Он сказал, что это не совсем идиш. И больше мы ее никуда не посылали.

ЗВ. Вы знаете, почему прощание Славянки?

ММ. Да. Я прочитала все статьи об этом. Там есть и речка Славянка. И это издание на его деньги, это он, а не этот бедный Виктор Агапкин – трубач. Который потом стал музыкантом кстати.

ЗВ. «Прощание Славянки» – музыка еврейская, «На сопках Манчжурии» – тоже.

ММ. Да «На сопках Манчжурии», тут я рада, что вы тоже так считаете, потому что я всегда спорила и уже перестала эту тему поднимать. Но это еврейская песня, и ей положено звучать и на иврите, и на идише.

ЗВ. Я когда-то проверял, музыка еврейских советских композиторов – это музыка еврейская или нет? Теилим ложатся на эту музыку или нет – есть несколько вариантов и если не один не подходит, то тогда уже – нет. Как правило, Теилим на музыку всяких Дунаевских, Покрассов спокойно ложатся.

ММ. Мне записали несколько Теилим, где какая-то совершенно другая музыка.

ЗВ. Почему другая?

ММ. Другая не в смысле фрейлахс. У меня был двоюродный дедушка, он не просто говорил на идише, он был композитором Московского еврейского театра-студии, который был до театра «Шалом» – Евгений Львович Рохлин, брат моего дедушки Юлия Рохлина. Об этом в доме говорили полушепотом: «Дядя Женья пишет для еврейского театра». Так вот, тогда они еще играли на идише. Потом это стал театр Шалом, где играли на русском.

Дядя Женя до того аккомпанировал Изабелле Юрьевой, аранжировал музыку. И вот он приехал в Израиль, они жили в Мигдаль а-Эмеке, а он играл на рояле, он был пианист от Б-га, и говорил на идише. На иврите не мог.

Он там еще что-то играл, что-то дирижировал. Преподавал в музыкальной школе. Он же, когда жил в Москве, ненадолго в Харьков приезжал и мы общались. Помню, он страдал, почему я играю на гитаре, а не на фортепиано. Вообще нас же два музыканта на всю семью Меламед, и сейчас я стала сама себе аранжировать музыку (есть такая программа в интернете), я почувствовала, что ко мне кто-то в ухо стучит. Я две песенки сделала – они у меня есть в мобильнике. Обе кстати – еврейские. Там слова-то не слышно, но я написала музыку на стихи Овсея Дриза.

ЗВ. Когда вы начали писать?

ММ. Что именно?

ЗВ. Сначала прозу.

ММ. Сначала музыку. Музыка в 15 лет примерно... Прозу где-то около 20 лет. Писала все в свой блокнотик. По-настоящему начала писать в Израиле. Я училась в театральной школе на курсе «Рассказчик». И я рассказала очень трогательно, войдя в образ пятилетней себя, про собаку которая была у моего отчима. Эта история была про нас, про собаку, на иврите. Когда мне сказали: «Переведи это на русский», я не смогла это перевести. Я просто поняла, что надо писать заново. С этого момента началось. Вот это был момент – все это и собака из рассказа... Это было в 90-м году.

ЗВ. Я верю, что лучше заново, чем переводить.

ММ. Заново. А на идиш мне страшно хочется переводить. Да и знаний не хватает ...

ЗВ. А когда пошла поэзия?

ММ. А поэзия после 2000 года. Я работала от Сохнута. Были два какие-то момента, которые меня подтолкнули. Я работала в Днепропетровске, дико тосковала и читала Теилим. И вдруг у меня стихи зазвучали в голове. Которые были на тему Теилим.

ЗВ. Как долго вы были в Днепропетровске?

ММ. Да недолго – несколько дней. Я там вела курсы. А потом мы там спектакль ставили. Думала про спектакль, думала-думала, ждала автобус, стояла под дождем. И у меня стали звучать стихи в голове. Я ко всем приставала: "Люди, вы пишете стихи с детства,

а как это? А вы тоже все плачете, когда пишете?", потому что обычно наоборот, сначала пишут стихи, а потом прозу.

ЗВ. Ну в детстве – да, все пишут стихи. Но прозу вы продолжаете писать?

ММ. Да. У меня вышло уже пять книг прозы и книга поэзии.

ЗВ. Теперь расскажите про ваш фестиваль.

ММ. Сначала от сотворения мира. Сначала был человек Стас Аршинов, который организовывал грандиозные фестивали по всему миру. Называл он их «Всемирными». Одним из его проектов было организовать фестиваль в Париже. Вообще вокруг него фестивали возникали сами собой. Фестиваль он назвал «Съезд КПСС» (съезд композиторов, поющих свои стихи). И там мы познакомились с Ириной Маулер, которая живет в Израиле. Поехали с песнями и Булат Окуджава, и другие. Когда мы летели обратно, решили: а что бы нам не сделать в Израиле фестиваль, где люди бы и стихи читали, и пели. И несколько лет мы вели проект, который назывался «Бардовские чтения». А потом мы с Ирой ездили на фестиваль в Бельгию (Саша Мельник позвал нас туда), посмотрели, и нам все это очень понравилось, и позвонили почти одновременно, я ей говорю: «Ира, а давай мы сделаем фестиваль поэтический. Будем делать «Дорогу к Храму»». Ира с большим удивлением меня выслушала: «Ты знаешь, я тебе собиралась звонить на такую же тему».

Это концепция дороги к Храму всей жизни. Ну вот, как-то так все и началось. И собралось много народу, и приезжают члены жюри из Франции, Германии, Бельгии и из России, хотя, конечно же, было много графоманов и просто странных людей. Было много забавных ситуаций. Но это потрясающе интересно собирать такие вот мероприятия. В этом году фестиваль прошел уже третий раз. За это время у нас какие-то вещи уже успели измениться, менялись люди периодически: жюри, участники. Появилась уже некая форма – каждый раз, когда проходит фестиваль, то сначала в интернете несколько месяцев длится конкурс. Победителей интернет-конкурса мы приглашаем в Израиль, и в Израиле проходит не только сам конкурс, потому что это – один день, обычно последний, а перед этим происходят всякие замечательные концерты. Это и «Открытый микрофон», и выступление членов жюри, и мастер-класс, и круглый стол, и наступает такая очень славная ат-

мосфера. Все это мы делаем с Ириной Маулер вместе и приглашаем поэтов и друзей.

ЗВ. Это уже только на русском?

ММ. Да. Но мы думали про переводы короткой прозы и поэзии, но пока это только песни.

ЗВ. Так чего же у вас больше?

ММ. Поэзии. Это же поэтический фестиваль, и, если кто-то поет стихи под гитару, то это – песня. Замечательные люди у нас есть! Это и Светлана Менделева, и Эли Бар-Яалом. У нас Ира обычно отвечает за связи с общественностью. И я интервью даю очень редко, а она выступает с выставками, она художница, а я больше музыкант. Мы как-то дополняем друг друга. Но мы разные в чем-то.

Бывает так, видишь, что приходят люди и начинают читать стихи. И ты оказываешься в совершенно другой реальности. Это не то, в чем ты живешь, это то, что хотела бы твоя душа. Необходимо, совершенно необходимо, хотя бы раз в два года долго слушать стихи. И в этот момент начинаешь видеть мир иначе. И радоваться этим людям.

ЗВ. А вас не напрягает, что может быть много графоманов?

ММ. Во-первых, графоманы отсеиваются, и они не приезжают сюда, потому что происходит первый отборочный тур, отделяющий графоманов от поэтов. Поэтому в жюри достаточно много народа на каждом этапе мероприятия.

ЗВ. Как работает жюри? Кто-то говорит участнику – нет?

ММ. Нет. Каждый член жюри свой голос вкладывает.

ЗВ. Как? Из пяти человек трое говорят – хорошо, двое – графоман?

ММ. Выписываем претенденту три бала. Если все – за, то – пять. Потом определенное количество баллов выравнивается определенной квотой. И это как-то само собой организовалось. Я просто помню, что на первом фестивале нам было очень жалко не дать грамоту людям, которые даже не приехали, а они очень достойны, и издали какие-то заочные призы, чтобы никто не остался за бортом. Ну, что ты сделаешь! В прошлом году была совершенно замечательная дама Софья Бронштейн – прекрасный поэт, она была лауреатом нашего фестиваля, и в самом расцвете она ушла из жизни.

ЗВ. А скажите, среди израильских участников – это алия 90-х или есть те, кто, приехал раньше?

ММ. Это алия 90-х, а из тех, кто приехал раньше, если кто-то и попадает, то в качестве гостей.

ЗВ. Почему?

ММ. Не знаю. Во-первых, с одной стороны из уважения. Если такого человека позвать, то это хорошо. С другой – им не интересен конкурс. Есть люди, которым вообще не очень интересны барды. У нас на прошлом фестивале на конкурсе был поэт из Германии, совершенно замечательный поэт – автор «Глупой лошади» Левин Вадим Александрович, он сказал, что это в последний раз. Тяжело участвовать в таком деле, как выбирать поэтов из поэтов, а ведь на последнем этапе именно это и приходится делать. Это очень тяжело. Поэты – разные.

ЗВ. А если брать тех, кто приезжают из других стран, не из России, то это тоже эмиграция последних 20 лет?

ММ. Я думаю, дело еще и в возрасте. Люди более подъемные им более легко встать и поехать куда-нибудь на фестиваль. Андрей Грицман в этом году был председателем жюри – он довольно много лет живёт в Америке, он редактор журнала «Интерпоэзия». Раньше был Даня Чкония, живущий в Германии, в Кёльне.

Все, кто печатался в «Иерусалимском журнале» – там только часть из нашей алии.

ЗВ. То есть вы не считаете, что есть некое разделение?

ММ. Может быть, есть чисто по-дружески. Люди как бы привыкают общаться кто с кем, с друзьями и соседями, кто кому ближе.

А мой бывший директор Дома пионеров в Харькове, у которого я преподавала гитару и вела клуб детской бардовской песни, теперь ведет еврейскую школу уже много лет – Григорий Иосифович Шойхет. Зовет меня периодически вернуться туда и преподавать иврит. Я ему: «Кто ж из Иерусалима уезжает в Харьков?»

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ АНТИХРИСТА ПО-ТУРЕЦКИ

Ханифе Чайлак беседует с Фыратом Джанером

Фырат Джанер родился в 1976 году в Турции, вырос в Анкаре. После окончания факультета промышленной инженерии в университете Гази получил степень магистра, а затем – доктора наук на отделении турецкой литературы Университета Билькента. В 2006-2011 годах работал лектором в кипрском Американском университете города Гирне. В 2011 году Фырат Джанер вернулся в Турцию и начал работать в Черноморском техническом университете. Большую часть своей взрослой жизни он провел, пытаясь очистить ум от пережитков дискриминационной риторики. Впоследствии он посвятил себя попыткам понять мотивы социальных запросов, которые становятся препятствием друг для друга, и механизмы гегемоний, которые игнорируют эти мотивы.

Начиная с 1996 года в литературных журналах Турции стали появляться рассказы Джанера. Его первая книга под названием “Зеваль” вышла в 2013 году. Написанная в трех различных жанрах и дискурсах, она состояла из драматических стихотворений. В тот же год книга стала лауреатом одной из самых престижных премий Турции – “Литературной премии Джевдета Кудрета”.

Первая повесть писателя “Жалобная песнь” вышла в 2013 году. “Жалобная песнь” повествует о культурном климате, который не позволяет быть ни традиционалистом, ни современным человеком, в то время как главенствующие позиции одновременно занимают и современность, и традиции. Повесть стала антологией жалоб, у которой не было начала, конца, сюжета и каждое издание которой было запланировано отличным от предыдущих.

Вторая повесть Джанера “Плач по птице и кошке” была опубликована в 2014 году. Сюжет в этой книге был отодвинут на максимально задний план. Это было предложение неразрушительной

революции с любовью во главе. Последняя повесть Джанера, “Евангелие от Антихриста”, была представлена читателям в 2018 году. Общая черта произведений Джанера – то, что все они продукт попыток писателя создать нечто теоретически возможное в рамках литературы, но до этого никогда еще не опробованное.

“Евангелие от Антихриста” – попытка Джанера понять тех, кто отделяют себя друг от друга, а потому становятся взаимной противоположностью. В книге два незнакомца, являющихся противоположностями друг друга (один представляет современность, другой – традиционность), не начав диалога, произносят речи, призванные сделать видимым неправомерность того, что их самих пытаются отделить, и правильность того, что отделяют они. В одном интервью Джанер объясняет, почему отдает предпочтение этому типу: “Я убежден, что человек должен разговаривать не в течение всего отведенного ему срока, а лишь пока у него не кончились слова”.

Джанер не рассматривает ни одну из опубликованных книг как “работу”. По его мнению, каждая книга – это тупик в персональном интеллектуальном приключении. Эта мысль, подразумевающая, что только та часть этого приключения, что заходит в тупик, может быть завершена, означает, что попытка эмпатии, которую он предпринял в “Евангелии от Антихриста”, не принесла результата. В то же время, эта мысль создает уникальный элемент повествования. Ни один из отрывков “Фауста”, которые сопровождают одну из речей, не приводятся в повествовании. “Евангелие от Антихриста”, вероятно, более всего – проза о невозможности повествования.

ХЧ. По-вашему, мессия пришел?

ФД. Чтобы ответить на этот вопрос, для начала мы должны определиться со словом “мессия”. К примеру, употребить это слово по отношению к Иисусу – значит ответить в определенной системе верований. Христианство, иудаизм и ислам имеют свое верование в отношении “мессии”. Я бы предпочел отвечать, связывая смысл этого слова и его историческое значение со словом “Махди”. Я убежден, что это главный принцип “мессианства”, то есть, грубо говоря, очищения, махдийства, следования божьему пути. Встать на путь божий... Но кто встанет на путь божий? Один человек, общество, человечество? Ответ у каждого свой. Если речь идет об

одном человеке, то Махди — его воля. Это личная утопия... Если речь идет о становлении общества на путь божий, то Махди — это человек, который, пусть на определенный период, но поведет их в том направлении, которое они видят как божий путь, и станет их проводником, чтобы освободить их из того состояния угнетения и обездоленности, в котором они оказались. Это — общественная утопия... Если же речь идет о становлении человечества на путь божий, то, по всей вероятности, Махди — это невероятная справедливость, об установлении которой все мечтают.

Персонификация идеалов мессианства и махдианства означает взвалить на спину героя-спасителя усилия, необходимые для достижения этих идеалов. Сейчас я могу дать ответ на ваш вопрос: Мессия не пришел, потому что все ждут его прихода. В христианском мире есть шутка, направленная на осмеяние пророка Мухаммада. Согласно ей, однажды Мухаммад испытывают на вопрос того, сможет ли он позвать гору, стоящую напротив, и привести ее к своим ногам. Мухаммад зовет гору, но она не идет к нему. Тогда он начинает сам идти к горе. Когда же его изумленно спрашивают: “Что ты делаешь?”, он отвечает: “Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе”. Даже если цель тех, кто придумал этот анекдот, — осмеять Мухаммада, они неосознанно приписывают ему большую мудрость. Поскольку гора не пойдет сама, если ее звать или ждать. Конечно, я говорю это во имя Антихриста. Я бы сказал, что это плохо, как фанатизм, и напоминает болезненную чистоплотность. Ведь самое хорошее, испортившись, становится самым плохим.

Рассказ посредством риторики иллюстрирует то, что говорится. Делая это, внедряя выдуманного персонажа “рассказчика”, он максимально скрывает человека, который заново создает риторические рассуждения. Помещая туда и другие рассуждения, он заставляет их полагать, что дает им право на жизнь. А драма, даже если и оставляет рассказчика за рамками происходящего, совершает тот же маневр такими инструментами, как поэтическая справедливость и т.п.

Риторика, несмотря на различные легитимные риторические игры, которые она в себя включает, представляется наиболее чистой среди себе подобных. Какие бы хитрости она в себе ни содержала, она не оставляет собеседника без другого собеседника.

Это также порождает чувство искренности. В то же время, когда речь идет об убеждении в чем-то масс людей, риторика – один из самых функциональных и самых опасных методов. Поэт – лучший из ораторов. Вероятно, по этой причине последователей поэтов в Коране обвиняют в ереси. Однако, ораторское искусство выставляет напоказ говорящего, подобно жертвенному агнцу, но в то же время оно оплачивает этим жертвам, вручая им уникальное оружие, которое позволяет им рассказать о своих лишениях, угнетенном и лишенном всего состоянии, защитить себя.

Вот почему я предпочел говорить о риторике в Евангелии от Антихриста, которую я создал как книгу, в которой все ее демонизирующие друг друга стороны сами себе создают защиту.

ХЧ. Идея описать Антихриста как одного из нас?

ФД. Если мы будем рассматривать язык как местонахождение всего сущего, то увидим, что Антихрист присутствует во все периоды истории. В каждой эпохе есть те, кого обрекают быть Антихристом, равно как и те, кого рассматривают как Мессию. Из-за ограниченности ресурсов происходит столкновение интересов одного общества с интересами другого, по этой причине рождается конфликт между обществами. В то время, как одно общество верит, что определенный человек или “тип” выведет его на путь истины, другое общество считает, что он приведет его к нищете. Поэтому, на мой взгляд, Антихрист – не нечто, сотворенное нами, но истина. Мы остаемся жестокими, пока продолжаем не понимать, что для других являемся антихристами. Мы все испытываем необходимость в каком-то количестве справедливости, сострадания. Сострадание – маленький остров в море жестокости, на котором можно вздохнуть. А справедливость – это континент...

ХЧ. Вы можете объяснить слово “фанатик” для зарубежных читателей?

ФД. На мой взгляд, фанатик не осознает собственного невежества. Каждый хочет быть субъектом своих собственных (не справедливых) истин, хочет, чтобы все походило на него. Он хочет, чтобы те, кто на него не похож, страдали, исчезали, более того, впоследствии сгорели в аду. В реальном мире, где ни один человек в полной мере не похож на другого, в рамках исторических обстоятельств фанатик разделяет людей на тех, кто близок ему самому с географической, языковой, религиозной, этнической

точек зрения, называя их “мы”, и тех, кто далек от него, называя их “они”. Он думает метонимически: понижает в значимости и делает главным, восхваляет и обесценивает. Он делает это и в той группе, которую рассматривает как “мы”. То есть внутри себя всех “нас” он делит на других “нас” и “их”. В собственных интересах он нарушает общественные соглашения, которые делают возможным существование “нас”, однако при этом он больше всех защищает правила этих соглашений, дабы не допустить того, чтобы другие нарушали эти соглашения. Говоря коротко, каждый в той или иной степени фанатик. Ведь каждый хочет возвыситься и никто не хочет падать.

ХЧ. Ваши источники обычно – человеческие, но вы предпочитаете описывать их в рамках определенных концепций, создавая предположения. Почему бы вам в таком случае не заняться написанием философских текстов, а не художественной прозы?

ФД. Те, кто занимаются философией, – путники на тропе мудрости. Поэтому философские тексты – это диалог путников, находящихся на одной дороге, которые делят один стол. Если ваши источники – общественные (если вы не якобинец), то вашими собеседниками, на мой взгляд, не должны быть люди, с которыми вы сидите за одним столом. То, что вы адресуете им, – это то, что вы хотите внедрить в их сознание. Более того, обычно я собственной рукой опровергаю свои предположения. Я хочу, чтобы мои тексты были самоуничтожающимися. Ведь моя цель – не продиктовать читателю некую правду, но заставить его начать сомневаться в собственной гипотезе. Поэтому правда похожа на вкусовые ощущения. Если бы вы родились в Спарте, вы бы не воспитывались с общим убеждением о том, что “убивать грех”. “Правда” и “ошибка”... Оба этих слова – оксюмороны с онтологической точки зрения. Философы (а я по большей части вырос на философской литературе) – деспотичные и утомительные учителя. У меня нет учительской жилки. Моя деспотическая жилка очень сильная, но я ее постоянно переживаю. Предпочитаю быть гангреной.

ХЧ. Это трагическое предпочтение? Внутри него есть бунтарство?

ФД. Я придаю большое значение тому, что Маркс называл исторической необходимостью. Бунтарство – заложник поражения. Свидетельством тому – все революции в истории, которые вы-

глядели как достижение успеха. В исторических книгах много материала об изменениях людских сообществ. Европа христианизировалась, Месопотамия стала мусульманской. А правда в том, что и европейцы, и месопотамцы все еще язычники. Чтобы это понять, не нужно заниматься археологическими раскопками ритуалов. Деньги – самый известный идол, которому мы поклоняемся. Слава, власть... Божеств множество. Одежда или протез, который может изготовить себе человек, – не его правда. Насколько “большегрудой” можно назвать женщину, надевшую бюстгалтер с подкладками, настолько же и “монотеистом” можно назвать человека, который поклоняется деньгам, пусть и ходит при этом в мечеть, церковь или синагогу. Вот что трагично – это то, как человек может из-за правды, подобно Эдипу, лишиться себя глаз. Обычно это воспринимается как бунтарство. Но героями становятся самые трусливые. За тем поведением, которое мы обычно считаем смелым, кроются большие страхи. Антигону делает смелой перед царем то, что она трясется от страха перед богами. Человек, который не может встретиться лицом к лицу с собственной правдой, не сможет принять и правду других. Человек, у которого нет связи с собственной правдой, становится узником своих протезов. Человек – завистливое создание. Он жаждет, чтобы все стали узниками одних и тех же протезов.

ХЧ. Могло бы “Евангелие от Антихриста” быть написанным как трагедия?

ФД. Как постмодернистская трагедия... Я думаю, трагедия может быть построена только на истории пророка в эпоху, когда правды слишком много, чтобы она конфликтовала друг с другом, и она очень изменчива. Но, может, оно могло быть написано как комедия. Однако у меня нет таланта и навыков, чтобы написать “Евангелие от Антихриста” как комедию. К тому же, я не настолько мудр. Я злой. Да еще как...

Катя Тув

«Русские» художники в Израиле

Израильское изобразительное искусство формировалось во многом под влиянием русской художественной школы, влиянием выходцев из России. Впрочем, как и литература и другие сферы жизни – от политики до сельского хозяйства. Просто в живописи и скульптуре это более заметно, поскольку в еврейском искусстве изобразительное творчество не имело глубоких, вековых традиций. Религиозные запреты на изображение людей и животных сдерживали его развитие в древности и Средневековье. Если не считать прикладников, изготовителей ритуальной утвари и ювелиров, еврейские художники как таковые появились лишь в эпоху Просвещения (Хаскалы), когда национальная интеллигенция стала приобщаться к европейскому искусству и образу жизни. Поначалу количество таких людей было не велико. И совсем считанные из них обосновались на Святой земле. Почти все являлись уроженцами Российской империи. И естественно, привезли сюда с собой методы и традиции русской живописи. Достаточно сказать, что первую художественную школу еще в османской Палестине – ныне Израильскую академию художеств и прикладного искусства Бецалель – основал в 1906 году литовский еврей Борис Шац.

Лишь в 30-е годы, с волной беженцев из гитлеровской Германии, большого притока художников оттуда, влияние западноевропейского искусства стало очевидным. И то не во всех сферах. В социалистическом Израиле того времени преобладала агитационная стилистика монументальной живописи и графики типа советского агитпропа, что хорошо видно в плакатах того времени.

Самые громкие имена в сфере пластических искусств (такие, например, как Авигдор Стемацкий и Иосиф Зарицкий) тоже были

«русскими», а точнее, выходцами из Российской империи. Они же стали отцами основателями группы художников "Новые горизонты" (1948 – 1963), основное влияние которой сказалось во внесении лирического элемента в живопись и скульптуру и во внедрении в эту сферу элементов абстракции.

В 60-е ориентация израильского общества на Запад отразилась в искусстве ещё более полно. Эталоном и ориентиром стали тогдашние веяния в Западной Европе и особенно – в США. Советский Союз находился за «железным занавесом», репатриация оттуда практически прекратилась, притока «русских» художников не было.

Они стали появляться только с начала 70-х. Тех немногих профессионалов, которым удавалось вырваться из СССР и выбравших для жизни и творчества Израиль, местная художественная общественность принимала довольно радушно. Их приглашали для участия в выставках, в том числе в знаменитых иерусалимских галереях «Нора» и «Дебель», в муниципальных проектах, давали государственные стипендии.

Этот тонкий ручеек превратился в мощный поток в 90-х, с началом «Большой алии» – массовой репатриации из Советского Союза, коренным образом преобразившей Израиль во всех сферах его жизни. Страна заметно «обрусела», возникла своего рода «русская» субкультура, целые отрасли экономики и культуры приобрели заметный русский акцент. Это не могло не сказаться и на художественном творчестве, художественных вкусах, и, соответственно, на интересе к художникам из России и других стран бывшего советского пространства.

По данным министерства абсорбции, занимающегося обустройством новых репатриантов, общее количество прибывших в Израиль с 1990 по 2014 год художников и дизайнеров составило 2692 человека. Маленькая, небогатая и довольно аскетичная страна не могла переварить такое количество творцов, как не могла она и найти применение по специальности тысячам инженеров, врачей, учителей, юристов, музыкантов из бывшего СССР, ставших израильтянами.

У художников (впрочем, как и у музыкантов) было преимущество перед остальными: их творчество понятно и без перевода, но все равно найти выход к новой публике, добиться признания и эле-

ментарно обеспечить себя своим трудом на таком узком пространстве представляло собой чрезвычайно трудную задачу. Стипендии, выделяемые новым репатриантам творческих профессий со стороны государства (тем же министерством абсорбции), могли помочь лишь на первых порах и в весьма гомеопатических дозах. Помощь со стороны художественных организаций, коммерческих структур и меценатов тоже удавалось получить далеко не всем, и она носила эпизодический характер, хотя в начале 90-х предпринимались различные попытки облегчить вновь прибывшим вхождение в профессиональную среду.

Так, при поддержке Иерусалимского союза художников и скульпторов в центре Иерусалима возникла галерея «Плюс», в дальнейшем сменившая название на «Эксодус», специально предназначенная для того, чтобы познакомить израильского зрителя с работами «русских» и «эфиопских» художников. Но в 1996 году галерея закрылась, так как частные пожертвования на нее закончились. Несколько раньше закрылась уже вышеупомянутая галерея "Дебель", существовавшая с 1973 года, которая, наряду с экспозициями известных израильских художников, организовывала выставки непризнанных и неизвестных художников, в том числе «русских».

Несмотря на то, что многие из этих мастеров в СССР были официально признаны, являлись членами Союза художников, работали в Художественных фондах, в известных театрах (как, например, Борис Карафелов – художник-постановщик Театра на Таганке), в Израиле лишь незначительная их часть сумела остаться в своей профессии в новой стране.

Между тем зачастую речь шла о художниках высокого уровня. Это были выпускники лучших учебных заведений бывшего СССР, таких как Академия художеств (институт имени Репина), Мухинское училище (ныне – художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица) в Петербурге, Строгановского института, Училища памяти 1905 года, Московского архитектурного института, ВГИКа и других признанных вузов советской и постсоветской России. Некоторые учились у замечательных художников и преподавателей: Владимира Вейсберга, Осипа Сидлина – ярких представителей "неофициального искусства", классиков советской живописи и графики Соломона Левина, Элия Белютина. Часть из них – такие как,

например, Лев Сыркин и Эммануэль Липкинд, – сами преподавали в высших учебных заведениях СССР.

Интерес к приехавшим из СНГ художникам был вызван, прежде всего, их профессионализмом в технике рисунка и живописи. Кроме того, их творческая манера была близка еще живущим в те годы израильским художникам, получившим европейское образование. Многие из них имели русские корни, такие как Зоара Шац, дочь Бориса Шаца – основателя израильской Академии художеств и прикладного искусства Бецалель, Давид Ожеранский, родившийся на Украине, и другие.

Но уже во второй половине 1990-х годов интерес к «русским» художникам стал заметно ослабевать. Их скопом – лишь по признаку происхождения – записали в разряд слишком традиционных и даже устаревших. В 90-е годы под влиянием американской и европейской моды в израильском искусстве получили развитие видео-арт, художественные инсталляции, компьютерная графика и звуковые технологии. Интерес к живописи, особенно фигуративной, отошел на второй план, хотя и не исчез полностью. В эти годы Исраэль Гиршберг американский художник, репатриировавшийся в Израиль в 1988 году, основал в Иерусалиме школу реалистической живописи, существующую до сих пор. Но в ней не было, и по сей день нет ни одного русскоязычного преподавателя.

В эти годы в результате непростой экономической ситуации в Иерусалиме закрылось несколько галерей, уменьшилось число выставок. Часть художников уехала в Европу и США, некоторые вернулись в Россию. Во второй половине 90-х для многих художников единственным вариантом профессиональной реализации стало преподавание.

Примеры такой деятельности уже существовали. Очень авторитетным педагогом стал Ян Раухвергер: за два десятилетия его ученики составили целую школу. Один из наиболее известных израильских живописцев Александр Окунь, приехавший в 1979 году, много лет преподает в Академии художеств и прикладного искусства Бецалель. Там же учит студентов Жозефина Ярошевич. Анатолий Басин, приехавший в 1980-м, основал собственную школу живописи "Меурав Ерушалми" («Иерусалимская смесь» – так называется популярное блюдо столичной кухни), в которой обучались художники – выходцы из разных стран Исхода. Она

просуществовала с 1991 по 2008 годы. В 2003 году в Иерусалиме при Объединении профессиональных художников Израиля была создана Школа графики Ильи и Тины Богдановских. В 2010 году Школа переехала в Тель-Авив и по сей день существует там при Доме художника. Многие художники стали давать частные уроки рисунка, живописи и графики, другие – основывали свои студии.

На сегодняшний день центрами художественной жизни Израиля с большим количеством русскоязычных участников являются города Иерусалим и Тель-Авив.

В конце прошлого и начале нынешнего века география «русского» участия была несколько иной. В то время на месте бывшего поселения в Самарии возникла и просуществовала почти двадцать лет (1987 – 2005) деревня художников Са-нур, основанная Иосифом Копеляном, Хаимом Капчицом, Марком Сальманом, Галиной Кармели. Примерно через год к ним присоединились Аарон Апрель и покойные ныне – Дмитрий Барановский и Марк Вчерушанский. Впоследствии там проживали и принимали активное участие в ее творческой жизни художники, скульпторы и фотографы Юлия Сегаль, Барух Сацкиер, Мина Минская, Юрий Головаш, Мила и Леонид Зильберы, Владимир Брайтман, Эдуард Левин и мн. другие. Так возник культурный очаг, где художники с классическим образованием нашли все, что было нужно им для жизни и творчества: рабочие площади и дом. Здесь побывало бесчисленное множество ценителей искусства из разных стран. В 2005 году по причине одностороннего размежевания с палестинцами Са-нур был передан Палестинской автономии.

В 2003 году было создано **"Объединение профессиональных художников Израиля"**, которое ныне насчитывает около 150 членов. По уставу, членами объединения могут стать только профессиональные художники, имеющие высшее или среднее художественное образование. Объединение занимается активной выставочной деятельностью в разных городах Израиля и в странах бывшего СССР. Многие выставки Объединения проходили и проходят в Иерусалиме.

В Иерусалиме в 90-2000-е годы действовало несколько культурных центров и проектов.

Группа «Боевые слоны». Группа художников различных стилистических устремлений, отстаивающих свободу творческого самовыражения, была образована в конце 1988 в Ленинграде для участия в общегородской выставке «От неофициального искусства – к перестройке». Несколько ее членов: А. Раппопорт, Е. Жилинский, И. Саркулов, М.Шуйская в середине 90-х годов репатриировались в Израиль и продолжили активную деятельность, используя прежнее название группы. В настоящее время в Израиле проживает только М. Шуйская. Остальные – в Канаде, России и в Америке.

Галерея «Нина». Возникла в 90-х годах и просуществовала до самой смерти её основателя – художника Бориса Лекаря, который устраивал выставки художников в гостиной своего дома в иерусалимском районе Гило. За двадцать лет он устроил в своей квартире более 100 выставок, а в последние годы жизни присоединился к художественной группе «Агриппас 12».

Проект «Антро Ом». С 1994 года на израильской арт-сцене появляется новое творческое содружество – «Антро Ом» – совместный проект Галины Блейх и Юлии Лагус, просуществовавший приблизительно до 2003 года. Проект – активный участник выставочной жизни, создатель DoubleSpace студии, куратор выставок своих друзей-художников, автор «антроарта» – собственной концепции в искусстве. Он несомненно является авангардом израильского современного искусства. На его счету множество выставок в Израиле и за рубежом, его имя появляется в каталогах, газетных статьях, в интернете. В настоящее время Юлия и Галина работают под своими собственными именами.

Новая Иерусалимская сцена. Группа молодых художников, приехавших в Израиль в 90-х годах и получивших высшее художественное образование в Израиле на разных факультетах Академии искусств и прикладного искусства Бецалель. Некоторые из участников группы получили еще в России высшее образование и не только в сфере искусства. В Израиле же они овладели мастерством скульптуры, керамики, живописи, фотографии, что позволило им работать в рамках "разных" жанров и видов искусства. Столкнувшись с израильской действительностью они были вынуждены «обживать» иерусалимское пространство, во многом противопоставляя себя ему. Устраивали «квартирники», открыли видео-салон для про-

смотр авторских фильмов, для своих перформансов привлекали классический балет, предпочитая барочное излишество суровому израильскому лаконизму и отторжению классицизма. Участники группы всё создавали своими руками, включая выставочные пространства. Отсюда и метания по городам и выставки на военных базах. В настоящее время большинство участников группы проживает в Иерусалиме. Часть обосновалась в Москве, некоторые переехали в Тель-Авив. В марте 2015 года группа вновь появилась на Иерусалимской арт-сцене.

Галерея «Теэна» и проект «Спектр». В 1994 году в Иерусалиме было основано Культурно-просветительское общество «Теэна» с целью интеграции вновь прибывших репатриантов в израильское общество и его культурную жизнь. С момента возникновения «Теэна» занималась организацией лекций, семинаров и изданием брошюр на общественно-значимые темы. В 2002 году в помещении Теэны в центре Иерусалима на улице Кинг Джордж, была открыта галерея, куратором которой являлась Катя Тув (автор статьи), для показа работ художников-репатриантов из СНГ и других стран.

В 2003 году был издан первый каталог под названием «Спектр». Название каталога отражало желание показать спектр, разнообразие и потенциал выставляемых художников, причём не только выходцев из СНГ, но и репатриантов из других стран. Например, в выставке студентов школы Анатолия Басина «Меурав Ерушалми» принимали участие Гина Ротем из Польши, Роже Ишай из Франции, ныне покойная ХедиТарьян и Ури Асаф из Венгрии, Даниела Левин – израильтянка. Возраст «студентов» колебался от 24 до 70 лет.

Молодые художники, родившиеся в России и окончившие Академию художеств и прикладного искусства Бецалель, были представлены на выставке «Офнаус» (2004). «Офна» на иврите значит «мода», и на открытии выставки на фоне живописных и графических работ прошел показ мод. Дизайнерами костюмов, моделями и композиторами были сами художники. Следует отметить, что проведение “BodyArt Show” (2005) стало действием революционным для Иерусалима, где очень велико количество религиозного населения со строгими нормами допустимой одежды. Все билеты были проданы, и все залы галереи были переполнены.

Организовывались выставки из частных собраний. Выставка Павла Зальцмана (2005), ученика П. Филонова, была основана на коллекции его дочери Лотты Зальцман, проживающей в Израиле. Среди работ разных лет был портрет Евдокии Глебовой, сестры художника. На большой выставке из нескольких частных собраний – «Другой авангард. Неизвестное искусство в советском и постсоветском пространстве» (2006) экспонировались работы московских (О. Кудряшов, Д. Лион, Ю. Купер, В. Янкилевский и др.) и ленинградских (А. Арефьев, А. Басин, Р. Васми, О. Сидлин и др.) художников.

В 2006 году галерея «Теэна» прекратила свое существование. За четыре года в галерее прошло около 40 персональных и около 20 групповых выставок.

В последние годы работы галереи «Теэна» стало очевидным, что интеграция художников из СНГ в израильский художественный мир является достаточно сложным делом. Для осуществления этой цели мы постоянно приглашали на открытие выставок кураторов основных музеев Израиля, искусствоведов и журналистов, пишущих на иврите и на русском. Некоторые известные художники и скульпторы–израильтяне постоянно посещали галерею.

Выставочные центры. К концу первого десятилетия нынешнего века министерство алии и абсорбции, которое и до этого выделяло приличные средства на поддержку творчества вновь прибывших художников, увеличило бюджет на проекты художников-репатриантов. Это позволило развернуть выставочную деятельность на городских площадках столицы – в помещении Культурного центра "Гармония" на улице Гилель, принадлежащем отделу абсорбции мэрии Иерусалима, в Синематеке, в театре Жерар Бахар. Появилась возможность издавать каталоги. Организация выставок была мною продолжена, но уже на базе иерусалимской мэрии. Появилась также возможность организовывать выставки репатриантов из разных стран, кроме того, возникло новое направление – организация ежегодных выставок «Визитная карточка» при участии студентов-репатриантов, обучающихся в Иерусалиме. В проекте 2013 года в театре Жерар Бахар приняли участие не только студенты Надя Анненкова, Саша Наумов, Поль Розенбойм и другие, но и маститые иерусалимские мастера Израэль Адани, Анатолий Баратынский, Анатолий Басин, Эдуард

Левин. Многие студенты, участвовавшие в выставках «Визитной карточки», сегодня продолжают участвовать в различных городских проектах.

Одна из выставок «Нейтральная полоса. Фотография» (2012) была основана на концепции или понимании того, что художники-репатрианты, уже давно не являющиеся частью общества, в котором выросли (СНГ), в своём большинстве не считают себя частью израильского культурного сообщества. Эти художники живут и творят на своеобразной «нейтральной полосе» между двумя художественными мирами. Их "невостребованность" позволяет им следовать только и исключительно законам Искусства, не зависящим от политических и географических границ. Целью, а также концепцией выставки «Спектр», которая состоялась через десять лет после выхода одноименного каталога, было отразить мозаичность иерусалимской арт-сцены, где разные направления дополняют друг друга, как цвета спектра. Стены выставочного зала были условно поделены на 7 цветов спектра, на каждой из которых были представлены работы с одним доминантным цветом. Таким образом, возникли «красная», «зелёная», «фиолетовая» и т.п. стены, увешанные картинами художников разных по происхождению, образованию и стилю. В выставке приняли участие около 20 художников разных возрастов, в том числе коренные жители.

Поиски идентичности. За годы существования проекта «Спектр» многим художникам пришлось пересмотреть свои позиции, взгляды на искусство и на общество, которое их окружает. За эти годы многие художники-репатрианты, приехавшие в Израиль, или, как говорит еврейская традиция, к себе домой, отказались от подчёркнуто еврейских мотивов, поняв, что «назойливое» использование подобной символики здесь воспринимается как дурной тон. То, что в российских условиях представлялось как бы экзотикой, определённой, хотя и художественной, фрондой, в Израиле зачастую стало выглядеть штампом, чуть ли не китчем. Примером тому может служить судьба художников ленинградской группы «Алеф». Живя в Израиле, многие участники группы перестали использовать сугубо еврейскую тематику, которая была им важна в Ленинграде. Часть художников, приехавших в 90-е годы, продолжила работать, как будто бы ничего не изменилось, другие, поняв, что они находятся в другой культуре, да и само искусство претерпевает колос-

сальные изменения, попытались включить в своё творчество новые темы и новые средства выражения.

Клуб-галерея «Skizza» возникла в мае 2007 г. в Арт-центре Иерусалимского Дома Качества. Его создали и курируют два искусствоведа – Марина Генкина и Марина Шелест и художник Анатолий Шелест. В "Скицце" при поддержке министерства абсорбции (Центра абсорбции художников – новых репатриантов) осуществляются три больших проекта: «Из стран исхода» – каждая выставка представляет творчество художников – выходцев из какой-то одной страны; «ART... АРТ ... וָאָרְט» – ежегодный фестиваль современного израильского искусства (существует с 2012 г.) и «Иерусалимская радуга» – ежегодный фестиваль тематических выставок (существует с 2013 г.). Кроме того, «Скицца» осуществляет также международные проекты.

В Тель-Авиве ситуация была несколько иной. До начала 2000-х годов здесь не было больших, инициированных русскоязычными художниками проектов. Исключением была просуществовавшая (благодаря усилиям ее основателя Якова Лившица) около трех лет **галерея «Бэ-Проздор»**. Наглядной иллюстрацией ситуации в Тель-Авиве тех лет может послужить история создания галереи **Манзон Хауз**. Сначала, с 1999 года, это была просто домашняя студия графического дизайна Александра Ганелина, где он выполнял многочисленные заказы министерства абсорбции по изданию каталогов и другой печатной продукции. Затем подал проект в то же министерство. Через некоторое время у Александра появилась своя галерея в Старом Яффо. В 2003 году она была официально открыта. С 2009 года Ганелин проводит фестивали искусств (выставки художников, сопровождающиеся музыкальными выступлениями) при поддержке того же министерства, в Тель-Авиве, в галерее Старого Яффо – "Хорас Рихтер", а также в галерее "Мигдалор", принадлежащей некоему архитектурному бюро. С тех пор география выставок неоднократно менялась: это был и Яффский музей древностей, и центр культуры вина "Ишанавим", и отель "Синема" и мн. другие.

Немаловажно, что в этой галерее кроме выставочной деятельности случались и продажи. Одной из самых крупных продаж – была продажа целой выставки Александра Канчика, включающей не только живописные работы, но и скульптуры.

В других городах тоже были попытки создания художественных артелей и сообществ. Например, группа **"Трамвай"**, созданная на севере страны в 2000 г. В состав группы вошли: Лена Сметанина, ныне покойный Геннадий Литинский, Павел Ценбахт, Сергей Сыченко, Макс Гуревич, Михаил Коган, к ним позднее присоединился Игорь Каплунович. Задачи группы, кроме чисто коммерческих, художники сформулировали кратко: "...Неважно, каким языком, какими символами пользуется художник, абстракционист он или реалист, концептуалист и т. д... – важно, насколько он профессионален. Насколько он (художник) органичен в этом быстро меняющемся арт-мире".

Новые проекты. В 2010 году в Иерусалиме и Тель-Авиве появились два новых проекта, инициированных русскоязычными художниками, приехавшими в Израиль в 90-е годы в молодом возрасте. Оба проекта рассматриваются инициаторами как интегральная часть израильской арт-сцены и ориентированы не только на узкий круг ценителей искусства, но и на широкую публику.

Проект **ArtInProcess** возник в Иерусалиме благодаря Лене и Леониду Зейгерам, которые создали портал ArtInProcess, представляющий творчество примерно сорока, в основном, русскоязычных художников. Цитата из манифеста, заявленного авторами: **"ArtInProcess** – попытка взглянуть на творческую и частную жизнь художника как на целостную художественную реальность. Произведение искусства как концепт отодвигает творца-художника на дальний план; на первый выходят кураторы, искусствоведы-интерпретаторы, промоутеры – т.е. технологи, инвесторы, менеджеры от искусства. Мы хотим сфокусировать внимание на личности художника как на ключевой фигуре в творческом процессе. Это не коммерческий проект и не творческое объединение, а приглашение к диалогу". Создатели портала живут и трудятся в Иерусалиме.

В Тель-Авиве в том же 2010 году возникла группа **NewBarbison**. Участники группы: Зоя Черкасская, Наталья Зурабова, Анна Лукашевски, Ася Лукина и Ольга Кундина.

Из названия группы понятно, что они считают себя последователями барбизонской школы живописи (19 век). Интересно, что современные израильские искусствоведы считают их продолжателями

традиций не только Барбизонской школы, но и социального реализма, яркими представителями которого в Израиле в первое десятилетие становления государства были Нафтали Безем, Шимон Цабар, Рут Шлос, Дани Караван и др., целью которых было повышение уровня сознательности народа и его влияние на происходящее...

У художниц много общего: они все родились и первое художественное образование получили в СНГ, а затем продолжили свое образование в Израиле и в Европе.

«Русские» художники в Израиле, безусловно, повлияли на состояние и развитие израильского изобразительного искусства в последние десятилетия.

Но их вклад – не только как отдельных мастеров и педагогов, а как особого художественного направления, каким он, безусловно, является, до сих пор не исследован.

Первым шагом к этому, возможно, станет изданная в 2016 году **Арт-энциклопедия «русских» художников Израиля** – репатриантов 70-90-х годов XX и начала XXI веков (редактор-составитель К. Тув). В ней представлены работы мастеров разных школ и поколений, от уже ушедших в мир иной Льва Сыркина, Эммануэля Липкинды, Бориса Лекаря, Александра Путова до родившейся в 1995 году в семье художников-репатриантов из Санкт-Петербурга Беллы Воловник – единственной упомянутой в книге уроженке Израиля.

В судьбах и творчестве этих художников отражены непростые отношения разных культур, а также достаточно уникальный случай адаптации художников русской школы за пределами России.

Эдуард Бормашенко

ИЗРАИЛЬ И РОССИЯ: НЕИЗВЛЕКАЕМОСТЬ ОПЫТА И УСТОЙЧИВОСТЬ ХРОНОТОПА

Борис Родоман в недавнем очерке писал следующее: «На территории Северной Евразии вот уже более половины тысячелетия существует некоторое огромное по площади государство, название которого то и дело меняется, а само государство периодически как бы распадается, исчезает, но снова восстанавливается, возрождается, как Феникс из пепла... при очередной смуте наша держава распадается, а после усмирения снова склеивается».¹ Создается впечатление, что в России бьется загадочный пространственный пульс, сжимающий и расправляющий государственные границы России.

Напрашивается аналогия с историческим бытием Израиля, исходящим по следующей схеме: приход евреев в Сион-смута-изгнание. Сегодня мы находимся на пике третьего пришествия евреев в Израиль, и здесь бьется неведомый пульс, но более временной нежели пространственный, евреи доказали способность выживать в изгнании, вне очерченных пространственных рамок.

Борис Родоман, осознавая цикличность Российской Истории выдвинул «цивилизационно-географическую гипотезу распада», в самом деле, пульс распад-склейка видимо небезразличен к громадным размерам империи и ее ландшафту. Я думаю, что всякая «однониточная» теория (в терминах Г.С. Померанца), предложенная для прояснения такого глобального явления, как ритмичность

¹ Родоман Б. Становление и распад российских государственных образований: цивилизации и ландшафт Северной Евразии, 7 Искусств, 2017, 10 (91).

русской или еврейской истории, будет неполна. Моя гипотеза тоже заведомо будет ущербна, но мне интересны русский и еврейский пространственно-временные пульсы, как феномены сознания, индивидуального и коллективного.

* * *

В ритмичности еврейской ли, русской ли историй обращает на себя внимание эффект неизвлекаемости опыта, события движутся по кругу, обещающему дурную бесконечность, о которой любил размышлять Мераб Мамардашвили. Последующие поколения наступают на те же самые грабли, на которые уже не раз напарывались их предки. В России ритм выглядит примерно так: для охраны гигантской территории требуется свирепая, обожествленная народом власть, выжимающая из населения соки. Периодически власть пытается быть более человеческой (Александр II, Горбачев), а значит, неизбежно ведущей к полураспаду империи, сменяющемуся ее восстановлением при последующем уже вполне людоедском начальстве. Я наблюдал перестройку живьем и убежден в том, что единственной ее причиной было врожденное предрасположение Михаила Сергеевича, в сатрапы и опричники Горбачев не годился. Разговоры о экономическом крахе, неизбежно ведущем к падению социализма – смехотворны, русский народ выдерживал и не такие тяготы. СССР рассыпался не потому, что при Горбачеве не стало колбасы, а потому что Генеральный Секретарь подкопался под народную мифологию.

А мифология эта (коллективное бессознательное в терминах Юнга) не в последнюю очередь основывается на устойчивости священного русского хронотопа. Слово «хронотоп» (от древнегреческого *χρόνος* «время» и *τόπος* «место») придумал Ухтомский; я бы определил его несколько расширительно так: «хронотоп» это совокупность человеческих представлений о пространстве и времени. Затем термин был подхвачен Бахтиным² и через него перекочевал в гуманитарное знание. Российская наука, в силу удаленности от западной и некоторой патриархальной отсталости,

² Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике. Вопросы литературы и эстетики. М. Худож. лит., 1975. стр. 234-407.

обладает своеобразными продуктивностью и глубиной. Стремление быть «в теме», «на переднем фронте», подкачиваемое грантами, играет с западными коллегами дурные шутки.

Привычный, обывательский хронотоп таков: пространство трехмерно (это неплохо иллюстрируют стенки моей комнаты, встречающиеся с полом под прямым углом), а время то ли циклично (Солнце всходит и заходит), то ли линейно (все рождается и умирает).

Со временем – неясность, российское и еврейское времена вроде бы цикличны («что было, то и будет»), а с другой стороны, мир сотворен и предвидится конец света. Но эта непроясненность жить мешает разве очень глубоким и любознательным одиночкам, вроде Эйнштейна, совершившего великую революцию хронотопа, собравшего вкупе пространство и время. Заметим, что эйнштейновский хронотоп нормальным, обывательским сознанием не востребован, и по жизни не нужен и представляет собою жреческий, священный хронотоп ученых.

Впрочем, священный хронотоп существовал давным-давно и представлял собою совокупность священных мест («теменос») и времени. «В узком смысле слова «теменос» – это район храма. В слове «теменос» есть корень «тем» – резать. Впрочем, такой же корень имеет латинское слово "templum" (храм)» (Курт Хюбнер, «Истина Мифа»³). Кажется, тот же самый корень притаился и в template. В самом деле и template, и храм превращают разнузданный Хаос в упорядоченный Космос. Итак, «теменос» – «всякое место, в котором живет бог, или где постоянно находится и возобновляется «архе» (Курт Хюбнер, «Истина Мифа»). А священное пространство и священное время образуют священный хронотоп. Я хочу предложить следующую гипотезу: *стабильность священного хронотопа не в последнюю очередь обеспечивает устойчивость народного существования*. При разрушении хронотопа пресекается бытие народа, как целостности. Россия и Израиль предъявляют поразительно устойчивый коллективный хронотоп.

По мнению Ухтомского, устойчивый хронотоп гармонизирует индивидуальное и народное бытие, этот вывод подтверждают наблюдения замечательного психолога Виктора Франкла,

³ Хюбнер К. Истина Мифа, М. Республика, 1996.

прошедшего гитлеровский лагерь уничтожения: разрушение личности в лагере начинается с разрушения представлений о времени: у заключенных нет будущего, они теряют счет дням и неделям.

Разрушение хронотопа провоцирует и обозначает слом жизненного уклада. Не случайно революционеры первым делом пытаются сломать устоявшийся временной ритм. Французская революция реформирует календарь и вводит вместо недель декады, Октябрьская революция переводит Россию с юлианского календаря на григорианский и вводит жёлтый, розовый, красный, фиолетовый, зелёный дни. Косный народ продолжает встречать Новый год и выпивать по старому стилю, и наплевательски относится к фиолетовым дням.

«Новое время», освященное наукой, не только переименовывает дни недели, но ломает саму структуру традиционного хронотопа. Новое время – время науки – однородно. Мифологическое время – неоднородно, иногда оно тянется, иногда несется вскачь, что куда более соответствует нашему личному опыту: полчаса, отмученные в кресле дантиста, текут для нас куда медленнее, чем те же полчаса, проведенные с любимой девушкой (цитирую А. Воронеля). Зачастую, в мифологическом хронотопе привычного нам неумолимого хода времени самого по себе вообще нет, время неотделимо от происходящих в нем событий.³

В хронотопе науки праздничное время ничем не отличается от будничного; в традиционном календаре, напротив, – самое течение времени в праздник иное. В скобках заметим, что именно однородность и изотропия пространства-времени влекут за собой законы сохранения, на которых, как на гигантской черепахе, покоится храм современной науки. И главное: в изотропном пространстве-времени – нет чудес. Все происходит по установленному законами сохранения порядку.

Не ограничиваясь временем, реформаторы и революционеры переворачивают и священное пространство, перенося столицы. Эхнатон в Египте, введя новый религиозный культ, основывает и новую столицу Ахет-Атон. В древнем Китае столицы меняли местоположение неоднократно. Перенос столицы из Рима в Кон-

³ Хюбнер К. Истина Мифа, М. Республика, 1996.

стантинополь обозначил окончательный крах римской империи. В российской истории перенос столицы из Новгорода в Киев и затем из Москвы в Петербург, и возвращение столицы в Москву был знаковым, мятник русского хронотопа раскачивался и продолжает раскачиваться между востоком и западом. Эдуард Лимонов предлагает отстроить новую столицу России в Сибири. Это грезы, но, если это произойдет, азиатский выбор России свершится.

Москва, даже не будучи столицей, оставалась и остается центром священного русского хронотопа, обладающего поразительной устойчивостью. Когда русский говорит «священная русская земля» – это не метафора, и не фигура речи. Всякая земля, на которую единожды наступил сапог русского солдата, священна. На западе сегодня это понимают плохо, но это тесно чувствуют соседи России, чья безопасность гарантирована лишь желанием и самоотверженностью народа в отстаивании своей земли. Священные земли народов имеют прискорбное свойство пересекаться. Достаточно вспомнить Эльзас и Лотарингию, Донбасс, или судьбу Польши.

Русский человек убежден в том, что осмысленная жизнь возможна лишь в России. Эмигрантская литература так и не стала частью русской литературы. Марк Алданов, Владимир Максимов и Александр Воронель в России совершенно неизвестны. Когда я проживал в пределах Российской Империи, меня печатал недурной журнал «Знание – сила». После переезда в Израиль все мои попытки пробиться в российские журналы твердо заканчивались ничем. Ни журнал «22», ни «Артикль» так и не пробились в «Журнальный Зал». Эмигрантам заказан путь в священный русский мир.

Если священный пространственный порядок поврежден, это значит: на дворе революция. Джон Рид рассказывает такой случай: через неделю после февральской революции он оказался на Красной площади. На площадь валом валил народ. Никто не снял шапку. Кремль перестал быть сердцевиной священного хронотопа. Еще две недели назад это было немыслимо. Так вот, загадочный пространственный пульс, сжимающий и расправляющий государственные границы России, обусловлен устойчивым пульсированием священного русского хронотопа.

Еще более устойчивым представляется священный еврейский хронотоп. Почти невероятно, но еврейский календарь не корректировался с 358 года новой эры со времен главы Санхедрина Гиллеля второго (о поражающем воображение своей точностью и

самосогласованностью лунно-солнечном еврейском календаре замечательно рассказывает статья профессора Шломо Гендельмана «Все врут календари»⁴). Бен-Гурион, как все порядочные революционеры, покушался на еврейские названия дней недели, но сегодня об этом уже никто и не помнит, ибо эти названия произрастают из центра священного хронотопа – Субботы. В Израиле светское население предпочитает юлианский календарь, религиозное держится календаря Гиллеля второго. Не менее стабильна и пространственная компонента еврейского священного хронотопа: «если я забуду тебя, Иерусалим...» Небесный Иерусалим – идеальная, совершенно устойчивая сердцевина священного хронотопа, он не может быть разрушен.

Распад традиционного еврейского общества произошел не после разрушения Храма, а когда немецкие евреи объявили Берлин Иерусалимом. Еще более поразительно, что все проекты создания еврейского государства рухнули, за исключением безумного сионистского предприятия. Судьба государства Израиль нам не известна, но пока жив и пульсирует священный еврейский хронотоп – будут жить и евреи.

Ничто так явственно не обозначает раздвоенность современного еврейского национального существования как фактическое параллельное существование двух столиц: Тель-Авива и Иерусалима. В центре светского хронотопа – Тель-Авив; в нем время однородно, ни Праздники, ни Суббота практически не ощущаются, а ночь мало отличается от дня. Тель-Авив живет в однородном времени современной науки. Об Иерусалиме и говорить не приходится: в Субботу и Праздники Иерусалим живет в священном времени, то ли замершем, то ли вовсе остановившемся. Пространство Тель-Авивского хронотопа не вполне однородно, его точки сгущения смещены к скоплениям денег: бирже, громадным магазинам.

Устойчивость священного хронотопа разрешается неизвлекаемостью опыта. Ведь в священном хронотопе все возвращается на круги своя, что было, то и будет, и нет под Солнцем нового. В нем разгулялась непотопляемая хронотопская ведьма, обну-

⁴ Гендельман Ш. «Все врут календари», Сайт "Маханаим" <http://www.machanaim.org/holidays/kalend/gendelman.htm>

ляющая все усилия прогрессистов и прогрессоров. Мы не знаем причин устойчивости и эрозии священных хронотопов, но пример Израиля и России, кажется, свидетельствует о следующем: народ жив до тех пор, пока его священные пространство-время недвижимы, целостны и не разъедаемы. Реальная, кровавая политическая география напрямую замкнута на священный хронотоп нации и его стабильность.



Publons Peer Review Awards 2018

Publons, in accordance with the recommendation of the Managing Director, hereby recognize

Edward Bormashenko



Редакция журнала "Артикль" поздравляет члена редколлегии, профессора Эдуарда Бормашенко с победой на конкурсе научных достижений 2017 – 2018 г.г.

НЕ ПЛАКАТЬ, НЕ СМЕЯТЬСЯ, НЕ НЕНАВИДЕТЬ, НО ПОНИМАТЬ

Одно из наставлений трактата «Пиркей Авот» в вольном переводе с иврита звучит так: «Найди Учителя». Сегодня этот совет актуален, как никогда. Рухнул авторитет государственных учреждений,

идеологий, растеряли уважение книги и гуру. В России, например, нет личности, имеющей нравственный вес, сравнимый с влиянием Андрея Дмитриевича Сахарова. Мне повезло. Я обрел учителей. Среди них Александр Воронель. Воронель научил спокойно и печально глядеть на мир: *non indignari, non admirari, sed intelligere*, радуясь тому, что есть, и не ожидая лишнего от того, что будет. Воронель – физик-экспериментатор. Физики-теоретики философствуют охотно, обильно и, как правило, скучно; экспериментаторы – немногословны, и философов, побаиваясь, слегка презируют, следуя заветам Леонардо: «Пусты и полны заблуждений те науки, которые не порождены опытом, отцом всякой достоверности, и не завершаются в наглядном опыте, т.е. те науки, середина или конец которых не проходит через одно из пяти чувств», а «мысленные вещи, не прошедшие через ощущение, пусты и не порождают никакой истины, разве только обманчивую; и коль скоро такие рассуждения рождаются от скудости ума, то бедны всегда такие умозрители, и если они родились богатыми, то умрут бедными к старости, так что кажется, будто природа мстит тем, кто хочет делать чудеса» (Леонардо да Винчи, «Об истинной и ложной науке»).

Главное, чему меня научил Воронель, наблюдать, а не выдумывать истину. Побольше наблюдать и упорядочивать, поменьше обобщать. «Все теории когда-нибудь да рухнут, хороший эксперимент останется навсегда.» (А. Воронель) Умно поставленный опыт – прямой вопрос Вс-вышнему, Б-гу книжников и фарисеев. А на дурацкие вопросы Вс-вышний отвечать не хочет, отчего бы Ему общаться с глупцами? Умение задать вопрос-опыт – великое искусство, ему не научишь.

Жадный интерес Воронеля к миру не ограничивается физической Вселенной, не менее макрокосма ему интересен микрокосм-человек. В гуманитарных штудиях Воронелю удалось избежать опасности, подстерегающей натурфилософов: переноса ухваток естественнонаучного метода на изучение-понимание человека. В физике достойно внимания экспериментатора – повторяющееся, воспроизводимое. Человеческий опыт напрочь непереносим и очень ограниченно воспроизводим. Есть истины, которых не узнать, их можно только прожить. «Непрерывность жизни поддерживается нормой, но импульс ей придают ненормальности, отклонения.» (А. Воронель)

И все же гуманитарные рассуждения Воронеля – размышления физика, ибо оперты на реальность, а не на «сон золотой» утопии. Спокойное, заинтересованное наблюдение за людьми диктует снисходительность к человеку, куда более драгоценную любви к нему (настоящей любви к людям вообще я, по правде сказать, и не видел).

В текстах Воронеля органично и парадоксально сплелись еврейский национализм и либерализм, свободное мышление, ограниченное лишь реальностью, и нравственный фундаментализм, твердо запрещающий подлость и предательство (мировые религии и идеологии как-то подозрительно легко с ними мирятся, когда это необходимо для установления на Земле божественного порядка, едва отличимого от дьявольского).

О своем отношении к Воронелю я скажу то, что Александр Владимирович говорил о Сахарове: «Моя жизнь была бы беднее, если бы я не знал его. Я мог бы упустить какую-то необыкновенно важную характеристику бытия. Уникальное свидетельство духовной природы человека. Его несводимость к банальному».

Наталья Зейфман «Еще одна жизнь»

Осенью 2016 года в московском издательстве «Время» тиражом 1000 экз. вышла книга воспоминаний Натальи Зейфман – об отъезде семьи в Израиль в 1991 году (воспринятом как конец жизни и начало новой), о московском лефортовском детстве в сороковых-пятидесятых, о работе в Отделе рукописей ГБЛ, о Каверине, о историке П.А.Зайончковском...

Дина Рубина, представившая книгу в аннотации, говорит о ней так: "Эта книга – не триллер и не детектив, – необыкновенно увлекательное чтение! ".

Книгу можно приобрести у автора, обратившись по электронной почте: nataliazeifman2015@gmail.com.

Илья Корман

ИГРЫ НА ФОНЕ 1939-го

Сборник Борхеса «Вымышленные истории», включавший рассказ «Тайное чудо», вышел в свет в 1944-м году; «Сообщение Броуди», включавшее «Гуаякиль» – в 1970-м. Разделённые четвертьвековым интервалом, два рассказа и «внешне» друг на друга не похожи. «Тайное чудо» – рассказ яркий, начиная с названия и эпиграфа, и «значительный» по содержанию (см. о нём нашу статью «Чудовремя» в журнале «22», №160). Написан «объективно», как бы всеведущим и невидимым автором. «Гуаякиль» же написан от первого лица, и получился рассказ как бы простоватый, это признаёт и «я»-рассказчик (очень похожий на «биографического Борхеса»), приступая к описанию событий «прошлой пятницы» – «о несколько грустном, а в общем, пустячном, эпизоде».

«Пустячным», но неприятным для рассказчика – настолько неприятным, что он даже, завершив изложение событий и разговоров, собрался сжечь записи: «Я перечитываю свои хаотичные записи, которые скорее всего брошу в огонь».

Погодите, профессор, не бросайте! Может статься, вы недооцениваете свой труд.

Прежде всего, отметим, что сопоставляя два рассказа, нельзя отделаться от ощущения какой-то их общности.

В чём она, эта общность?

Во-первых, при всём несходстве двух сюжетов, в их основе лежит один и тот же исторический факт: германское вторжение в Чехословакию (в Прагу) в марте 1939 года и последовавшие гонения на евреев. В обоих рассказах жертва гонений, человек образованный и «творческий», является главным героем (или одним из двух главных). А Прага обоих рассказов – с налётом мистики: Прага

Кафки в «Тайном чуде» и «Голема» Густава Майринка – в «Гуаякиле».

(Строго говоря, вторжение в Прагу упоминается и в «Deutsches Requiem» из сборника «Алеф» (1949), но упоминается сухо, коротко – и это упоминание не имеет никаких последствий).

Во-вторых, в обоих рассказах разыгрывается/упоминается шахматная партия, исходу которой (предстоящему или уже состоявшемуся) придаётся повышенное и как бы мистическое значение.

Итак, «Гуаякиль». Прежде всего, что это за слово?

Гуаякиль – город в Эквадоре. В июле 1822 года там состоялась встреча лидеров двух освободительных (антииспанских) движений: Сан-Мартина и Боливара. Содержание их переговоров осталось неизвестным, однако известно, что произошло потом: «генерал Сан-Мартин полностью отказался от всех своих самых высоких устремлений и передал судьбу Америки в руки Боливара».

Несмотря на то, что рассказ называется «Гуаякиль», действие в нём происходит – в Буэнос-Айресе. Время действия – по-видимому, осень 1939-го, всё того же рокового года.

Однако в рассказе присутствует, как бы «за текстом», и некое литературное расширение – роман Джозефа Конрада «Ностромо» (1904), из которого в «Гуаякиль» переходят некоторые имена и обстоятельства. (Отметим кстати, что «Ностромо» – первый из романов Конрада, в которых «морская» тема оказалась вытесненной темой «социально-политической»). Так, доктор Авельянос и его «История полувековой смуты» – пришли в «Гуаякиль» именно из «Ностромо».

А вот Рикардо, внук доктора Авельяноса – это уже чисто «гуаякилевское» изобретение Борхеса. Рикардо опубликовал дедовскую «Историю полувековой смуты». Кроме того, он обнаружил в архивах деда письма Боливара, интересующие теперь как рассказчика в «Гуаякиле» (alter ego Борхеса), так и доктора Циммермана из Южного университета.

Где, собственно, находятся эти письма Боливара, в какой стране? «Было договорено, что уполномоченное лицо приедет в Сулако, столицу Западного Государства, и снимет копии с писем для их публикации в Аргентине».

И «Сулако», и «Западное государство» (и ряд других названий) – заимствованы Борхесом из «Ностромо».

«Возвратившись домой, я узнал, что доктор Циммерман звонил недавно по телефону и сообщил о своем намерении быть у меня ровно в шесть часов вечера. Дом мой, как известно, находится на улице Чили».

Какое-то странное замечание: «как известно». Кому известно, а кому и нет.

Ладно, не будем мелочными: теперь, после этого замечания, можно считать, что про дом на улице Чили известно всем.

Итак, в шесть часов вечера приходит Циммерман, начинается беседа ... и в какой-то момент «Тринидад подала нам кофе».

Кто такая Тринидад – жена? служанка?

Но дело даже не в этом. Дело – в сочетании «географических» имён: Чили и Тринидад! Вот для чего рассказчик сообщил про улицу Чили – чтобы вовлечь нас, читателей, в словесную игру!

Которую можно продолжить. А именно: Циммерман, прощаясь, «объявил:

– А кофе был великолепен!»

А мы от себя зададим вопрос: а какого сорта был великолепный кофе?

Насчёт сорта никаких указаний в тексте нет, и ничто не мешает нам предположить, что кофе был ... ну, скажем, бразильский. Или – кубинский (и тот и другой были тогда, как и сейчас, популярны – если не во всём мире, то уж точно в Латинской Америке, в Аргентине). А у кубинского кофе есть шесть разновидностей, и одна из них называется ... Тринидад.

Рассказ, вроде бы посвящённый сложной философской проблеме – проявлениям, в различных исторических условиях, а также в сказаниях и мифах, шопенгауэровской воли – не гнушается, однако, и «совершенно детских» игр и загадок.

Но главная скрытая игра в рассказе – уподобление «происходящей на наших глазах» встречи рассказчика с Эдуардом Циммерманом (на тему – кто поедет в Сулако за письмами Симона Боливара) – некоей другой, давней встрече в Гуаякиле между тем же Боливаром и Сан-Марином. В ходе той давней встречи (если судить по последующим событиям) Сан-Мартин отказался от своих

притязаний и «уступил Боливару». Как в ходе «теперешней» встречи рассказчик уступает Циммерману право поездки в Сулако.

Вот, например, рассказчик сообщает: «Когда мы здоровались, я с удовлетворением отметил, что превосхожу его ростом, и тотчас устыдился этой мысли...» Этот вроде бы совершенно незначительный эпизод обретает, однако, новый смысл, если вспомнить, что Симон Боливар был невысокого роста.

Здесь сопоставление-уподобление двух встреч, нынешней и давней, идёт от рассказчика. Но оно может идти и от посетителя, маскируясь под словесную оговорку:

«— В том, что касается Боливара (извините меня, Сан-Мартина), ваша позиция, дорогой доктор, всем хорошо известна. *Votre siege est fait* (Вы свой выбор сделали — *И.К.*)». Иными словами, Циммерман, «забегая вперёд», как бы подсказывает рассказчику, что тому следует отождествить себя не с Боливаром, а с Сан-Мартинном — то есть с тем, кто «уступил другому».

Это уже вторая псевдооговорка. Первая — более сложная, более литературная:

«У меня в кабинете есть овальный портрет одного из моих предков, участвовавших в войнах за независимость, и несколько стеклянных витрин со шпагами и знаменами ... Он поглядывал на них ... и дополнял мои объяснения ... Например, так:

— Верно. Бой под Хунином. Шестого августа, 1824-й. Кавалерийская атака Хуареса.

— Суареса, — поправил я.

Подозреваю, что эта оговорка была преднамеренной».

Да, она была преднамеренной и — «литературной». Имя *Хуарес* впервые встречается у Борхеса в рассказе «Мужчина из Розового кафе» (сборник «Всемирная история низости», 1935). «Росендо Хуарес по прозвищу Грешник был верховодом в нашем селении Санта-Рита. Он заправски владел ножом...» Но вот в Санта-Риту прибывает с Севера Франсиско Реаль, кличка — Резатель, слышанный о славе Хуареса. Он предлагает Хуаресу померяться силами в поединке на ножах. Но тот уклоняется от поединка, уступая первенство Реалю.

Произнеся в «оговорке» имя *Хуарес*, Циммерман даёт понять рассказчику, что ему следует поступить так же, как поступил Хуарес: уступить.

(Ещё раз имя *Хуарес* встречается в рассказе «История Росендо Хуареса» – из того же сборника «Сообщение Броуди», что и «Гуаякиль». Речь идёт о том же человеке, который теперь объясняет, почему он тогда отказался от поединка).

Упомянем ещё одну словесную игру, игру названиями: Карфаген (*Cartago*) и Картахена (*Cartagena*). Названия сходны и фонетически, и в написании. *Семит* Циммерман, проживавший – до своего изгнания – в Праге, занимался историей *семитской* республики Карфаген (*república semítica de Cartago*). А теперь, оказавшись в Аргентине, он отождествляет себя с Боливаром и интересуется письмом последнего, написанным в Картахене.

А ещё надо признать, что рассказ (вернее, рассказчик) не гнушается и ошибками – и тоже какими-то детско-нелепыми:

«– Вы, – сказал я, – говорили о воле. В книге "Мабиногион" два короля играли в шахматы на вершине холма, а внизу сражались их воины. Один из королей выиграл партию, и тут же прискакал всадник с известием, что войско второго разбито. Битва людей была отражением битвы на шахматном поле. – Да, магическое действие, – сказал Циммерман».

Нетрудно проверить утверждения рассказчика (и поддакивание Циммермана) – Интернет даёт для этого все возможности.

«Мабиногион» – это «сборник волшебных легенд Уэльса» (валлийских), составлен в XI – XII веках. Игра в шахматы упоминается только в одной из них, озаглавленной «Видение Ронабви», но упоминается – многократно. Есть упоминания, не связанные с битвой людей, а есть – связанные. Рассмотрим последние.

«И Артур (император – *И.К.*) уселся в кресло, и к нему подошел Оуэн, сын Уриена. "Оуэн, сказал Артур, – давай сыграем в шахматы". – "Хорошо, господин", – ответил Оуэн, и рыжий слуга принес им шахматы, золотые фигуры на серебряной доске. И они начали игру».

Но только они играют не одну партию, а три! И начинают четвёртую.

И в ходе игры к ним один за другим прибывают гонцы с сообщениями о ходе битвы. Сначала сообщения неблагоприятны для Оуэна. И тогда (в самом начале третьей партии) он велит очередному (третьему по счёту) гонцу: «Ступай туда и водрузи мой стяг, и пусть будет что будет».

После этого удача покидает воинов Артура и переходит к «вѣронам» Оуэна. Четвѣртый гонец, пятый, шестой... «Тогда Артур так сдвинул золотые фигурки, стоящие на доске, что они превратились в труху. И Оуэн велел Гору, сыну Регеда, спустить стяг. После этого все стихло, и воцарилось спокойствие».

Итак, рассказчик сообщает Циммерману не совсем то (или даже совсем не то), что написано в «Мабиногионе»:

- игра в шахматы происходит не на холме;
- из двух играющих только один – король;
- сыграна не одна партия, а три, и начата четвѣртая;
- результаты партий – и вообще положение на доске – никак не связаны с ходом битвы воинов Артура с «вѣронами» Оуэна.

Видимо, в процессе написания «Гуаякиля» Борхес не проверил своего давнего впечатления от «Мабиногиона» – не перечитал его (к этому времени он ослеп практически полностью), почему и позволил рассказчику (своему alter ego) допустить нелепые ошибки. Циммерман же, похоже, вообще «Мабиногиона» не читал.

Ну, вроде бы, со всеми играми мы разобрались, и со всеми именами – кроме одного, но двойного: Эдуард Циммерман. Ну, тут нам снова поможет Интернет – и текстами, и картинками. Вот, например, картинка – титульный лист одной старой книги:

ПУТЕШЕСТВІЕ
ПО АМЕРИКѢ
ВЪ 1869 – 1870 г.
ЭДУАРДА ЦИММЕРМАНА
ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ, ИСПРАВЛЕННОЕ,
К.Т.СОЛДАТЕНКОВА.
МОСКВА
ТИПОГРАФІЯ ГРАЧѢВА Н.К., У ПРЕЧИСТЕНСКИХЪ
В., Д. ШИЛОВОЙ
1872
(Впрочем, тут в фамилии двойное «н»).

А вот и текст:

«Книга оказалась чрезвычайно популярна и за три года (1870-1872) выдержала три издания, что было редко в то время. Все эти издания были выпущены на средства известного предпринимателя-старообрядца Козьмы Терентьевича Солдатенкова, создавшего крупный текстильный бизнес и активно занимавшегося книгоиздательством. Именно старообрядцы после Великих реформ стали ведущей силой в русской экономике и проявляли активный интерес к Америке».

И ещё:

«Эдуард Романович Циммерман (1822-?) – писатель, путешественник. Окончил математический факультет Московского университета. В 1857 г. совершил вместе с кн. М.И.Хилковым первое путешествие по Соединенным Штатам Северной Америки и по Венесуэле (Венесуэла примерно соответствует месту действия в «Ностромо» Дж.Конрада – *И.К.*), а в 1869 и 1870 г.г. – второй раз проехал по Соединенным Штатам. 8 лет спустя Ц. совершил кругосветное путешествие, в ходе которого посетил Австралию, Зеландию, Гавайские острова и Северную Америку. Впервые описание путешествия Э.Циммермана было опубликовано в «Русском Вестнике» (1858 и 1859). Им также были изданы «Путевые очерки о поездках его по Средней Азии, Египту, Тунису и Алжиру» («Русская Мысль», 1897 и др.) и по Сибирской железной дороге (1901) в «Вестнике Европы» (1903)».

Мы не знаем, были ли очерки (отчёты) Циммерманна о его путешествиях переведены на английский или испанский языки. Но даже если нет, они могли быть упомянуты в обзорах литературы о путешествиях; а Борхес, великий читатель и книжник, мог эти упоминания прочесть – и запомнить имя автора (быть может, сочтя его еврейским).

Итак, скажем, подводя итоги: *Простоватость «Гуаякиля» – кажущаяся, и он вполне может конкурировать с «Тайным чудом».*

Давид Шехтер

УРОК БУДАПЕШТА

"Ассоциация русскоязычных журналистов Израиля" регулярно организует заграничные путешествия для своих членов. Они не только гуляют по красивым городам, но и встречаются с коллегами, обмениваясь опытом. В этом году для такой поездки был выбран Будапешт.

Меня в нем первую очередь интересовала жизнь еврейской общины. Будапешт – последний город, где Эйхману и его зондеркоманде удалось осуществить массовую депортацию евреев. В течение шести недель лета-осени 1944 года они отправили в лагерь смерти, в основном в Освенцим, около 450 тысяч венгерских евреев. Практически все евреи венгерской провинции и столицы погибли, спаслась только часть обитателей будапештского гетто – адмирал Хорти, еще находившийся летом 1944 у власти, окружил территорию гетто венгерскими солдатами и не позволил Эйхману вывести оттуда евреев.

Венгерские евреи, оставшиеся в живых, учли горький опыт. По данным Сохнута в стране, главным образом в Будапеште, проживает около 100 тысяч евреев. А по официальной статистике их всего 20 тысяч. В общине сегодня активно ведется дискуссия по поводу национальной идентификации. Во времена австро-венгерской монархии евреи пользовались многими льготами и свободами. Более того, еврейские бароны составляли почти треть нового венгерского дворянства. А в свободных профессиях существовало просто еврейское засилье – среди будапештских врачей, юристов, инженеров и журналистов евреи составляли от 85 до 92 процентов. Вследствие этого ассимиляция зашкаливала, и среди местной общины самой большой популярностью пользовался принцип – «мы венгры иудейского вероисповедания».

Но тут разразилась Катастрофа, и «венгров иудейской веры» отправили в Освенцим. Сегодня община разделилась на две части: старики остаются верными старому «венгерскому» подходу, а молодежь, учитывая судьбу их ассимилированных дедушек и бабушек, придерживается несколько иных взглядов. Поэтому Израильский культурный центр, расположенный на одной из центральных улиц Будапешта, пользуется популярностью у местной еврейской молодежи, участвующей в разнообразных программах Еврейского агентства. Но, вместе с тем, большая часть все же предпочитает официально не именоваться евреями.

Профессор Ласло Кемень, видный политолог, бывший советник правительства, во время встречи с израильскими русскоязычными журналистами рассказал о еще одной, новой тенденции в общине. Несколько лет назад молодые евреи создали организацию, открыто выступившую в поддержку премьер-министра Виктора Орбана и его партии Фидес. До сих пор все еврейские организации страны старались в политику не вмешиваться и придерживались нейтралитета. Но молодые считают, эти времена изменились и вести себя надо иначе. Их позиция уже принесла им ощутимые плоды – правительство Орбана щедро субсидирует организацию и передало ей несколько зданий под еврейские школы. Что, естественно, не понравилось руководству старых еврейских организаций. Короче говоря – жизнь в общине Будапешта кипит, и, как и в других еврейских общинах, здесь тоже не обходится без "еврейских войн".

Что не мешает налаженной работе общинных институтов. В городе действуют четыре синагоги и Бейт-Хабад. Во время вечерней субботней молитвы в Бейт-Хабате негде было яблоку упасть, все места были заняты, мужчины стояли в проходе и у стен. В небольшую синагогу Бейт-Хабад набилось более 200 человек. Затем все перешли в обеденный зал, где состоялась субботняя трапеза. Организована она была поистине с размахом, по хабадскому обычаю водка лилась рекой. Умный и харизматичный рав Раскин умело вел вечер, говоря актуальные и понятные всем комментарии на недельную главу и не давая превратить трапезу в банальный праздник чревоугодия. Говорил он на иврите – хотя в зале находились и местные жители, и гости из Америки, Австралии, Австрии, Новой Зеландии, подавляющее большинство составляли изра-

ильтяне. Вообще, иврит часто слышится на улицах Будапешта. Как сказал мне один журналист, посетивший местное казино "Лас-Вегас", и за игорными столами, и возле "одноруких бандитов" были в основном израильтяне. Кроме казино их привлекают в Будапешт невысокие цены, возможность вкусно и недорого питаться кошерной едой (здесь два кошерных ресторана и несколько кафе) и городские красоты. По поводу этих красот хочу высказаться особо.

Как известно, город состоит из двух частей: старинной Буды, расположенной на холмистой стороне Дуная, и современного Пешта – на второй, плоской стороне реки. Пешт был построен в середине 19 – начале 20 века. Массовая застройка началась, когда император Австрии Франц-Иосиф принял корону венгерского короля и, уравнив своих венгерских подданных с жителями других частей империи, начал щедро финансировать эту страну. Строили быстро, можно даже сказать, наспех. Об оригинальности архитектуры особо не заботились – использовали стандартные проекты. Поэтому Пешт выглядит как город с архитектурой доходных домов 19 века.

Чтобы строить быстро, с размахом, но дешево возводили обычные кирпичные коробки и покрывали их штукатуркой, задрапированной под гранит и мрамор, ставили скульптуры из алебаstra или гипса. Сегодня, когда многие дома в центре города не отреставрированы и штукатурка с них осыпалась, наглядны роскошь и нищета этой архитектуры. В Пеште все – "как будто", все – не настоящее. Вроде красиво, вроде, как в "лучших домах" европейских столиц. Но фальшь все равно пробивается. Ложно-роскошный Пешт – это Европа для бедных.

Город настолько не имеет своего лица, что его облюбовали голливудские киношники. Здесь снимают фильмы, действие которых происходит в Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Мадриде. Ведь Пешт – город многоликий. Точнее – безликий.

Чего нельзя сказать о старом городе Буды. Здесь глаза, уставшие от выпренно-лживых красот Пешта, просто отдыхают. Старый город Буды невелик – два десятка улиц вокруг собора, где короновались венгерские монархи. Но все дома здесь – оригинальны. Камень в них – камень, а не алебастр, статуи из гранита и мрамора. Не зря именно в Буде обитали местное дворянство и богачи. А в Пеште селились купцы средней руки и беднота. Строгая,

даже порой скромная, но оригинальная и достойная Буда в архитектурном смысле хоть немного компенсирует Пешт.

И еще один, неприятный момент нашей поездки. Журналистская делегация остановилась в гостинице Andrassy Thai, расположенной в центре города. Перед тем, как уйти в Бейт Хабад в субботу, в которую еврей, соблюдающему шаббат, ничего нельзя переносить, мы с братом сдали свои кошельки и паспорта в гостиничный сейф. В номере сейфа не было, поэтому мы спокойно отдали все портье – что может быть надёжнее главного гостиничного сейфа? Но после шаббата мы не досчитались 300 долларов. Администрация гостиницы решительно отказалась взять на себя ответственность. Доказать мы ничего не могли, но на 300 долларов у нас стало меньше. Мы знали, что в Венгрии воруют, поэтому не хотели оставлять вещи в номере. Но нам и в голову не могло прийти, что столкнемся со столь наглым грабежом среди бела дня. Пишу это для того, чтобы другие учли мой печальный опыт...

Наша длинная и интересная встреча с профессором Ласло Кеменем, в ходе которой он – на прекрасном русском языке – рассказал о ситуации в Венгрии, завершилась неожиданно.

– Я хочу сделать признание, – вдруг сказал профессор. И остановился. Голос его пресекся, прошло несколько долгих секунд, пока он взял себя в руки.

– Я не могу говорить об этом без слез, – наконец выдал он. – Мой отец был еврей. А мать венгерка. Католичка. Во время войны она спасла отца.

– Так что же вы не репатриируетесь? – тут же спросил его кто-то из журналистов. Профессор махнул рукой.

– Моя жена – русская. И наши дети далеки уже от всего этого...

Действительно трогательный рассказ профессора о любви и преданности отражает не только историю еврейской общины Венгрии, но и ее будущее. Из 80 тысяч евреев, сегодня записанных венграми, но считающих себя евреями, в следующем поколении подавляющее большинство уже будет венграми – не только формально, а и по существу. Ассимиляция в Венгрии огромная, поэтому пройдет совсем немного времени и в Будапеште от общины, давшей миру Теодора Герцля и великих раввинов, останутся только красивые, но уже и сегодня почти пустые синагоги...

Возвращались мы рейсом Эль-Аль. Перед полетом главный пилот поприветствовал на иврите пассажиров и сказал – "Приветного всем пути домой".

И я подумал – да, действительно, я возвращаюсь в дом: мой личный и национальный. Будущее моего народа именно в этом доме – со всеми его дискуссиями, криками, скандалами, жарой и терактами. И это – главный урок моего пребывания в красивом, вкусном, но чужом Будапеште...

**Новая книга Михаила Юдсона
ЛЕСТНИЦА НА ШКАФ**

(Сказка для эмигрантов в трех частях)
Москва, издательство "Зебра Е", 2013. - 560 с.

"Давно я не получал такого удовольствия от прозы. Тени Джонатана Свифта и Джорджа Оруэлла витают над этим текстом, одновременно смешным и страшным. Большое счастье - появление нового талантливоего голоса. Спасибо, Миша, дай вам Бог удачи и в дальнейшем".

Игорь Губерман

Книгу можно заказать по телефону: 050-908-03-48
Цена 120 шекелей с пересылкой.

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ В ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Новый сборник рассказов русско-израильских писателей в переводе на польский язык ИЗ РОССИИ В ИЗРАИЛЬ вышел осенью 2018 года в издательстве Силезского университета в Катовице, в серии Библиотека «Русского обозрения». В него вошли произведения Виктории Райхер, Дины Рубиной, Дениса Соболева и Якова Шехтера. Редактором сборника выступил известный ученый, историк русской литературы и переводчик профессор Пётр Фаст. Подбор текстов осуществлен сотрудниками Кафедры истории русской литературы Силезского университета докторами наук Мирославой Михальской-Суханек и Агнешкой Ленарт, и ими же написаны литературные биографии писателей.

Мирослава Михальска-Суханек и Агнешка Ленарт являются основателями и редакторами научного журнала «Iudaica Russica», посвященного исследованиям еврейской тематики в русской литературе и культуре и, в частности, проблемам русско-израильской литературы. Под их руководством в Силезском университете проходит ежегодный научный семинар по вопросам еврейской литературы, культуры и истории.

Мы публикуем русский оригинал предисловия Романа Кацмана к сборнику рассказов.

Роман Кацман

ЖИВАЯ ЖИЗНЬ ПРЕДПОЧИТАЕТ МНОГОТОЧИЕ...

Предисловие к сборнику рассказов русско-израильских писателей в переводе на польский язык:

“Żywe życie woli wielokropkę” (przełożyła Alicja Mrózek). Z Rosji do Izraela: Opowiadania.

Wybór i opracowanie – Mirosława Michalska-Suchanek and Agnieszka Lenart. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018, 5-11.

В 1920 году из далекого алтайского Бийска в Палестину приехал Авраам Высоцкий – не путешественник, не пропагандист, не автор путевых заметок или дневников впечатлений от посещения Святой Земли, а писатель, принявший двойное и во всех отношениях трудное решение: жить на этой земле и, в отличие от большинства еврейских иммигрантов в Палестину его поколения, писать литературу по-русски. В течение почти столетия такое же решение приняли многие писатели, однако с приездом в Израиль большой алии 1990-х здесь сложилась удивительно сложная и неопределенная ситуация, которая утвердилась и усугубилась в 2000-х и особенно в 2010-х годах. Сборник переводов на польский язык нескольких коротких текстов новейшей русско-израильской литературы – это приглашение не только оценить ее художественные достоинства, но и поразмышлять о той ситуации, сегодня уже не только израильской, но и глобальной, в которой ей приходится бороться за свое слово, за абсолютную значимость слов вообще.

Но какую роль играют слова в мире, лишенном абсолютов? Когда растворяются идентичности и стираются границы, само существование естественных языков кажется уже чем-то архаичным, как и само понятие естественного. Слова родного языка звучат, как затихающий сигнал к отступлению в осажденной крепости. Но вот беда: исчезновение или даже просто подавление и маргинализация одного языка под властью другого оказываются досадной оговоркой всё той же абсолютистской идеологии, чьи крепостные стены противостоят натиску постсовременности. И потому фактическая неприкасаемость родного языка, граничащая с трансцендентной святостью фетиша, становится тщательно охраняемой постыдной семейной тайной транснационального и транскультурного мира.

Трудно различимый в гомогенизированных пространствах метрополий, этот призрак подземелья обретает вполне осязаемые формы в Израиле, где становится главным действующим лицом литературной мистерии, разыгрываемой по сценарию раздваива-

ния языка на родной и национальный. Израильская литература на русском языке живет в зазоре между ними, пользуясь как преимуществами, так и очевидными неудобствами этого положения. Она не минорна, поскольку не пытается говорить с российским языковым большинством от имени национального (еврейского) меньшинства; и она не маргинальна, поскольку не встраивается в израильскую литературную иерархию. На нынешнем этапе ее развития, в мире открытых границ, она свободна от декадентской жертвенности эмигрантской литературы. Более того, благодаря интернету и открытому информационному пространству, она лишена даже сомнительной привилегии дышать особым еврейско-русским воздухом или не менее особым, но, возможно, чуть более свежим, морским воздухом на краю империи.

В чем же ее особенность? Каков смысл эпитета «израильская», который я столь опрометчиво предпослал ей выше? Неужели только физико-географический? Многие замечательные писатели, поэты и ученые пытались дать ответ на этот вопрос, но тщетно: парадокс заключается в том, что именно будучи определена как особая, она теряет всю свою особенность. Однако, не пора ли нам перейти от ньютоновской механики к квантовой и признать, наконец, что эта литература уникальна в том, что она одновременно и русская, и израильская, причем оба эти определения обозначают культурную реальность, мир наполненных смыслом фактов и объектов, в котором она обитает. Она не подчинена их необходимости, а, напротив, свободно и непредсказуемо составляет из них причудливые узоры, которые появляются, изменяются или вовсе исчезают; но, в любом случае, тот хаос, из которого они рождаются, для этой литературы абсолютно реален. Ее реалистичность особого рода: в силу своей хаотичности и диссипативности, она живет в мире постоянно обновляющихся возможностей, поэтому это — реализм контингентного и случайного, возможного и не вполне обоснованного, но, именно вследствие этого, абсолютно объективного бытия. Было бы справедливо выстроить типологию русско-израильской литературы вокруг этого принципа специфического реализма. Намеренно ли, нет ли, своим выбором текстов редакторы сборника пунктирно наметили возможный план такой типологии, хотя и ограничили себя жанровыми рамками короткой прозы. Ниже я постараюсь придать этому плану более эксплицит-

ную форму, обсуждая авторов сборника в порядке усиления метафизической составляющей этого особого культурно-онтологического реализма, по шкале от его экзистенциального предела вплоть до предела мистического.

Сотни прозаиков и поэтов, пишущих в Израиле по-русски, едва ли могут быть поделены по жанрам. Многие романисты пишут и короткую прозу, как, например, Дина Рубина и Яков Шехтер, или стихи, как Денис Соболев и Виктория Райхер. Принято считать, что подлинной визитной карточкой любой национальной литературы является роман, и потому тот факт, что редакторы сборника остановили свой выбор на короткой прозе – рассказах или главах из фрагментарных романов – имеет по крайней мере два значения: во-первых, этим нейтрализуется уходящий в прошлое социологизм, связанный с необходимостью поисков позитивистских определений национальных и эмигрантских литератур, и, во-вторых, подчеркивается фрагментарный, если не сказать диссипативный, характер русско-израильской литературы, отражающий характер сообщества, в котором она создается. И всё же, в повествовательной манере четырех упомянутых выше авторов весьма ощутимо длинное дыхание эпического сказителя и мага, заклинателя духов места и времени, вещей и памяти. Поэтому, в определенном смысле, наиболее выразительным примером вечно умирающей, но всегда по-юношески бодрой русско-израильской литературы может служить проза Виктории Райхер – по-библейски скупая, зигзагообразная, изломанная на фрагменты жизненных коллизий жизни и смертей, разума и безумия, словно продиктованная прерывистым дыханием нетерпеливого лекаря, спешащего от одного безнадежного пациента к другому. Так, словно отсекая всё лишнее, в рассказе «Гурион» автор оставляет почти один только диалог на фоне будничных реалий израильского поселка. И также буднично явление маленького ханукального чуда – приход зимы, посылающей своих провозвестников, и долгожданный первый дождь, ожидаемый ничуть не меньше, чем Мессия.

Истории Виктории Райхер – это сеть, зачастую вырастающая и живущая в интернете, как, например, хорошо известный читателям сборник ее рассказов «Йошкин дом», или как рассказы и ставшее широко известным эссе «Не бойся, я с тобой: страна, война и детские страхи», написанные летом 2014 года под ракетными об-

стрелами во время антитеррористической операции «Нерушимая скала». Это – психологическая литература пограничных, неопределенных, тревожно открытых состояний, суть которых можно определить одной фразой из рассказа «Молочная река, кисельные берега» («Йошкин дом»): «Можно сказать: вылечили, а можно – и наоборот». Когда реальность оказывается хаотической сетью таких состояний, читателю ничего не остается, кроме рискованного сёрфинга в ней. Не составляет исключения и повесть «Миньян», вошедшая в сборник – несколько нервных зарисовок из жизни дома престарелых, едва соединенных сюжетной канвой. Название, как характерно для Райхер, предельно иронично: ведь миньян – это не просто число молящихся, необходимое для некоторых ритуалов, но и воплощение цельности общины как основы человеческого существования; и потому описанный в повести развал маленькой, отнюдь не ортодоксальной, спонтанной общины нескольких постояльцев дома престарелых символизирует дезинтеграцию социально-психологической сети держащихся друг за друга человеческих монад. Финал повести выражает самую суть этой диссипативной, такой ненадежной и эфемерной сети: живя, она «дает смысл жизни», а, умирая, «дает смысл смерти».

Ощущение трепетной тревожности, бытийной хрупкости сближает прозу Райхер с прозой Дины Рубиной, в особенности, с ее рассказами, хотя оно играет важную роль и в таких ее романах, как «Почерк Леонардо», «Синдром Петрушки» и «На Верхней Масловке». Заглавие для этого предисловия взято мной из рассказа Рубиной «Бабка», и подчеркивает оно тот аспект экзистенциального хаоса, который выражен у нее, пожалуй, в большей степени, чем у Райхер: его непредсказуемую изменчивость. Этот рассказ, как и «Самоубийца», вошли в свое время в сборник «Окна» – выразительную компиляцию, своего рода взаимный параллельный перевод текстов Рубиной и полотен ее супруга, художника Бориса Карафёлова. Поклонникам творчества писательницы хорошо известно значение в нем оконного мотива: это, прежде всего, окно в прошлое или будущее, метафора воспоминания как воскрешающего и оживляющего, но, в то же время, отстраненного и созерцательного погружения в зазеркалье того, чего уже или еще нет. Наряду с этим, герои Рубиной, ее образы, да и само ее повествование пребывают подле метафизического окна, в которое уже не

только глядят с ужасом или ностальгией, а через которое выходят, вылетают, выпадают. Это – полет самопознания и самореализации, всегда граничащий с самоубийством, ибо личность в ее шаманском полете всегда рискует вовсе раствориться в «ином».

Так героиня «Бабки», зачарованно вглядывающаяся в образ своей бабушки Рахиль, балансирует, как и герой «Самоубийцы», на подоконнике того окна, которое превращается в зеркало, когда снаружи сгущается тьма. Пытаясь осознать свои корни, понять саму себя, героиня едва не сливается с бабушкой – воплощением артистического подражания, удваивания и пародии как символа воспоминания и мышления, как мифотворчества, в котором личность становится собой, проживая чужую жизнь. Это та сверхсерьезная и сверхкомическая метафизическая пародия, которая запрещает смех, и потому рассказ заканчивается словами: «Горе твоему смеху...» Однако, здесь раскрывается оборотная сторона другого важнейшего образа Рубиной, воплощенного, по ее же словам, в ее любимом анекдоте, который воспроизведен в одном из ее программных рассказов: «Больно только, когда смеюсь». Этими словами отвечает на издевательский вопрос погромщиков герой рассказа – распятый, но еще живой еврей. Так Рубина схватывает, словно заключая в двойные объятия, еврейское существование как извечное раскачивание на подоконнике за миг до прыжка: боль вызывает смех, а смех вызывает боль.

В текстах прозаика и поэта, литературоведа и культуролога Дениса Соболева метафизический вектор усиливается еще больше, множатся символические и мистические элементы повествования, но сохраняется то, что можно считать главной особенностью русско-израильского художественного и культурного реализма: заинтересованное, но и вполне критическое познание знаков новой культурной среды как объектов реальности, как оживших и вполне материальных воплощений книжных образов, знаний и идей. В русле этого реализма эпохи интернета и умных машин, в котором всё воображаемое возможно, и всё возможное реально, написаны и роман «Иерусалим», и хайфские сказки, составившие роман «Легенды горы Кармель», две из которых включены в данный сборник. Сказки Соболева – это, говоря словами героев рассказа «Про поезд Хайфа – Дамаск», сны о несбывшемся будущем, гадание на кофейной гуще альтернативной истории. И всё же, ее цель не фан-

тастична, не отвлеченна и, в определенном смысле, не эстетична: она состоит в осмыслении того, что герои обоих романов называют кровавым хаосом истории – будь то мировая история или история европейских евреев, которой Соболев посвятил свою книгу «Евреи и Европа».

Поезд Хайфа-Дамаск, которого нет, на котором больше никогда не уедет и под который не бросится романтически недоступная или социально раздавленная женщина – это упрек, брошенный в лицо не только, говоря словами автора, всегда похищенной Европе времен Первой мировой войны, времени повествования в этом рассказе, но и сегодняшнему миру открытых границ, переселения народов, «массового иступления» и внутренней пустоты. В таком мире живет девочка Лена, героиня рассказа «Про девочку и корабль» – «русская» израильтянка, похищенная, как и Европа, влюбленным в нее Востоком. «Как журавлиный клин в чужие рубежи», плывут над Хайфским заливом книжные полки другого героя, случайно оказавшегося у нее на пути – безымянного математика и сказочника, обладателя дома-корабля, на котором можно, словно на легендарном Наутилусе, погрузиться в мир правды и тишины. То, что не удалось поезду, может получиться у корабля: Елена может быть спасена и возвращена на метафизическую родину, в мир историй и истории, книг и полноты бытия. Ведь слова старинных легенд более реальны, чем асфальт хайфских улиц, и это чудо побега от хаоса и морока иллюзорного существования – в «море черное», которое, «витийствуя, шумит и с тяжким грохотом подходит к изголовью» – всегда доступно и находится на расстоянии случайной встречи или сновидения.

Герои Якова Шехтера, четвертого участника этого сборника, чувствуют себя в мире прекрасных и жестоких чудес, как у себя дома. Рассказ «Бесы и демоны» является, как свидетельствуют последние публикации автора в журнале «Артикль», частью большего замысла – магики-реалистического романа из жизни польского еврейского местечка, как прежде его книга «Каббала и бесы» стала своего рода путеводителем по еврейской каббалистической демонологии, воплощенной в израильских реалиях. В отличие от воображаемых миров таких фантазийных романов Шехтера, как «Астроном» и «Второе пришествие кумранского учителя», мир его демонологических рассказов пластичен, фольклорен и мя-

сист, как картины израильского художника Александра Канчика, которыми сопровождается публикация «Бесов и демонов» в «Артикле». В то же время, и демонологические, и мистические, и почти реалистические произведения Шехтера, такие как роман «Вокруг себя был никто», объединяет важнейшая для еврейской литературы проблематика личностного наставничества, таинство передачи знания, то есть традиция-traditio. Поэтому центральным сюжетобразующим принципом у Шехтера служит тема взросления и инициации, соблазна и испытания, создающая впечатление дидактизма, впрочем, возможно, ошибочное.

Морализаторский сказочный драматизм в рассказе, включенном в сборник, на первый взгляд, прост и привычен: в битве за сердце ничем не выдающегося, но в тайне мечтающего о величии «маленького человека» сошлись добро и зло, мудрость и глупость, чистота и порочность. История похищения драгоценностей польских аристократов переплетается с загадкой волны безобразного вандализма, прокатившейся по еврейскому местечку. Не нужно быть каббалистом или историком, чтобы догадываться, что в то же самое время, как и во все времена, мир охвачен волнами насилия и ненависти. Должно ли нас утешить или встревожить еще больше, что судьба мира зависит, быть может, от того, хватит ли простому пареньку из местечка, незаметному еврейскому хоббиту добродетельности и смирения, чтобы устоять перед соблазном, а скромному местечковому раввину – мудрости, чтобы поддержать его в минуту неизвестности у окна последнего испытания и последнего шанса победить силы зла? В этом огромном доме престарелого человечества, суждено ли нам, как пишет Райхер, вылечиться или – наоборот? У рассказа Шехтера, в отличие от бесчисленных сказок и хасидских историй, опубликованных им в многотомнике «Голос в тишине», нет ответа, и «счастливый» финал остается открытым. Быть может, это к лучшему, ведь живая жизнь предпочитает многозначие...

Мария Цвик

ВЗГЛЯД ИЗ ЗАЗАБОРЬЯ

Голков Виктор, Минкин Олег. Правдивая история Страны Хламов. – Издательство Летний Сад 2017 г Москва, переиздание (Кишинев: Hyperion, 1991). Виктор Голков родился в 1954 г. Окончил Московский энергетический институт. Поэт, прозаик, критик, автор 9 книг. Живет в Израиле, в Азуре.

Олег Минкин родился в 1952 г. Окончил Московский сельскохозяйственный институт. Поэт, прозаик, переводчик на белорусский язык классических произведений мировой литературы. Живет в Вильнюсе.

Перечитывать книги – занятие чаще всего неблагодарное: то, что когда-то волновало, оказывается схемой, и белые нитки виднеются, приключения тривиальны, любовь слащавая, шутки натянуты... Особенно если между первым и вторым прочтением легло много времени. Или много событий.

Книгу Виктора Голкова и Олега Минкина "Страна Хламов" я прочла в июле 1991 года, еще там, в Кишиневе. Книга была стопкой машинописных страниц, страна – не Хламов, а реальная – уже расстрескалась, но еще не развалилась, и я, сидя на чемоданах, читала – уже не редактор, еще не эмигрант. И вот – книга вышла; там, в Молдавии, льется кровь; и Страны Советов более нет, а Страна Хламов – есть.

"Есть на свете такая Страна Хламов, или же, как ее чаще называют сами хламы – Хламия. Точнее, это даже никакая не страна, а всего лишь небольшое местечко, где теснятся одноэтажные деревянные и каменные домишки, окруженные со всех сторон Высоким квадратным забором. Тому, кто впервые попадает сюда, кажется, будто он оказался на дне глубокого сумрачного ко-

лодца, выбраться из которого невозможно, — настолько высок этот забор. Сами же хламы, родившиеся и выросшие здесь, к подобным сравнениям, разумеется, не прибегают".

Так начинается книга. Все ясно, думала я, читая рукопись, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, "История города Глупова"... Но чем дальше, тем больше завораживало меня нечто, отличающее "Страну Хламов" от других утопий и антиутопий. Это нечто — авторское присутствие.

Обычно автор утопии — конструктор и наблюдатель, бог созданного им мира. И в «Городе Глупове», и в «Мы», и даже в «1984» — везде автор знает и понимает неизмеримо больше своих героев, и рано или поздно все разъяснит читателю. В.Голков и О.Минкин — там, внутри своей Страны Хламов. Пусть она и смешна, и страшна — она для них.

И эта авторская включенность создает неповторимую лирическую интонацию: "Коренастая фигура, обтянутая полувоенным френчем, выросла как бы из-под земли. Суровый и незнакомый богемовцам хлам застыл в самой угрожающей, на какую только был способен, позе, На его лице зловеще блестели черные очки, а по губам гуляла жестокая улыбка. "Смирно, интеллигенты!" — казалось, сейчас выкрикнет он. В этот момент воем известный художник Крутель Мантель оперся на Смока Калывока, стряхнул с сигареты столбик пепла на его полувоенный френч и с задумчивой улыбкой обратился к аристократке Гортензии Набиванке: "Ужас вечера в том, что вслед за вечером неизбежно наступает утро. А что может быть хуже неизбежности?" Вот она, затаенная мечта: использовать тирана одновременно как подлокотник и как пепельницу! Но милая богемная бредятина хрупка, она исчезает, чтоб дать место хорошо организованному бреду в масштабах целой Хламии. И авторы тут бессильны помешать: антиутопия не сказка...

Мне кажется, современная русская литература пытается дотянуться до жизни, дорваться до читателя — сквозь непрдуманый драматизм, сквозь непреходящее ощущение катастрофы, отбивающее интерес ко всему. И, конечно, адекватно отразить свое время, не скатываясь в публицистику и декларативность. Авторам "Страны Хламов" это удалось. Их книга достаточно сиюминутна,

чтобы быть интересной до крайности напряженному и политизированному читателю; она достаточно фольклорна, т.е. отражает едва ли не все ныне живущие в постсоветском обществе идеи и мифы, и достаточно художественна, чтобы не быть скороспелым откликом на события.

Из кирпичиков вроде бы общеупотребительных строят В.Голков и О.Минкин нечто совершенно свое: "Именно способностью хламов впасть в зимнюю спячку историки позднее объяснили тот факт, что они вообще сохранились как разновидность, и так называемая Новая жизнь, про приход которой уже начали всерьез поговаривать, так и не наступила.

Проснувшись, хламы узнали про Возрождение, начатое мало кому известными до этого "подвижниками" во главе с Хитером Смитером. "Таким образом, мы стоим на пороге Возрождения!" - торжественно говорили они, обрадованные возможностью разговаривать, почти утраченной во время кровавого правления Смока Калывока. "Ах, как это романтично – Возрождение", – шептали хламки, смакуя полузабытое слово "романтично" и озирались: а вдруг их истолкуют не так, как следует?"

Думается, именно фольклорность "Страны Хламов" определяет язык и стиль повествования. Все очень просто: без экспериментов над формой, с использованием минимума выразительных средств и лаконично. Любая деталь, любой символ – это знак, понятный каждому, поскольку потенциальный читатель – современник и живет в поле тех же проблем, фактов, идей. Едва намеченная ирония – там, где ирония, и тут же – лирика совершенно всерьез, без боязни вызвать насмешливую улыбку читателя. А когда читатель уже совершенно встал на точку зрения какого-нибудь персонажа, уже готов смотреть на все его глазами – вдруг холодный душ авторской речи, абсурд, описанный сухим репортерским языком, ибо: "Очень хочется описать настоящие живые чувства. Но поскольку существует страна, обнесенная Высоким квадратным забором, приходится примириться с тем грустным фактом, что никаких настоящих чувств в этой стране нет и быть не может."

Странно и неожиданно для нынешних времен, но "Страна Хламов" – не чернуха. Авторы верят во что-то трудноформулируемое, нет, это не скоропостижно вошедшая в моду на территории б. Союза религиозность. И верить им вроде бы не во что: гений стра-

дания и последний романтик Гицаль Волонтай /имена героев книги заслуживают отдельной статьи!/ сперва погублен на строительстве "канала, соединяющего Пруд с самим собой", а после реабилитирован посмертно. Бывшая аристократка Гортензия Набиванка басит хриплым голосом: "К такому в бригаду я не пошла бы", что, как вы понимаете, тоже следствие пребывания на строительстве канала. Главный пункт программы профессионального борца за свободу Хитера Смитера – "требование позволить ему всенародно взойти на трибуну в черном камзоле". И тем не менее иностранец Шампанский, в очередной раз запаковавший свои чемоданы, остался в Хламии...

Ох уж этот иностранец Шампанский! "Коренное население Хламии – хламы и иностранец Шампанский, который, хотя и родился в Стране Хламов, является, однако, владельцем заграничного паспорта", – сказано уже в самом начале книги. Он и невольный свидетель, и жертва хламской истории, и упорный строитель своего, отдельного мира, в котором завтрак важнее, чем государственный переворот во дворце напротив, – словом, еврей, хотя слова этого в книге нет. Но – по всему видно...

"Доподлинно известно только то, что первым его /будущего диктатора Смока Калывока – М.Ц./ увидел иностранец Шампанский, Было уже довольно темно, и иностранец заметил Смока Калывока только тогда, когда лоб в лоб столкнулся с ним. "Сорри", – сквозь зубы процедил Шампанский, потирая ушибленное место, и пристально посмотрел в глаза незнакомцу в наглухо застегнутом полувоенном френче. Незнакомец ничего не ответил, и Шампанский в который раз подумал, что было бы нелишне использовать наконец свой заграничный паспорт и навсегда покинуть опостылевшую Страну Хламов". Чего только не претерпел иностранец Шампанский! Толпа мусорщиков выбивала стекла его особняка, диктатор опубликовал декрет об изгнании всех иностранцев /а Шампанский был единственным. / Бывшая аристократка – Гортензия Набиванка "смачно сплюнула на начищенный штиблет Шампанского". А в день рожденья Шампанский получил тяжелым, как утюг, кулаком по голове – и не кому-нибудь принадлежал этот кулак, а борцу с диктатором. Но Шампанский так и не воспользовался своим заграничным паспортом – он лишь укладывал и снова распаковывал чемоданы... И когда в Хламии "все утонуло в хлещущей круговерти, и никто не спасся... сиротливо колыхалась на

волнах чудом уцелевшая тетрадь в синей обложке – юношеский дневник иностранца Шампанского. "Что нужно хламам для счастья? Немного любви, горстку звезд над головой, каплю сострадания..." Думаю, такая трактовка иностранца Шампанского дала бы много пищи для размышлений тем, кто во всех несчастьях видит прежде всего происки "малого народа", вот только читают эти господа мало, да и выводы их из любой информации одинаковы...

"Страна Хламов" – это восемь маленьких повестей в одной книге. Первая – как бы изложение хламской истории с какого-то момента до окончательной гибели государства, остальные – судьбы отдельных персонажей. Вот тут авторы дают себе волю.

Подразумеваемым сюжетным стержнем книги служит история отдельно взятой страны – к сожалению, не выдуманная. И идеи, вдохновлявшие главного героя повести "Сундук" Болтана Самосуя, тоже не с хламского потолка взяты: "Между тем, тяга совершить справедливый поступок необычайно усилилась в нем. Много лет, как безумный, бродил Болтан по тропинкам Нескучного сада с тщетным намерением кого-нибудь спасти". И спас – вытащил из Пруда Смока Калывока, причем вытащил насильно: Смок жил в пруду, будучи потомком страшной жабы-хламоедки, некогда утопленной(!) бесстрашным борцом за справедливость, дедом Болтана Насекаником Смелым. Все вроде бы поддается однозначной расшифровке: Насеканик Смелый – карикатура на рыцарей революции, которые, мол, были чисты – лишь после начались извращения линии партии. Самосуй – деятель первых пореволюционных лет, самозванный осчастлививатель, владелец Сундука /истории/, нечаянно подаривший Хламии своего приемного сына Смока и упустивший из своих рук – в Смоковы! – Сундук. Все вроде бы однозначно и даже иллюстративно, но лишь на первый взгляд: чтобы понять и прочувствовать эту книгу, совсем не обязательно знать историю отдельно взятой страны. Приведу длинную цитату – хочется показать, как из расхожих мифологем В.Голков и О.Минкин делают произведение искусства: "Сомнений не было: он /Гицаль Волонтай – М.Ц./ наткнулся на останки своего приятеля Болтана Самосуя вперемешку с содержимым его знаменитого сундука. Канал, задуманный Смоком как первый шаг к так называемой Новой жизни, прошел как раз через

могилу того, кто первым возвестил ее грядущее пришествие. ... И хотя Болтана уже не было в живых, а, значит, ни дом, ни портрет /женский, найденный Гицалем в могиле Болтана, а прежде лежавший в сундуке - М.Ц./ больше не принадлежали ему, – Гицалю, некогда страстно мечтавшему завладеть портретом, неожиданно захотелось положить его на прежнее место – в сундук. Охваченный этим непонятным ему самому желанием, он заковылял к дверям...

Первое, что бросилось в глаза Гицалю, была неестественная по сравнению с другими вещами чистота сундука. Хотя все вокруг утопало в пыли, он выглядел новым, и даже медные заклепки на его обручах торжественно блестели, как бы только что выйдя из рук мастера. Крышка не была замкнута и отворилась легко, без единого звука.

Ослепительно яркий свет заставил романтика зажмуриться. Когда же он рискнул опять раскрыть глаза... стало очевидно, что источником света является веник, а, точнее, его невыносимо яркие спицы-прутья, переходящие в более тусклую металлическую ручку. Рядом с веником располагался толстый том в красной обложке, на которой зловеще поблескивало золотое тисненное название: "Справедливость и пути достижения оной" – сочинение Болтана Самосуя. ... Стараясь больше ни о чем не думать, он вытащил из-за пазухи портрет и, мимоходом глянув на женское лицо, опустил его в разинутую пасть сундука. Глаза женщины, наполнившись слезами, блеснули ему из глубины, и в ту же секунду крышка с треском захлопнулась – он едва успел отдернуть руку. ... Сундук внезапно покрылся налетом пыли и плесени, осел и как-то рассохся. Гицаль вторично откинул крышку. На дне рядом со ржавым стальным веником знакомо желтела пухлая пачка страниц в картонной обложке, на которой размашистым почерком Болтана было выведено: "Справедливость и пути достижения оной". Так и не отважившись взглянуть на портрет, Гицаль захлопнул сундук и вышел вон."

Утверждение классика, что красота спасет мир, всегда казалось мне некоторым преувеличением. А прочтешь такое – и верится, что живое чувство покроет ржавчиной стальные прутья репрессий, превратит всеильную догму в кипу никем не читанных пожелтевших листов, грозную историю отправит на приличествующее ей место...

Совершив магическое действие, Гицаль Волонтай сгинул – так же необъяснимо, будто растворился в воздухе. А на отполированном черенке его лопаты /Гицаль вместе с другими интеллигентами соединял Пруд с самим собой.../"зеленели мелкие нежные ростки – такие неправдоподобные и лишние на фоне белой неподвижности последнего мартовского снега". Свежим покоем свершившегося чуда веет от этих страниц. Вот, казалось бы, символ веры авторов! Но это не так.

Каждый персонаж книги, каждый хлам – как бы живая клетка единого организма. Высокий квадратный забор – данность их мира, и судьбы человеческие – только "Кружева на заборе" /так называется последняя повесть/. Можно, как Сугней Чурила, построить внутри общего свой маленький квадратный заборчик и, отгородившись таким образом от всех, упоенно петь хламский национальный гимн – поскольку никаких других песен Чурила не знает. Можно, как Гицаль Волонтай, уложить огромный рюкзак с альпинистским снаряжением, взять в руки ледоруб, трогательно попрощаться со всеми, подойти к Высокому квадратному забору, примериться, надеть монтерские "когти"... и вернуться домой. Можно, как любопытствующие хламы, разглядывать в щели Высокого квадратного забора таинственное и привлекательное Зазаборье – только вырваться из-за забора нельзя. И не потому, что альпинистское снаряжение для этого не годится или кто-нибудь стережет забор, нельзя по определению... И сегодня я с ужасом думаю: а что, если В.Голков и О.Минкин, строя свой условный мир, ухватили самую суть наших взаимоотношений с родиной? Похоже, что оттуда и в самом деле не выбраться: вот уже полгода мы в Германии, а я все еще воспринимаю происходящее там, как "у нас"...

Хламия – страна овеществленного мифа, где самая бредовая идея, будучи высказана, обретает плоть. Иностранец Шампанский презрительно пожимает плечами, когда недруги объявляют его магистром некоего ордена, более древнего, чем сама Хламия, и обвиняют в спаивании хламского народа. Но в ночь землетрясения Шампанский с ужасом увидит между тучами зловещее лицо Магистра в остроконечном колпаке, ибо было сказано, а в Хламии что ни скажи – все сбывается.

И еще один ключ к философии "Страны Хламов". Иностранец Шампанский, избитый, едва придя в себя, бормочет: "Круг замкнулся!" И правитель Биф Водаёт, насильно отрываемый Смоком Калывоком от трона-качалки, в отчаянии шепчет то же самое. При всех иллюзиях, опасениях и надеждах живет в хламах неизбывное ощущение движения по кругу, тотальной предопределенности.

Я верю, что книга В.Голкова и О.Минкина, увидевшая свет в не самое располагающее к чтению время, тем не менее, найдет своего читателя и читаться будет долго, обрастая примечаниями и разъяснениями по мере того, как описанный в ней способ жить будет уходить в прошлое.

Вышла книга Сони Тучинской
"Вечный пропуск".

Чтобы ее приобрести, нужно просто
пойти на Amazon.com

и ввести там в поисковое окно: Sonia Tuchinsky.

Или - прямо к книге по этому линку:

<http://www.amazon.com/dp/1495373673/>

В книге 340 страниц разнообразнейших по стилю,
жанру и географии текстов на кириллице.

От прозы и публицистики до переводов.

Цена без стоимости пересылки \$ 13,49.

Михаил Юдсон

ВРЕМЕНАМИ И МЕСТАМИ

(Игорь Губерман, «Десятый дневник» – Иерусалим, 2018 год,
ISBN 978-965-7705-27-8)

Игорь Губерман въехал в Иерусалим почти треть века назад и с тех пор обитает в этом вечно необычном городе, попутно совершая путешествия по городам и весям, государствам и континентам – несет «гарики» миру, четырехстрочную благую весть в массы:

Давным-давно стремлюсь я исподволь
и много раз пытался пробовать
стихи свои писать как исповедь,
а выходила чтобы – проповедь.

Заодно в движении образуется и проза Губермана, причем называть ее путевыми записками или дорожными заметками столь же расточительно, как, скажем, и отчеты о путешествиях Радищева или Гулливера.

Я много ездил волей случая
по разным странам и везде
тяжелый дух благополучия
шептал о будущей беде.

Пожалуй, губерманова проза схожа с розановской опавшей листвой, этакий обросший стихами короб-дневник – философия странствий по страницам и странам, как пишет сам Игорь Миронович – «заметки вдоль по жизни». Вразброс, ан целеустремленно! Люди и мысли, Всевышний и выпивка, евреи и окрестности... А

также, естественно, города и годы – поскольку, рассказывая о местах, Губерман одновременно неизменно путешествует по временам.

И нам весьма приятно хронотопать и топтать тропами книги вслед за автором, проза эта влечет читателя временами и местами – от подземных целебных пещер Венгрии до подледного лова в Салехарде, от припомнившегося поэта Дона-Аминадо с его эмигрантскими воспоминаниями «Поезд на третьем пути» до перестука в такт очередного «гарика»:

Я люблю поездов неспешный форсаж,
ощущение ровного гона,
и тоскливо прекрасный российский пейзаж,
налетающий в окна вагона.

Маленький городок Малоярославец, что в ста двадцати километрах от Москвы, становится у Губермана скромным символом исторических потрясений – «прокатилась по маленькому городку вся российская история двадцатого века». Заселен городишко оказался выселенными из Москвы и ссыльными, отбывшими лагеря – людьми часто известными, известнейшими, знаменитыми (до 120 им!), бывшими эсерами и выжившими священниками, поэтами и художниками, переводчиками и теософами, врачами и музыкантами. Кстати о музыкальности прозы Губермана, вслушайтесь: «Осенью город утопал в грязи, зимой – в снегу, но весной цвели тут яблони и вишни, ошеломляюще пахла сирень, жизнь обещала продолжаться и становиться много светлей».

Надо заметить, что уклон в суровую прозу вовсе не мешает Губерману-поэту, его «гарики» плодятся и размножаются с прежней энергией – перед нами уже «Десятый дневник», заповедная десятиричная заводь стихов:

Тоска была б невыносимой,
но есть поэты, есть шуты,
и льется свет неугасимый
из самой лютой темноты.

Четверостишия Игоря Губермана – это неоскудевающий, вкусный, сочный русский язык, изыскано слепленный фольклор с фи-

логическими загибами, крепкая многоэтажность смыслов, порой расчисленная частушечная интонация («плясать словами», как поучал Ремизов):

Оттого, что без азарта
ничего не сотворишь,
никогда не будет форта
у того, кто тих, как мышь.

Или даже поэтическая скороговорка:

Чужой строки сокровище
украд я преднамеренно –
что всё ещё не всё ещё
пока ещё потеряно.

«Гарики» талантливо выдуманы, мастерски сделаны, выданы на одном дыхании, и именно поэтому – доступны, любимы, понятны, запоминаемы. Плюс что-то еще им присуще – а Бог его знает что! Ибо не «хлеб наш насущный» сказано было, а «хлеб наш надсущный» – пищедуховный да трансцендентный... Легкость сотворения строчек здесь кажущаяся – истинному поэту свойственно петь и заодно пахать, сверстав сие в одной упряжке – о, соловьи воловы!..

«Десятый дневник» – это поздний Губерман, оттуда веет грустной мудростью и светит ироничная печаль:

Старость – изумительные годы:
кончены заботы и мытарства,
полностью зависишь от погоды,
от жены, потомства и лекарства.

Всё чаще в строчках поминаются бесконечные существа с большой буквы – Господь, Творец, Всевышний, Создатель. При этом не забыты и проверенные рецепты:

Вторую мы бутыль почали
и бродим вилками в капусте,

и в мире снова нет печали,
тоски, предательства и грусти.

Все-таки муза Губермана при любой погоде весела и разумна – а ведь знаем мы тяжеловесных муз с веслом, а то и с помелом, увы, знакомы с высокопарной скукой... А у Игоря Мироновича горнее всегда наряжено в долнее:

Копаясь в небольшом моем наследии,
потомок изумится, обнаружив,
что я писал высокие трагедии,
обернутые шутками снаружи.

Добавлю, что, в принципе, любое повествование у Губермана имеет в закромах подтекст, подмигивает развернутой метафорой. Вот, например, былина про дом, в котором он живет: «О доме нашем в Иерусалиме просто грех не рассказать. В нем восемь этажей (а мы – на пятом), ничем архитектурно он не замечателен. И эфиопы в нем живут, и люди глубоко религиозные, и несколько семей, подобных нашей, то есть светских. А событий выдающихся в нем было два: жители какой-то верхней квартиры завезли на крышу мешки с землей и принялись разводить марихуану, а живущие внизу устроили в подвале казино. Мы с женой про то узнали, встретив как-то поздно вечером небольшую группу полицейских, провожавших двух наших соседей в наручниках». Дальше Игорь Миронович пишет, что «та куча мусора (порой огромная, ее сметают раз в неделю), что лежит у лестницы к нашему подъезду» – очевидное опровержение мифа о приверженности евреев к чистоте. Иерусалимская куча – та же миргородская лужа! И обращались, конечно, с жалобами в разные инстанции, и фотоснимки могучей кучи прикладывали – так все бесполезно...

Да это же образ Израиля в разрезе, догадался я, читая про дом Губермана, временами и местами очень похоже – наверху высокие технологии, всякая компьютерная марихуанья, на которую весь мир подсажен, а внизу каждодневная рулетка, русская аль арабская, выпадение в «зеро», висение на соплях Всевышнего... И начальство регулярно в наручниках выводят... И та-акие кучи мусора, куда ни плюнь – может, уже рентабельно жемчуг добывать?

Однако от символистской прозы воротимся собственно к «га-рикам», тут у Губермана символ, кредо и девиз, волшебнo-ключевое слово – «свобода». Хотя известно же, что человек творческий, с умом и талантом, сроду не свободен, еще Фаина Раневская про-бурчала: «Плывать брассом в унитазе». Да и Игорь Миронович ве-черне печалится:

На это обратишь если внимание,
то спину овеваеt холодоk:
свобода – это просто понимание
того, насколько длинен поводок.

И возможно, даже неважно, с какой стороны поводка нахо-диться – общая зависимость от окружающего абсурда, безумие быта и Бытия в одной бутылке – этот колючий «ёрш» плещется в строчках поэта:

Ничуть я не сведущ в борении шумном,
однако пока я достаточно зряч:
похоже, в сегодняшнем мире безумном
кто влезет в халат – тот и врач.

А вообще «Десятый дневник» – книга, исцеляющая хвори и хаос, верующая в добро, светлое начало и соответствующий конец. Поэтому, прочитав ее, закончу словами Игоря Губермана: «Мне стало так смешно и хорошо».

Ирина Морозовская

«ОБОРОТНАЯ СТОРОНА СЛЕЗ», ПЕСНИ ЕЛЕНА КАСЬЯН

Раздел «Стихи и струны» можно увидеть на сайте журнала

От песен Елены Касьян у меня наворачиваются слёзы. Потому что такое количество нежности, трепета, боли за всех, о ком она поёт и немножко за себя, надежды и веры в меня не умещается и выходит наружу влажными дорожками по щекам. Она и сказки, и истории замечательные пишет.

Про то, как Елена красива, в колонке писать необязательно. Колонка-то у меня про талант, а не про красоту, вроде бы. Но когда внутреннее и внешнее до такой степени нераздельны – хрупкое совершенство сосуда, заключающего в себе огромный Дар, поражает само по себе. Даже если не читать замечательные сказки и истории, которые Лена тоже пишет. Слушать Елену Касьян для меня – работа, потому что начинающееся от её песен движение души ещё долго не утихомиривается. Крутится внутри, и колет, и давит, и вытягивает наружу застрявшие льдинки собственной боли, осколки Зеркала Троллей, иногда залетающие в глаза и замыливающие взгляд на жизнь. Они тают и вытекают из меня и покидают душу ... да, я с этого и начала ведь.

Елена Касьян несколько лет живёт и борется с тяжелейшей болезнью. С невероятным для такой хрупкой стати мужеством, с огромным достоинством, укрывающей всех нас благодарностью за самое малое участие и помощь, с жгучей надеждой и светящейся верой в то, что она может побыть здесь с нами подольше. Каким-то волшебством своего Дара она делает лучше всех, кто прикасается к её песням и сказкам, читает её рассказы на фейсбуке о нынешней жизни, о повседневном героизме. Конечно, она не на-

зывает это ни героизмом, ни другими пафосными словами. Просто (ничуть это не просто на самом деле) проходит всё положенное и предписанное врачами и радуется всему, что получается. А когда что-то получается – радуюсь и я. И это – обратная сторона моих слёз от Лениных песен.

Вы и сами послушайте непременно. И пожелайте самого лучшего, что может случиться дальше с автором. Чуда.

ВСЁ УЛАДИТСЯ <https://www.youtube.com/watch?v=Toy39W29jkA>

ПУСКАЙ НЕ ТЫ <https://www.youtube.com/watch?v=Pm70qE6EjKw>

Её героев жаль всегда – о чём бы она ни пела, вот

АШЕНЬКА <https://www.youtube.com/watch?v=oLUGeTfv4ic>

УЕХАТЬ <https://www.youtube.com/watch?v=re1bBtPTrg0>

Вот маленький концерт Лены Касьян у нас в Одессе. Она любит мой город. И город любит Лену:

https://www.youtube.com/watch?v=EktnVI_l2Ro

А для тех, кто послушал, да захотел и сам помочь Леночке – вот ссылка. Соучастие в чуде делает каждого из нас лучше. Хотя стоит поучаствовать не затем, чтоб стать лучше, а чтоб Лена светила в этой жизни.

<http://help.elenakasyan.com/ru/>

Сведения об авторах:

Давид Маркиш – писатель. Живет в Ор-Иегуде.

Михаил Лидогостер – политолог, PR-менеджер. Живет в Москве.

Инна Шейхатович – прозаик. Живет в Ришон ле-Ционе.

Афанасий Мамедов – писатель, редактор. Живет в Москве.

Евгений Шварц – поэт, прозаик. Живет в Ришон ле-Ционе.

Яков Шехтер – писатель. Живет в Холоне.

Елена Игнатова – поэт. Живет в Иерусалиме.

Светлана Бломберг – поэт, прозаик. Живет в Рамат-Гане.

Ирина Маулер – поэт, художник. Живет в Ришон ле-Ционе.

Валентина Бендерская – поэт. Живет в Тель-Авиве

Владимир Ханан – поэт. Живет в Иерусалиме.

Борис Лихтенфельд – поэт. Живет в Санкт-Петербурге.

Борис Камянов – поэт, редактор. Живет в Иерусалиме.

Максим Жуков – поэт, журналист. Живет в Евпатории.

Виктор Голков – поэт. Живет в Азуре.

Леонид Колганов – поэт, прозаик, эссеист. Живет в Кирьят-Гате.

Велвл Чернин – поэт, переводчик. Живет в Кфар-Эльдаде.

Анна Файн – прозаик, колумнист. Живет в Бней-Браке.

Ирина Морозовская – психолог, бард. Живет в Одессе.

Ирина Бузько – математик, веб-дизайнер. Жила в Одессе и Лос-Анджелесе. Умерла в 2018 году.

Рустам Ибрагимбеков – писатель, драматург. Живет в Москве.

Зеев Вагнер – раввин, журналист, историк. Живет в Иерусалиме.

Марина-Аризла Меламед – поэт, бард. Живет в Иерусалиме.

Ханифе Чайлак – филолог, переводчик. Живет в Трабзоне.

Фырат Джанер – писатель, литературовед. Живет в Стамбуле.

Катя Тув – искусствовед. Живет в Израиле

Эдуард Бормашенко – философ, физик. Живет в Аризле.

Илья Корман – литературовед. Живет в Тель-Авиве.

Давид Шехтер – прозаик, журналист. Живет в Ришон ле-Ционе.

Роман Кацман – филолог, переводчик, Живет в Гиват-Шауле.

Мария Цвик – литературовед. Живет в Германии.

Михаил Юдсон – литератор. Живет в Тель-Авиве.

ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ

**Яков Шехтер
Михаил Юдсон**

Ответственный секретарь

Михаил Сидоров

Редколлегия:

**Ирина Маулер (раздел поэзии), Ирина Морозовская
(раздел “Стихи и струны”), Анна Мисюк,
Эдуард Бормашенко, Роман Кацман,
Денис Соболев (раздел литературной критики),
Давид Шехтер (раздел публицистики)**

Компьютерная обработка:

Амнон Пасхин

Почтовый адрес:

**Michael Yudson, Journal “Article”. P.O.B. 44050,
Tel-Aviv 61440, Israel**

Телефон: 050-908-03-48 (в Израиле)

(972)-50-908-03-48 (для заграницы)

Электронный адрес редакции:

articreda@gmail.com

Сайт журнала:

<http://www.sunround.com/club/journal.htm>

Фейсбук:

<https://www.facebook.com/TelAvivskijSetevojZurnalArtikl>

Стоимость годовой подписки (с пересылкой):

**в Израиле – 200 шекелей,
за рубежом – 100 долларов.**

